

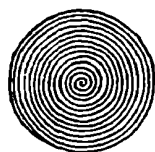
ЗОЛТАН
ФАБИАН



ПРИГОВОР







FÁBIÁN
ZOLTÁN
ITÉLET

*
MAGVETŐ
KÖNYVKIADÓ
BUDAPEST



ЗОЛТАН
ФАБИАН

ПРИГОВОР

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

АВТОРИЗОВАННЫЙ
ПЕРЕВОД С ВЕНГЕРСКОГО



ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ВОЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА
СБОРОНЫ С С С Р
МОСКВА
1 9 7 1



И(вент)
Ф12

Редактор
Г. А ФАНАСЬЕВ



приговор

*
Р О М А Н

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



За общим столом



Из ущелья видны были звезды. Над рекой медленно плыла сырая, мягкая, как вата, темнота. С дороги доносился скрип и грохот повозок, слышалось однообразное цоканье лошадиных копыт. Эхо повторяло эти звуки — они отражались от двух голых отвесных скал, над которыми дугой, словно соединяя их, повисли четыре крупные звезды из созвездия Андромеды. Край неба чуть-чуть начал синеть, хотя ели, росшие по краям обрывов, казались черными-пречерными. Они тяжело вздыхали, и их вздох, нарушавший эту синюю бесконечность, был как будто вздохом межзвездного пространства, уловленным зеркалами радиотелескопов.

Выше снежных вершин гор сияющая темнота незаметно, но быстро рассеивалась. Над обрывом возвышались три одинокие искореженные ели, раскинувшие свои редкие хрупкие ветви к югу, в сторону противоположного обрыва. Вот вершины елей залило червонным золотом, которое постепенно стекало по стволам до самой земли; а длинные редкие иглы хвои стали похожи на раскаленные докрасна стальные иглы.

Постепенно свет проник и в ущелье, окрасив в густой багрянец и обе отвесные скалы. Рядом с подводами ехали верхом охранники в зеленой немецкой форме; за их спинами тускло поблескивали дула карабинов. Туман, плывущий над рекой, вдруг вспыхнул багрянцем, словно кто-то разложил под ним костер.

Из-за двух заснеженных вершин показалось солнце, осветив женщин, детишек и нескольких стариков, которые сидели в повозках на мешках и узлах с барахлом. Это были обычные длинные русские телеги на боль-

ших колесах, запряженные пизкорослыми косматыми степными лошадьми.

Туман медленно рассеивался, и в глубине ущелья стала видна река с белой пеной у скал, но шум воды не доходил до дороги.

Один из охранников, не слезая с лошади, перегнулся через белое бетонное ограждение и, выплюнув в пропасть щепоть разжеванного табаку, поковырял пальцем в некрасивых желтых зубах. Это был широкоплечий рыжий верзила.

— Zugück! ¹ — вдруг выкрикнул он, заметив, что с одной из повозок собирается слезть на землю старуха в черном платке. — Zugück! — крикнул он еще раз и пустил коня рысью.

Старуха снова вскарабкалась на повозку. Заплакала, всплеснула руками, потом, завязав узлом платок под худым подбородком, начала что-то объяснять по-русски. Рядом с ней на уздах металась молодая беременная женщина. На голове у нее был красный платок, он развязался, и по мешковине рассыпались длинные волосы цвета желтого меда. Женщина не кричала, а только стояла.

Охранник на лошади подскочил к ним. Концом вожжей он ударил старуху по огрубелой обветренной ноге и медленно поехал вперед, принявшись жевать новую щепоть табаку.

В полдень повозки остановились. Женщины, дети и старики слезли с повозок и, нарвав травы на обочине, покормили лошадей и сами кто чем перекусили. В одном месте из скалы бил тоненький ключ, около него выстроилась очередь за водой.

Когда вереница повозок миновала поворот, взглядам людей открылась прекрасная панорама. Далеко впереди расстилалась долина, в самой широкой части которой у подножия одинокого холма, вытянувшись вдоль реки, лежал город, до которого было не более одного дня ходу. На вершине холма расположилось несколько казарменных зданий, разглядеть которые было невозможно, так как они были искусно выкрашены под цвет окружающей местности. Временами в глаза попадал отблеск оконных стекол, но никто не понимал, что это такое могло быть.

¹ Назад! (нем.)

Все расселись за большим овальным обеденным столом довольно далеко друг от друга и громко разговаривали.

— Нас семеро, как семь земных грехов, — заметил полковник и громко рассмеялся.

Жена полковника, бросив взгляд на студента, спросила:

— Кто же из нас седьмой?

Все посмотрели на край стола.

Студент в этот момент был занят жареным цыпленком и только тогда заметил, что на него смотрят, когда все замолчали. Он поднял голову. До этого он не прислушивался к разговору и, подумав, что привлёк общее внимание тем, что неловко ел цыпленка, покраснел. Напротив него за столом сидела жена полковника и как-то странно улыбалась. От этой улыбки он совсем смешался, схватил крылышко цыпленка и с ожесточением начал грызть его.

Тишина, которая только что безмятежно витала над ними, рухнула.

— А где мама Бетти? — спросила Магда, чтобы хоть как-то разрядить напряженность. Скрывив рот, она тихо шепнула молодому деверю: — Мой Ладика! — И умоляющим взглядом маленьких черных глаз взглянула на студента.

Тот сделал вид, что ничего не заметил, и продолжал вгрызаться в крылышко. Подцепив вилкой кружочек ананаса, целиком отправил его в рот.

— О, извините, — сказала жена полковника, — я совсем забыла про нее. — И она провела рукой, в которой, казалось, не было ни кровинки, по белому, как мрамор, виску.

Она не выпосит этой адской жары, но к кофе в холл спустится. Говоря все это, она не спускала глаз со студента.

Все сразу же принялись за только что прерванную еду. Полковник разделялся с жареным цыпленком, словно Генрих VIII: его крепкие блестящие зубы жадно отрывали белую мякоть цыпленка.

— Да-с, — произнес генерал в отставке, — лето в этом году действительно какое-то сумасшедшее. Ровно сорок

лет назад, в тысяча девятьсот четвертом году, я переживал нечто похожее. — И он вытер пальцы о салфетку, лежащую у него на коленях.

— На фронте сейчас жара градусов сорок — сорок пять, — подхватил мысль генерала майор, сидевший напротив, поднося ко рту бокал на длинной ножке; глотая вино, он манерно оттопыривал мизинец.

Студент долго смотрел на майора, потом, со стуком положив обглоданную косточку на край тарелки, заметил как бы для себя:

— Зимой холодно, а летом жарко.

— Это вы что имеете в виду? — спросил майор, ставя бокал на стол и глядя куда-то поверх студента.

— Фронт.

— Что, ход военных действий?

— Как хотите называйте...

Полковник громко рассмеялся, несколько громче, чем следовало бы, шутливо погрозил студенту и сказал:

— Осторожнее, Лади, теперь нас трое против тебя!

— Но и мы здесь! — тут же возразила полковнику жена. — Не так ли, Ладика? — И она улыбнулась студенту.

Генерал отпустил галантный комплимент.

— Так вот кого защищают красивые женщины! — И он как-то загадочно кивнул супруге полковника своей седой головой.

— Мой племянник считает, — начал объяснять полковник, — что мы проиграем эту войну.

— Уже проиграли, — прервал его студент.

— Довольно странное мнение, — заметил майор.

— Это летом-то сорок четвертого года? — спросил студент.

— Да, летом сорок четвертого года. — И, немного помолчав, майор протянул своей невесте подставку с зубочистками. — Пожалуйста, Туби.

Вошли горничная и молодой денщик полковника. Денщик наполнил бокалы красным вином, подал сыр.

— Настоящее бордо, — сказал полковник, прищелкнув языком. — Из урожая тридцать шестого года.

— Купил у немцев? — спросил генерал.

— Подарили. Вместе с консервированными ананасами. — И засмеялся. — Хорошую шуточку я от... — И он остановился на полуслове.

Горничная уже вышла, а денщик еще был в столовой. словно заправский официант из отеля «Ритц», он разливал по бокалам вино из бутылки с длинным горлышком, завернутой в белоснежную салфетку. Когда он, стоя за спиной невесты майора, наклонился, наливая вино, то невольно бросил взгляд за вырез шелкового кораллово-красного платья: у девушки со светлыми волосами и детским лицом была маленькая грудь приятной формы. Потрогав коротко подстриженный черный ус, денщик важно обошел большой обеденный стол и удалился из комнаты.

— Хорошую шуточку я тогда отмочил, — закончил фразу полковник. — Такое с женщиной не каждый день делают. И двое немцев с рыбьими глазами подобное тоже не часто видели.

— Но, Акош, — осуждающе покачав головой, произнесла его супруга, — ведь мы же за столом.

— Хорошо, дорогая мумурика, — любезно осклабился полковник, сверкнув безукоризненной белизны зубами. — Ты тоже знаешь, кто это был. Помнишь ту маленькую рыжую шансонетку...

— Знаю, — нервно перебила полковника жена. — Потом расскажешь в курительной комнате, хорошо? Когда останетесь одни.

Ей хотелось встать из-за стола, но она пересилила себя и, взяв с блюда кусок рокфора с острым запахом, передала блюдо дальше по кругу.

Невеста майора покачала головой:

— Благодарю вас, я не хочу. — Тонкие ноздри ее вздрогнули.

Магда сначала положила большой кусок швейцарского сыру деверю, а уж потом себе.

— Ты очень любезна, — улыбнулся ей студент. В этот момент он был совсем не похож на диковатого подростка, каким только что казался.

Майор искусно подцепил кусочек сыру вилкой за самый краешек. Вилка и серебряное лезвие ножа изящно вертелись в его руках с красными волосатыми пальцами. И вообще ел он так заученно красиво, словно цирковой акробат, шагающий по натянутой проволоке.

— Если я правильно понял, — начал майор, повернувшись к студенту, но глядя в свою тарелку, — вы ждете победы русских и англосаксов.

.. Студент поправил очки на переносице:

— Тут и ждать нечего: это уже случилось.

— Вы уверены?

— А разве господин майор придерживается другого мнения? — быстро спросил студент.

Супруга полковника с усмешкой заметила:

— Молодой дипломат.

И залилась мелодичным смехом.

Полковник тоже громко рассмеялся.

— Если в конце концов мы действительно проиграем эту войну, из юноши выйдет, на худой конец, министр иностранных дел. Надеюсь, — повернулся он к студенту, — ты тогда не забудешь своего старого друга, к тому же еще и родственника, правда, дальнего, как говорят, седьмая вода на киселе... — Он говорил шутливо, хотя думал об этом всерьез.

— Я хочу стать композитором, а не политиком, — ответил студент, смутившись. Нарезав сыр маленькими кусочками, он намазал на них масло, посолил и молча начал есть.

Невеста майора долго наблюдала за студентом через полуопущенные светлые ресницы. Она не отвела глаз даже тогда, когда он перехватил ее взгляд. У девушки были очень странные глаза: за стеклянной голубизной была какая-то страшная холодная пустота.

— Значит, появится новый Лоранд Фратер?¹ — спросил генерал.

— Лаци интересуется классической музыкой, — раздраженно заметила Магда.

— Ага, — закивал головой старый генерал. — Значит, как Легар.

— Нет, как Барток, — перебил его студент.

Генерал в отставке наклонился к хозяину дома и спросил:

— А кто это такой?

— Знаешь, — начал объяснять полковник, — это человек, который сочиняет какую-то валахскую чепуху, а называет ее венгерской музыкой.

¹ Фратер, Лоранд (1872—1930) — венгерский скрипач и композитор, автор нескольких популярных венгерских песен. — *Прим. ред.*

Старый генерал не помнил, чтобы он когда-нибудь слышал о таком композиторе, но все же понимающе закивал трясущейся головой.

Майор покончил с сыром и крестом сложил на тарелке нож и вилку. Обращаясь к студенту, он спросил:

— Разрешите полюбопытствовать, на чем основывается ваше утверждение о нашем поражении?

Юноша ответил не сразу. Прожевав последний кусок сыру, он заговорил:

— Я расскажу вам одну историю. Мой дядя, — юноша взглянул на Магду, которая сразу же прикрыла ресницами свои маленькие иссиня-черные глаза, — недавно побывал дома, получил отпуск на несколько дней. С фронта он привез небольшую такую парусиновую сумку. В них русские солдаты носят диски с патронами для автоматов. — И он рукой обрисовал диск. Оглядел всех — поняли ли его, и, обратившись к майору, продолжал: — И как вы думаете, господин майор, что на ней было написано?

Офицер недоуменно пожал плечами:

— Наверное, да здравствует Сталин или Молотов. Что-нибудь в этом роде.

— Ошибаетесь, — покачал головой студент. — А написано на ней было: «Не жалея патронов!»

Юноша замолчал.

— И это все, что вы хотели рассказать? — удивился майор.

— Вы военные, и мне нет необходимости объяснять вам дальше. Вы лучше меня знаете, что наши солдаты получают патроны только взамен на стреляные гильзы. И это там, на фронте! Вооружены же наши солдаты старыми-престарыми мавлихеровскими винтовками, из которых зимой нельзя стрелять, потому что они замерзают, а потом раскалятся так, что в руках удержать невозможно. Комментарии к этому излишни.

Майор ядовито заулыбался:

— Ну, мой дорогой друг, положение не совсем такое. Далеко не совсем такое. — И, поднеся салфетку ко рту, он легким движением провел по губам — верхней губе, тонкой и бескровной, и нижней, такой же, только какой-то помятой. — Если вы не обидитесь, я охотно дам вам квалифицированное объяснение по данному вопросу. — И, наклонившись к хозяйке дома, спросил: — Или я уже наскучил дамам своим разговором?

Супруга полковника холодно улыбнулась, но все же сказала:

— Пожалуйста, господин майор.

— Сначала выпьем, — предложил полковник, поднимая вверх бокал на граненой ножке.

Все выпили за победу.

— Да, это настоящее бордо, — смакуя вино, громко заметил генерал. — Когда мы стояли на берегах Изонцо¹, я там пил такое, но то было итальянское вино.

— Возможно, то было валполицелло, — проговорил полковник.

— Возможно, — согласился генерал, превозмогая дремоту.

— Магдика! Дорогая! — обратилась жена полковника к своей младшей сестре. — Будь добра, позвони, пусть подают фрукты. — Она явно нервничала.

Маленькая женщина с каштановыми волосами поднялась со стула и дернула за шнурок звонка, свисавшего с люстры. По ее походке было заметно, что она беременна, и уже не на первых месяцах.

— Исход этой войны, — начал объяснять майор, — будет зависеть от точности поражения цели. Победу одержит та сторона, которая огнем стрелкового оружия поразит больше неприятельских целей, а не будет попусту стрелять в небо. — И он высокомерно улыбнулся. — Следовательно, исход войны будет зависеть от факторов, совершенно противоположных тем, — майор оглядел сидевших за столом и ткнул большим пальцем в сторону студента, — которые утверждает наш молодой друг.

Вошла горничная, неся блюдо с фруктами.

— Почему вы дожидаетесь, чтобы вам звонили, Эсти?! — недовольно спросила полковничиха.

— Прошу прощения, сударыня, — только и ответила горничная и закусилла полную губку. Она по опыту знала, что оправдываться в таких случаях вредно и опасно. Она стала обносить сидевших за столом фруктами.

— Фрукты не ахти какие, — извиняющимся тоном сказала хозяйка дома.

Когда горничная подошла к генералу, предлагая ему фрукты, он очнулся от дремоты:

¹ Река в Северной Италии. — *Прим. ред.*

— Дайте мне, моя дорогая, грушу, да помятче, чтобы мне можно было ее есть.

Горничная встревоженно, словно ища совета, посмотрела на хозяйку, которая взглядом дала ей понять, что можно дать старику грушу. Выбрав самую спелую, она положила ее на тарелку генералу.

— Пожалуйста. — И горничная чуть-чуть присела в реверансе на своих кривых ногах.

— Благодарю, дорогая, — растянулось в улыбке морщинистое лицо генерала. — Будь моя воля, — начал он вдруг безо всякого перехода, — я бы переселил в наши края несколько тысяч чистокровных эстонок и латышек, чтобы немного освежить северной, но родственной кровью нашу оцыганившуюся расу. — Он с хлюпаньем и причмокиванием ел мягкую сочную грушу. — Поверьте, это сейчас самое важное.

— Это? В час дня двадцать третьего августа тысяча девятьсот сорок четвертого года? — пробормотал студент.

Слова студента слышала только Магда, остальные не обратили на них внимания.

По толстому лицу полковника пробежала усмешка, но, придав лицу серьезное выражение, он спросил:

— Да ты говоришь, как настоящий депутат, дядюшка Пишта! Почему бы тебе не выставить свою кандидатуру в парламент?

— Я выставял, — лениво махнул рукой генерал.

— Когда?

— Еще осенью прошлого года, когда Бадольо¹ капитулировал перед союзниками и, создав парламент, объявил войну Германии.

— Ну и что?

— Меня обсмеяли.

Полковнику с большим трудом удалось удержаться от смеха.

— Кто обсмеял? — спросил он таким тоном, словно оскорбление это касалось лично его.

— Все левое крыло.

— Ага.

— Его единомышленники, — заметил майор, бросив взгляд на студента.

¹ Бадольо, Пиетро (1871—1956) — итальянский генерал и видный политический деятель. — *Прим. ред.*

Юноша кивнул.

Хозяйка дома нахмурила густые черные брови.

— Неужели сегодня все разговоры будут только о политике?

— Прошу прощения, сударыня, — склонил голову майор. — Я с большей охотой буду говорить о любви.

— Я думаю, что и вашей невесте это будет намного приятнее, — изменившимся тоном сказала полковничиха и, повернувшись к белокурой девушке с кукольным личиком, спросила: — Не так ли, моя дорогая?

Девушка от неожиданности растерялась и не знала, что сказать в ответ, только улыбнулась натянутой улыбкой и кивнула.

— Ну вот видите, — сказала хозяйка майору, а сама посмотрела на студента, сидевшего в конце стола.

Майор поджал свои тонкие губы и ничего не ответил.

Студент задумчиво глядел прямо перед собой в пустоту. На его по-юношески худом лице разлилось выражение глубокой грусти, в стеклах очков отражались солнечные блики. В этот момент он как раз вспомнил похороны матери. Он старался не думать об этом, но мысли о ней упрямо лезли в голову, несмотря на разговор, который шел за столом.

— Какой начальник, не правда ли?! — Полковник дал выход смеху, который буквально душил его.

Майор вежливо улыбнулся.

— Красивые женщины — самые лучшие солдаты, — сказал генерал. — Перед ними никто не может устоять.

— Только тот, — повернулась к супругу полковничиха, — кто... — И, не закончив начатой фразы, произнесла: — Будьте все здоровы.

Она как бы объявляла этим, что обед закончился, и сделала грациозное движение головой — она хорошо знала, что ей удастся это движение, которое она сохранила еще с девичьих лет. Затем она встала и направилась в холл.

— Ластика, пойдемте. — Она взяла юношу под руку.

Студент неуклюже, жестко держал руку. Он вспомнил, что, когда шли за катафалком матери, старший брат поддерживал отца справа, а он — слева. На дороге была грязь. Колеса катафалка выстукивали неровную дробь по булыжной мостовой, разбрызгивая вокруг жидкую

грязь. Перед тем как свернуть на кладбище, похоронная процессия столкнулась со стадом свиней, которое гнали по дороге навстречу. Это было жуткое зрелище. Он никогда не сможет забыть визга запыхавшихся от бега свиней и хлюпанья грязи под их ногами.

2

В холл уже подали черный кофе; горничная вкатила маленький столик на колесиках и оставила посреди комнаты. На большом серебряном блюде кругом стояли восемь маленьких расписанных цветочками фарфоровых чашечек, возле каждой чашечки на блюде — позолоченная чайная ложечка; тут же серебряная сахарница, сливки в фарфоровом молочнике без крышки, а посередине блюда кофейник, накрытый, чтобы кофе не остыл, фетровой куклой.

Горничную хозяйка отслала, гостей обслуживала сама. Она подкатывала столик к каждому большому креслу, обитому коричневой кожей, в котором сидел гость, и наливала кофе. На хозяйке было летнее, ладно облегающее фигуру платье бледно-чайного цвета, который хорошо оттенял жемчужно-матовую белизну кожи с изящными голубыми жилками. Густые черные волосы, рассыпанные по плечам, освещенные солнцем, отливали бронзой; казалось, даже было слышно, как потрескивают в них электрические разряды.

В чашку генерала хозяйка подлила сливок и спросила:

— Вы ведь так любите, не правда ли, Татока?

— Криста, — просиял генерал, — вы ангел, самый настоящий ангел. — И он громко поцеловал ей руку.

— Черный ангел, — сделав ударение на слове «черный», произнесла хозяйка и подошла к следующему гостю.

— Хочешь кофе, дорогая? — обратилась она к невесте майора.

— Без сливок и без сахара.

Девушка кивнула своей кукольной головкой. Взяв с подноса чашечку, она отпила кофе и по привычке, которую переняла у майора, отвела мизинец. Длинные ухоженные ногти свежо блестели кораллово-красным лаком.

Пройдя дальше, хозяйка вдруг оглянулась и перехватила взгляд девушки, устремленный на студента. Рука,

в которой хозяйка держала кофейник, задрожала, звякнула крышка, и, чтобы как-то скрыть свое смущение, полковничиха засмеялась вибрирующим мелодичным смехом, каким умеют смеяться некоторые стареющие женщины.

Магда и студент сидели рядом, как и в столовой. Маленькая беременная женщина полностью погрузилась в прохладное кожаное кресло. Его обивка приятно холодила ее раскрасневшиеся от вина щеки, которыми она касалась спинки кресла. Ее руки, похожие на крылья сжавшейся в комок птицы, покоились на широких подлокотниках.

— И сегодня не было письма от Кальмана? — спросил студент.

— Нет. С дороги я получила от него только одну открытку, которую он опустил в Коложваре. — На глаза ее набежали слезы. — А с фронта он еще и строчки не написал.

— Сейчас, Магда, неизвестно, где фронт, а где нет.

— Я так боюсь за него, — прошептала она.

— Не падо. — Юноша погладил ее дрожащую руку. — Нужно верить.

— Верить? Во что?

— Тебе — в сына, который у тебя будет.

— Девочка будет. Девочка, — упрямо произнесла Магда. — Я не хочу, чтобы мой сын был солдатом.

Перед ними на маленьком круглом столике стояла сияющая хрустальная ваза с бронзовым ободком, и в ней среди легких зеленых веточек алели три красные гвоздики. Юноша неожиданно рванулся вперед, вынул из вазы один цветок и, обтерев носовым платком мокрый стебелек, протянул Магде:

— Приколи себе на платье!

Он поднес цветок к самому лицу Магды; красота помонгольски смутлого лица женщины так и вспыхнула от ярко-красных лепестков гвоздики.

— Тебе очень идет, — залюбовался студент. — Если бы Кальман мог тебя сейчас видеть, он бы еще больше влюбился в тебя.

— Ты добрый, — улыбнулась Магда сквозь слезы и, взяв гвоздику, приколола ее себе на грудь.

Как раз в этот момент к ним подошла хозяйка дома.

— Пей побыстрее, Лацика. — Она наполнила три чашечки. — И уйдем отсюда... — С легкой гримасой она про-

глотила конец фразы, а затем сказала: — Перейдем в голубой салон, и ты мне что-нибудь сыграешь, хорошо?

Дверь в холл открылась, и в комнату вошла старая графиня. У супругов полковника дрожь прошла по телу, по она тут же взяла себя в руки и обратилась к мужу:

— Акош, прошу тебя, помоги маме.

Полковник сидел спиной к двери и потому не видел графини. Он с готовностью встал и пошел навстречу матери. Старая графиня была в длинном шелковом халате лилового, как папская сутана, цвета. Делая мелкие шажки, она семенила по пушистому персидскому ковру, опираясь на трость с серебряным набалдашником.

— Благодарю тебя, сынок. — Графиня взяла сына под руку.

— Как ваше самочувствие, мама?

— Ты задаешь глупые вопросы, — затрясла седой головой графиня. — Скоро и сам узнаешь, как это бывает. А пока радуйся... — И она тяжело опустилась в кресло, стоявшее рядом с креслом генерала. — Так-то, — просто-напросто она, немного отдышавшись. Потом повернулась к генералу и спросила: — Разве я не права, Татока?

— Графиня, вы всегда правы, — кивнул генерал.

— Всегда правы, — тихо повторила супруга полковника, наполняя кофе чашку свекрови. — Вам сколько сливок, мама?

— Как всегда, — произнесла старая дама.

Лицо хозяйки на какое-то мгновение стало серым, но она заставила себя улыбнуться:

— Хорошо, мама. — Она налила в чашечку две чайные ложки сливок, не больше и не меньше, а ровно две, и после этого подседа к сестре.

Майор продолжал развивать тему, начатую еще за обедом, — преподносил всем собственную стратегическую теорию. На него не обращали особого внимания, помещивали кофе миниатюрными ложечками в тонких, почти просвечивающихся фарфоровых чашечках, разрисованных листиками. Однако майора это нисколько не смущало.

— Чем дальше растянутся коммуникации русских, — объяснял он тоном профессора, находящегося на кафедре, — тем труднее им будет снабжать свою армию боеприпасами. О продовольствии я и не говорю. — Майор одним глотком выпил свой кофе. — Гитлер применяет в борьбе

с противником гениальную стратегию двух ударов. Первым ударом он опустошил европейскую часть России и загнал Советы на Урал, вернее, за Урал, в Сибирь. Теперь он выманивает их оттуда, и выманивает на выжженную мертвую землю, где нет ни дорог, ни линий электропередач, ни заводов, ни фабрик, ни электростанций, ни складов. Русским абсолютно все придется тащить с собой из-за Урала, из Сибири. Гитлер использует тактику, с помощью которой Кутузов в свое время победил Наполеона. Сейчас, в сущности, точно таким же способом он разгромит Сталина.

— Что мы и видим, — не без ехидства заметил студент.

Майор сделал вид, что не заметил едкого замечания юноши, и быстро продолжал:

— Следовательно, судьбу победы попросту будут решать вагоны, самые простые железнодорожные вагоны.

— Да, да, — рассеянно закивал полковник.

Старая графиня вздернула свои наведенные черные мефистофельские брови и сказала:

— По-моему, пусть немцы пускают русских на Украину и в Польшу, куда угодно. Но только не к нам, сюда.

— Однако, графиня... — бурно запротестовал было майор.

— Ладно, ладно, я уже многое пережила в своей жизни.

— Сюда, в Трансильванию?

— Именно сюда.

Майор, казалось, наслаждался спором, в котором мог блеснуть своими познаниями в области военной стратегии. Тайком он наблюдал за своей невестой: слушает ли она его. Она же как раз занялась своими длинными коралловыми ногтями. Заметив это, майор помрачнел и, чеканя слова, произнес:

— Это исключено. — А чтобы хоть как-то смягчить сказанное, более предупредительно продолжал: — Карпаты в настоящее время являются самым надежным оборонительным рубежом во всей Европе, ни с чем не сравнимым. На северо-восточном крыле этого рубежа стоят наши войска, на южном — румынские.

— В первую мировую войну румынские горцы спустились с гор и сожгли мой замок.

— Теперь, графиня, они наши союзники.

— Сегодня, — поправил студент.

— Что вы хотите этим сказать?

Юноша пожал плечами и улыбнулся:

— Ничего больше, только слово «сегодня». Могу еще добавить, что, возможно, их политики видят дальше нашего.

Генерал неловкими движениями старался соскоблить сахар со дна чашечки.

— Ну так в чем же заключалась та шутка? — спросил оп, обращаясь к полковнику.

— Какая шутка?

— А с рыженькой гризеткой?

— А... — Полковник засмеялся. Он посмотрел на жену, стараясь понять, не слышала ли она, о чем речь. Убедившись в том, что она ничего не слышала, он наклонился к генералу и шепотом начал ему рассказывать.

Чтобы лучше слышать, старый генерал приложил к уху сухую дрожащую руку. Лиловый рот его был открыт, на морщинистом, как у мумии, лице застыла улыбка.

Супруга полковника уселась в кожаное кресло, положив руки на подлокотники. Голову она наклонила набок, словно под тяжестью густых черных волос, и спросила сидевшего от нее наискосок студента:

— Что вы мне сыграете, Лапика?

Юноша поправил очки.

— Что умею.

— О, вы же все умеете..

— Нет, очень мало.

От его прежнего независимого вида не осталось и следа; взгляд смущенно забегал по сторонам. Охотнее всего он бы сейчас выбежал из комнаты.

— Я уже не раз слышала вашу игру.

Старая графиня со стуком поставила кофейную чашку на блюдечко и замерла в ожидании.

— А кош, прошу тебя... — Хозяйка обратилась к мужу, показав глазами на свекровь.

Полковник не сразу понял жену и сказал:

— Хорошо, хорошо, мумудика, я сейчас закончу свой рассказ. — Но, перехватив взгляд жены, сразу же встал и, подойдя к матери, взял у нее из рук пустую чашку.

— Спасибо, сынок.

— Как вам понравился кофе, мама? — спросила полковничиха.

Старая графиня помедлила с ответом, словно не слышала вопроса. После долгой паузы она сказала:

— Неплохой, только... — Она вздохнула, а когда все обратили на нее внимание, добавила: — С каким-то привкусом.

— С привкусом?

— Сливки были не очень свежие.

Ярко накрашенные губы хозяйки нервно вздрогнули.

— Да, мама, — процедила она сквозь зубы и тут же улыбнулась: — В следующий раз буду внимательнее.

Полковник поставил чашку матери на столик и, вернувшись на свое место, сел в кресло.

— Пойдемте-ка лучше ко мне! — неожиданно обратился он к обоим мужчинам.

— Можете спокойно оставаться, Акош, — сказала ему жена. — А мы перейдем в голубой салон. — Сказав это, она встала, поправила на талии шелковое платье. — Ты можешь спокойно рассказать свою историю до конца, мы вам мешать не будем. Мама, прошу вас, пойдемте с нами, — обратилась она к свекрови. — Или Акош проводит вас в вашу комнату?

— Я останусь здесь, — произнесла старуха, даже не взглянув на невестку. И, обратившись к сыну, попросила: — Сынок, раскури мне хорошую сигару.

Полковник с готовностью стал перебирать в деревянной резной сигарнице сигары, вслух называя их марки. Но ни одна из них не понравилась графине. Наконец она пожелала выкурить «трабуко».

Хозяйка несколько мгновений смотрела на них, слушая их разговор. Лицо ее стало серым, а глаза совсем потемнели. Потом она перевела взгляд на невесту майора:

— Ты пойдешь с нами, дорогая?

Белокурая девушка впервые за все время посмотрела прямо в лицо майору, который с напряженным выражением на бледном веснушчатом лице слушал рассказ полковника.

— Благодарю тебя, я иду, — ответила девушка.

В голубом салоне все было выдержано в голубых тонах. Легкие низкие кресла, обтянутые голубым плюшем,

персидский ковер с бело-голубым рисунком, голубые драпировки, висящие над окном. И только стены салона густо-горчичного цвета со светло-золотистыми полосками.

Посредине салона черный рояль с открытой крышкой, ослепительно блестящей, словно черное зеркало. Усевшись, все увидели искаженные от рисунка древесины отражения своих лиц, похожие на обнаруженные при раскопках изображения людей давно минувших времен.

Студент выкрутил побольше круглый стульчик. Сел на него, достал ногами педали. Устроившись поудобнее, спросил, словно ни к кому не обращаясь:

— Что вам сыграть?

— Все равно что, — ответила полковничиха.

— Что-нибудь из Шумана, — попросила белокурая девушка.

— Я не люблю Шумана.

— И «Грезы» не любите?

— Их особенно.

— А почему не любите? — И повела тонкими изогнутыми бровями.

— Может быть, вы сначала сыграете? — не дала ответить юноше хозяйка. Чувствовалось, что она нервничает.

— Потому что, — начал студент, — это бокал, который наполнен не до краев, а только немногим более чем до середины. Я же люблю, когда музыка льется через край. — И он твердой рукой взял несколько аккордов. — Лист. Вот настоящий музыкант! — Юноша начал играть, объяснив: — Этюд *des-dur*.

Супруга полковника встала с плюшевого кресла василькового цвета и, на цыпочках подойдя к роялю, облокотилась на него. Она смотрела на бегающие по клавишам руки юноши.

Пальцы у студента были недлинные, нервно-подвижные, казалось, что каждый из них жил своей особой жизнью. Под бледными руками возникли как будто бы звуки арфы, а рисунок мелодии был такой, что казалось — кто-то невидимый легкими движениями играл рядом.

Магда сидела перед окном в уголке дивана и смотрела на горячий, слепящий глаза закат.

Во дворе казармы без дела бродило несколько солдат. У ворот взад и вперед шагала часовая, видно было, как он зевал. Картина была совсем мирной, и не верилось, что

по ночам откуда-то издалека, словно из-под земли, сюда доносился шум приближающегося фронта. За железной изгородью мирно синели горы. Тени, лежавшие в глубине извилистых долин, были лиловыми и тяжелыми, как думы.

Здание казармы стояло на склоне горы, на месте старого города; из окон офицерского дома был виден внизу весь небольшой городок. Стены домиков, выкрашенных белой и желтой краской, сверкали на солнце, крыши домов были красными и серыми, и лишь казармы, расположенные за оградой, были кирпичного цвета, а конюшни — пестрые для лучшей маскировки. То там, то сям блестели окна, а из нескольких труб к небу поднимались тонкие серебряные струйки дыма. По синему небу блуждали разноцветные отблески. Все это папоминало картины французских импрессионистов. Весь мир, казалось, растворился и жил в вибрирующих звуках рояля.

В раскрытое окно ворвался тяжелый сладкий запах слив из темно-зеленого сада. Запах был очень густой. Хотелось плакать. По щекам Магды медленно покатились слезы.

Студент весь ушел в музыку. Он отдался мелодии, качал в ритм головой, его светлые волосы в беспорядке рассыпались по лбу. Очки тускло блестели, а временами за ними были отчетливо видны серо-зеленые глаза. Казалось, это кто-то другой, совершенно незнакомый, до сих пор скрывавшийся в том, прежнем человеке, прикрывавшийся его маской.

Вот пальцы извлекли из инструмента последние аккорды, и студент поднял голову. Супруга полковника не сводила с него восторженно-влюбленного взгляда. Он пришел в замешательство от этого взгляда, но никак не мог оторвать своих глаз от нее. Чтобы преодолеть смущение, он невольно проиграл несколько фальшивых пассажей, пальцы его дрожали на клавишах. Юноша рассердился на самого себя. Он взял несколько таких громких аккордов, что громадный рояль задрожал.

Супруга полковника вздрогнула и даже сжалась.

Юноша отпустил педаль, в салоне наступила тишина.

Все молчали.

— Магда! — вдруг вскочил юноша из-за рояля и подбежал к невестке.

Она же плакала навзрыд, уткнувшись в подлокотник дивана.

— ...Его наверняка убили... убили... — только и можно было понять из ее всхлипываний.

— Ну что ты, глупенькая, — начал утешать ее юноша, глядя по вздрагивавшей спине и плечам, словно веруя в чудо Христово: стоит только дотронуться рукой до страждущего, и он выздоровеет.

Полковничиха тоже подошла к ним, она наклонилась над сестрой, и ее густые черные волосы коснулись шеи юноши. От волос так сильно пахло свечой и ладаном, что его даже замутило.

— Магдика, иди ко мне, — позвала хозяйка сестру, — и возьми себя в руки!

Обняв Магду за плечи, она повела ее в холл. Уже находясь в дверях, бросила на юношу быстрый взгляд.

Студент сделал несколько шагов за ними, но вдруг остановился между белокурой девушкой и роялем и глубоко вздохнул.

Невеста майора незаметно наблюдала за ним.

— А для меня вы не сыграете? — холодно улыбнулась она.

Юноша вздрогнул и долго смотрел на нее взглядом человека, который плохо видит; охотнее всего он ответил бы отказом, но все же спросил:

— Для вас?

— Да, для меня.

— Охотно. — Он вежливо улыбнулся. — Хотя...

На кукольном лице девушки застыла неестественная, словно нарисованная, улыбка.

Студент сел на круглый стульчик. Он уже успокоился, и лицо его было безучастным.

— Что вам сыграть? Шумана?

— Да, «Грезы».

— Вы так любите эту вещь?

— Просто обожаю, — с восторгом ответила девушка, но ее голубые глаза были по обыкновению холодны.

— А я нет, — сказал юноша, наигрывая левой рукой мотив. — Знал я одного пожилого господина с приличными манерами. У него был маленький, словно сказочный, домик с разрисованными тюльпанами дверьми и ставнями на окнах. Перед домиком был небольшой сад, в котором росли розы. Одни только розы: красные, белые,

желтые, розовые. И еще несколько деревьев туи с кладбищенским запахом.

— Все это мило, — заметила девушка.

— На тумбочке около кровати у этого господина стояла музыкальная шкатулка с резьбой. Стоит только открыть крышку, и раздаются «Грезы». Сколько раз я к нему ни заходил, всегда заставлял его слушающим это плим-пляканье из шкатулки, сам он в этот момент растирал в руках лепестки розы, а потом нюхал кончики пальцев.

Юноша замолчал, небрежно наигрывая начальные аккорды из Шумана, отчего казалось, что звучит старая шарманка.

— Ну и? — с любопытством спросила невеста майора.

— Прокляли его дочери.

— Прокляли?

— Да, потому что из-за него они не смогли выйти замуж.

— Почему же именно из-за него?

— Потому что этот старик был настоящим тираном, — проговорил юноша с таким видом, будто все сказанное было не более как предисловием, своеобразным анданте к его игре; повернувшись к клавиатуре, он теперь уже по-настоящему заиграл «Грезы».

Белокурая девушка на какое-то мгновение опешила, по ее кукольному личику пробежала злая тень, но звуки плавной, нежной мелодии растворили ее обиду.

«Что мне от него нужно?» — подумала она, рассматривая упрямое лицо юноши, его худую шею. Каких-нибудь четверть часа назад она думала о том, что все это не более, чем легкая игра, флирт, своеобразное соревнование с супругой полковника. Сейчас она уже не осмеливалась заглянуть в собственную душу. В этом юноше было что-то таинственное, манящее, чего она раньше не замечала, а почувствовала сейчас и уже не могла освободиться от его обаяния. Все это было странным и непонятным; она привыкла к тому, что в глазах мужчин всегда чувствовала себя неотразимой.

Рояль смолк.

Через полуоткрытую двустворчатую дверь из холла доносился громкий смех полковника.

— ...Ну а что сделала эта рыженькая? — спросил майор.

— Завпзжала.

— О-го-го!.. — хохотал генерал.

— Дорогой сынок, дай мне, пожалуйста, еще одну «трабуку», — попросила графиня.

Студент что-то хотел сказать невесте майора, но вдруг понял, о чем говорят в холле. Он покраснел как рак и дрожащей рукой начал что-то наигрывать, но выходило сбивчиво, хотя он умел прекрасно играть. Он совсем смутился и начал изо всех сил барабанить по клавишам.

Движения девушки обрели пластичность, от ее недавней неловкости и угловатости не осталось и следа; откинув голову назад, она положила ее на плюшевую спинку кресла и засмеялась. У нее был приятный голос, правда, чуть хрипловатый. Полуприкрыв глаза ресницами, она пристально смотрела на юношу; ее маленькая грудь обрела упругость и натянула ярко-красный шелк платья.

В салон вошла супруга полковника и остановилась как вкопанная позади кресел. Ее густые черные брови нервно вздрогнули, пальцами она теребила маленький рубиновый крестик, висевший у нее на шее.

— Ладика, — произнесла она глухо.

— Да, пожалуйста, — он поднял на нее взгляд и с облегчением перестал играть.

Невеста майора резко встала и повернулась лицом к хозяйке дома. Она уже не смеялась, а ее голубые глаза, казалось, опять остекленели.

— Что угодно, моя дорогая? — спросила ее полковничиха ледяным тоном.

Красиво очерченные тонкие губы девушки дрогнули, но она ничего не сказала. Ленивой и плавной походкой она пошла в холл, откуда все еще доносился хохот мужчин. При каждом шаге ее по-девичьи плоские бедра вздрагивали под шелковой юбкой.

Хозяйка дома и студент остались вдвоем.

— В моей комнате, наверху, стоит английский рояль, — тихо сказала женщина.

— Настоящий английский? — восторженно спросил юноша.

— Настоящий английский.

— У него, наверно, удивительный звук.

— Нижние регистры почти как у органа.

— Как у органа?..

— А верхние регистры... — И супруга полковника

протянула студенту руку. — Не хотите ли попробовать поиграть на нем? — Длинные бескровные пальцы женщины мелко дрожали.

— А можно?

— Вам?! — удивилась она и улыбнулась загадочно, словно Нефертити, высеченная из гранита.

4

Студент открыл крышку рояля и сел к инструменту. Это был небольшой кабинетный рояль, отделанный светлым кленом. Вся мебель в комнате была светлых тонов с красно-коричневой отделкой, без полировки.

Полковничиха заметила восхищенный взгляд юноши и спросила:

— Здесь все по моему вкусу. Вам нравится?

— Очень.

Студент никак не мог налюбоваться мебелью такой простой и в то же время изящной формы, с естественным цветом древесины, расставленной с большим вкусом.

Человеку, привыкшему к роскоши, обстановка в комнате показалась бы чересчур простой; в ней не было ничего, что говорило бы об обычных женских привычках, — ни укромных уголков, ни излишних украшений. Несколько подушек с национальной вышивкой, скатерка и крестьянские глиняные кружки придавали комнате особое очарование. В углу перед роялем на изящной низенькой деревянной подставке — скульптурное изображение двух соединенных рук.

— К сожалению, это только копия, — проговорила полковничиха.

— Роден?

— Роден. «La Chatédrade». — И, взглянув на юношу, добавила: — Женская рука и мужская.

— Да, — кивнул студент и начал тихо наигрывать хорал Баха. Звук рояля действительно напоминал звук органа.

Полковничиха подошла к статуэтке. Долго глядела на нее, а затем, едва касаясь, погладила мужскую руку.

— Когда-то я хотела стать скульптором. Целых два года занималась в институте. Одно лето провела в Париже, там я и сделала эту копию. Мой преподаватель сказал тогда, что работа сделана хорошо, с чувством. Отец мое

увлечение скульптурой считал не больше, чем женской прихотью. Одно время он не мешал мне, считая, что со временем это увлечение пройдет само собой, и даже заказал мне сделать памятник для села, в котором родился. Но я его так и не сделала.

Приглушенно звучала мелодия хорала.

— Почему же вы оставили занятия? — спросил студент, разглядывая крепко соединенные друг с другом руки.

— Почему? — Женщина обиженно усмехнулась. — Оставим этот разговор, Лацика, хорошо?

— Простите меня.

Он продолжал играть хорал Баха.

— Лацика, вы...

Студент перебил ее мягко, но решительно:

— У Бабича есть одно стихотворение, вообще-то я Бабича не люблю, Ади — вот настоящий поэт, но это стихотворение...

И он начал декламировать:

Любой отказ,
Хотя бы раз,
Всегда есть смерть,
Ты мне поверь.
Любая смерть есть смерть души,
А потому — живи, дыши!
Ни в чем себе не откажи,
Иначе можешь погубить, разрушить
То, что бог творит.

— Дальше наизусть не помню, — улыбнулся юноша по-детски, — у меня по венгерскому была двойка. Да дальше и неважно вовсе. — Внезапно он стал серьезным и посмотрел снизу вверх на женщину, которая стояла рядом с ним. — Нельзя отказываться от того, что идет из глубины души, иначе человек может потерять самого себя.

Супруга полковника смотрела на него большими загоревшимися глазами; ей казалось, что она вот-вот задохнется.

— Талант обязывает, — продолжал юноша, — или, как сказал Лист, «genie oblige»!

— Только талант?

— А что еще?

Женщина никак не решалась сказать, но все же сказала:

— Любовь.

Юноша перехватил ее взгляд и ответил:

— Любовь — тоже талант. И она сильнее нас. Она ничего не признает помимо себя. У нее есть свои неумолимые законы. Их можно бояться, их можно не любить и не хотеть признавать, но вот сделать против них ничего нельзя. Абсолютно ничего.

— Но ведь есть что-то другое...

— Все другое начинается только тогда, когда кончается искусство и любовь.

— А если приходится поступать иначе?

— Нужно только любить и творить.

— Да? — удивилась женщина. И снова на ее лице появилась та самая странная улыбка, которая делала ее похожей на загадочную дочь фараона, которая, казалось, только что вышла из мрака пирамид.

— Да, — кратко и твердо сказал студент и хотел было продолжать играть.

— Не надо! — полковничиха схватила его за руку. — Сейчас не надо!

Но руки юноши снова опустились на клавиши, и нижние регистры рояля зазвучали мягко и отчетливо.

Женщина вздрогнула, словно вся она с головы до ног была одна натянутая струна.

— Ладика! — воскликнула она тихо и так стиснула запястье юноши, что ее длинные пальцы покраснели у ногтей.

Студент замер:

— Да...

Он испуганно встал и растерянно посмотрел на ее напряженное лицо.

— Я... я... — начала было она, но так и не договорила. Закрыв глаза, она легким движением прижалась к юноше, и в этом движении не было ничего грубого и пошлого.

Лицо ее разгладилось, стало невероятно белым. Длинные черные ресницы дрожали. За ее спиной через открытое окно виднелся кусочек предзакатного неба, его горячая августовская голубизна. От дверцы шкафа на профиль женщины падало желтоватое отражение, которое словно бродило по белизне лица и казалось не столько светом, сколько запахом, ароматом.

Она чувствовала, знала, что сейчас она так красива, какой, быть может, никогда не была. Она ждала поцелуя.

Юноша боролся с собой.

— Я думаю... видите ли, вы меня не так поцелили... Я не хотел...

— А я хотела.

Студент пошел к двери, бормоча на ходу:

— Нет... нет...

Женщина кинулась к нему:

— Это вечное принуждение, это трусливое торгашество... И вся моя испорченная жизнь!.. А теперь я хочу тебя. — Она схватила юношу за руку: — Я хочу быть счастливой! Счастливой! Понимаешь?!

Студент уже стоял перед дверью, взявшись за ручку. Холодок ручки был приятен ему.

— Криста, дорогая... — с трудом произнес он.

— Говори, говори еще! Я хочу слышать твой голос! Хочу слышать!

— Я тебя понял. Очень хорошо понял. Я думаю, лучше меня тебе никто помочь не может.

— Да, ты, только ты один, — шептала женщина.

— Именно поэтому, поверь мне, — юноша уже полностью овладел собой, — поверь, из этого не может быть ничего хорошего.

— Ты же сам только что говорил, — вспыхнула женщина, — что все остальное: — долг и обязанность, честь и верность начинаются там, где кончается любовь.

— Говорил.

— Так как же?

— Я действительно очень люблю вас, очень, но... — Он знал, что причинит ей своими словами боль, но не мог удержаться и сказал: — Любовь — это совершенно другое. — И, растворив дверь, вышел в коридор.

Полковничиха на мгновение замерла на месте, превратившись в живую скульптуру. Но тут же бросилась вслед за юношей и обняла его плечи:

— Лацика-а!..

В этот момент в коридоре показалась фигура старой графини. Она шла медленно, шурша своим длинным, почти до пола, лиловым халатом и постукивая тростью с серебряным набалдашником по выстланному цветной мо-

зачной плиткой полу. Чуть позади, поддерживая мать под руку, шел полковник.

Женщина оттолкнула от себя студента и громко выкрикнула:

— Как вы посмели? Наглец! Убирайтесь! Немедленно убирайтесь!

По лицу ее обильно текли слезы. Повернувшись, она скрылась в своей комнате.

Юноша остановился и прислонился к стене. Опустив руки, он смотрел на только что захлопнувшуюся дверь. На выкрашенной белой краской двери были видны крошечные, не толще человеческого волоса, трещины; пересекаясь друг с другом, они образовывали замысловатый и почему-то знакомый рисунок, который, казалось, он видел когда-то во сне.

Графиня с сыном уже миновали юношу. Старая дама даже не взглянула на студента, будто его и не существовало вовсе, шла по коридору, шурша халатом да постукивая тростью: бум... бум...

— Что тут произошло? — остановился полковник. Жирное лицо его было угрожающе нахмурено; блеснули крепкие зубы.

— Я пытался поцеловать вашу жену, — повернулся студент к полковнику. Юноша слышал свой голос и не узнавал его, будто говорил не он, а кто-то другой.

— Что-о?!

— Я пытался поцеловать вашу жену, — громко повторил студент. Он был спокоен, абсолютно спокоен.

— Так это... же...

— Это возмутительно, — сказал за него юноша. — Да, я знаю. Знаю и то, что мне теперь следует делать. Я уезжаю. Сегодня же вечером. — И он пошел в отведенную ему комнату.

— Однако инцидент еще не исчерпан!.. — прогремел ему вслед полковник.

Студент остановился и, оглянувшись, произнес:

— Я к вашим услугам. Я буду у себя.

Полковник открыл дверь в комнату жены, но не вошел. С порога он посмотрел на жену, которая рыдала на кушетке. «Хочешь меня провести?» — мысленно спросил полковник, а сам вполголоса произнес:

— Извольте взять себя в руки и привести в порядок.

Комната, в которой жил студент, помещалась в самом конце коридора, окно выходило в сад. Это была специальная комната для гостей, обставленная разнотильной мебелью. Сюда поставили вещи, которые выбрасывать было жаль, а в других комнатах держать нельзя.

Юноше вовсе не хотелось приезжать сюда, но старший брат уговорил провести летние каникулы у него, рядом с Магдой. Сейчас он должен был чувствовать угрызения совести, но не чувствовал их. Вообще ничего не чувствовал.

Юноша остановился перед старомодным диваном с подлокотниками; опершись на него коленом, он осматривал книжную полку, висевшую над диваном. Книги все были его собственные. Одна из них несколько выступала из ряда, и он задвинул ее на место. Это была книга в синне-зеленом переплете с красными буквами на корешке.

«Хаксли», — мысленно произнес он, однако обычных ассоциаций и образов героев на этот раз не возникло. Он только ощущал прохладный корешок книги, но вскоре и это ощущение пропало.

Юноша машинально читал названия соседних книг на корешках.

Джино, роман. Красный коленкор, золотые тисненные буквы...

Стейнбек, «Гроздь гнева». Черный коленкор, серебряное тиснение...

Гоголь, «Мертвые души». Красные буквы на белом фоне...

Он перестал читать названия книг, стал смотреть в окно, слегка надавливая коленом на диванную пружину, которая выпирала больше других. За окном мелькала ласточка — она охотилась на мух. А дальше синело небо, каким его обычно рисуют на плохих картинах, встречающихся чаще всего в бедных домах. Юноша вспомнил, что такая же картина висит и у них дома, сбоку от двери.

— Дождь будет, — пробормотал он, вряд ли давая себе отчет в том, что говорит, просто невольно отметил, что ласточка, летая, жмется к земле.

Юноша чувствовал себя так одиноко, как, наверное, чувствует себя только что родившийся на свет младенец,

покинувший теплое материнское чрево и впервые ощутивший всем своим крохотным существом новый, чужой ему мир. Серые стены комнаты как бы раздвинулись, и потемневшая от времени старомодная мебель стала похожа на маленькие однообразные островки посреди застывшего серого океана.

Юноша сел за старый письменный стол в стиле рококо. Выдвинул верхний ящик и достал лист писчей бумаги. Протерев очки, он долго рассматривал кремовый лист с орнаментом по краям. Затем взял лист в руки, сложил пополам; было приятно слышать шелест бумаги. Он не знал, с чего начать, как назвать эту женщину.

На уголке стола стоял бюст Бартока, вырезанный когда-то из березы старшим братом. Чувствовалось, что работа делалась кое-как, на скорую руку. «Наше убежище тогда как раз находилось под обстрелом, — как бы оправдывался Кальман. — Такую вещь надо вырезать из хорошего дерева, так же, как распятие Христа. — И, немного помолчав, добавил: — Он похож на тебя».

Студент тогда обрадовался этому замечанию больше, чем самому бюсту. И хотя он не любил смотреть на себя в зеркало, после этого стал присматриваться к себе: действительно ли он похож на Бартока. Он старался отыскать на своем юном лице какую-нибудь новую черточку и потом несколько дней ходил радостный, словно это действительно могло свидетельствовать о его будущей талантливости.

Впервые о Беле Бартоке он услышал еще ребенком. Было ему тогда лет шесть-семь. Он хранил в памяти воспоминания детских лет, множество разных мелочей, связанных с детством, но вот что именно слышал о Бартоке, не помнил. В памяти запечатлелось лишь одно имя великого венгерского композитора.

Как-то он болел и долго пролежал в кровати, целыми днями напролет читал книги, иллюстрированные журналы. Впечатлительные дети, как правило, часто мысленно беседуют с героями прочитанных книг, разговаривая с ними по нескольку часов подряд. Еще он слушал радио. Радиоприемник был большой, с черными кнопками, а усилитель громкоговорителя, обтянутый красной с золотом тканью, висел как раз напротив кровати над дверью. Благодаря этому старому громкоговорителю с дребезжащим звуком, который сегодня вызвал бы у любого чело-

нека улыбку на лице, он и услышал имя Бела Бартока.

Музыка, лившаяся тогда из приемника, отнюдь не казалась ему искаженной, а голос женщины-диктора смешным. Напротив, он казался очень милым и красивым. Он любил не всех дикторов, а только одну эту женщину, в которую был по-детски влюблен. Детское воображение, подогреваемое повышенной температурой, каждый раз по-новому рисовало ему образ этой женщины, голос которой сопровождался звуком виолончели. Все, что она читала, казалось очень важным и значительным, начиная от слов: «Халло, говорит Будапешт» и кончая сообщениями типа: «Уровень Дуная возле Пассау упал ниже обычного». А потом ухо мальчика уловило имя Бартока, которого он с тех пор никак не мог забыть.

И сразу же ему захотелось все-все узнать о Бартоке и, разумеется, увидеть его, хотя бы на фотографии; человек, о котором говорила Она, должен был быть замечательным.

С детской надоедливостью он целых полдня мучил свою мать бесконечными расспросами, пока та не рассказала все, что знала, вернее, пока не повторила ему раз десять то немногое, что знала о композиторе, и не вырезала фотографию Бартока из воскресного приложения к какой-то ежедневной газете...

Сейчас, когда он вспомнил об этом, то вдруг почувствовал во рту вкус анисовой микстуры, которую ему тогда давали.

Когда он увидел портрет Бартока, первая мысль, которая ему пришла в голову: «Какой красивый!» Он часами смотрел на Бартока, брал фотографию в руки, вешал на спинку кровати, клал рядом с собой на подушку — и все смотрел и смотрел на нее.

На фотографии Барток был в смокинге с темным галстуком бабочкой. У него было красивое худощавое лицо, умный бугристый лоб, прямой нос и большие печальные глаза — такие глаза, что если долго-долго глядишь на них, то невольно начинаешь плакать без слез, и все в тебе содрогается, как от рыданий. И Лаци как-то сразу почувствовал своим детским сердцем огромную боль и страдания, о существовании которых до сих пор даже и не догадывался; его охватило такое ощущение, будто он когда-то, давным-давно, уже испытал эти страдания.

И сейчас, когда он увидел деревянную скульптуру Бартока, прежние чувства ожили в его душе.

Он все еще не знал, как ему начать письмо, как назвать супругу полковника, и начал без обращения, написав: «Мне очень стыдно за происшедшее».

Немного помедлив, вертя ручку в пальцах, он вдруг одним духом написал:

«Прошу Вас простить меня, хотя я понимаю, что женщина вряд ли сможет простить такое. И все же, если можете, думайте обо мне без зла, постарайтесь сохранить в памяти добрые воспоминания обо мне.

Целую вашу руку.

Лаци».

Он дважды пробежал письмо глазами, расставил знаки препинания и наконец приписал в начале письма: «Милая Криста».

Когда он положил ручку на стол, его охватила дрожь. Она началась где-то в желудке, затем распространилась по всему телу, у него задрожали руки и ноги. Ему хотелось посмеяться над этим запоздалым нервным приступом, но он не смог.

6

Все сели ужинать. Не было только студента. Старая графиня сидела во главе стола в темно-сиреневом платье, отделанном пышным белым жабо, которое прикрывало ее плоскую грудь. Все сидевшие за большим овальным столом передвинулись на одно место: супруга полковника сидела на месте мужа, полковник — на месте генерала, а тот — на Магдином, которая сидела в самом конце стола, там, где в полдень сидел студент; слева от нее села белокурая девушка со своим женихом. Над столом горела большая хрустальная люстра с подвесками, на закрытые окна были опущены бумажные шторы светомаскировки.

Разговор вела старая дама, она оживленно говорила:

— Ну, сегодня фаршированная телятина удалась на славу. Очень вкусно. Именно такая, какую я люблю.

— Прошу вас, мама, — сказала супруга полковника, подавая графине блюдо с холодной говядиной.

Графиня положила себе на тарелку два ломтика мяса, немного желе и много майонеза; накладывая все это, она уже заранее шевелила своими старческими губами.

— Прошу, Акош, — подала хозяйка блюдо с холодной закуской мужу.

Но полковник ничего не взял себе, ничего не сказал и даже головы не повернул.

— Съешь ради меня, сынок, — произнесла графиня, глядя не на сына, а на невестку, которая ела как-то вяло и неохотно.

— Хорошо, мама. — Полковник взял себе маленький кусочек телятины и немного дрожащего холодца.

— У тебя нет аппетита, моя милая? — улыбнулась графиня жене сына.

— Я не люблю телятины, мама, — улыбнулась ей в ответ Криста. — Мне кажется, что от нее молоком пахнет.

— Это-то и пикантно. — Старуха ела с жадностью. Уголки ее лилового рта были испачканы майонезом.

Магда сидела в конце стола, как раз напротив старухи, но старалась не смотреть на нее, так как ей сразу же становилось плохо. Наклонившись над тарелкой, она безо всякого аппетита ковыряла в ней вилкой, вынимая из начинки кусочки яйца, и ела только их.

При свете люстры ослепительно блестела фарфоровая посуда с золотой каемкой, приятно позвякивали ножи и вилки. В хрустальных бокалах опалово золотилось вино, к которому еще никто не притронулся, так как все ждали хозяина. Он же вертел в руках массивный серебряный нож, лежавший возле тарелки.

— Акош, прошу тебя, — обратилась к нему жена, показывая глазами на бокал.

Полковник отодвинул от себя нож.

— За здоровье всех! — поднял он бокал и, не дожидаясь остальных, залпом выпил.

Прервавшуюся было нить разговора снова подхватила старая графиня.

— Как ни говорите, а барон Фрици золотой человек, — сказала она, не прекращая еды.

— Фрици Палашши? — спросил майор.

— Да, — кивнул полковник. — Когда в госпиталь завозят недельный рацион телятины, он первым делом с посыльным присылает маме половину парной грудинки.

— Люблю таких галантных офицеров, — заметила графиня.

— Он совершенно погряз в карточных долгах, — брезгливо заметил майор, глядя на старую даму.

— Венгерский барон без карточного долга — это не венгр и не барон, — парировала графиня, делая ударение на словах «венгр» и «барон». И, обернувшись к полковнику, спросила, стараясь и его втянуть в разговор: — Разве не так, Татока?

— Все точно так, как говорит графиня Бетти, — ответил он с набитым ртом.

Невеста майора сидела за столом напротив полковничихи. На ней было темно-зеленое блестящее шелковое платье, которое ладно облегалo ее по-девичьи тонкую, но в то же время женственную фигуру. В каждом, даже самом мимолетном ее движении было что-то неуловимо притягательное. Полуопустив длинные светлые ресницы, девушка смотрела на супруга полковника и как-то странно улыбалась.

— Фаршированная грудинка — мое любимое блюдо, — выговорила она наконец.

— У вас отличный вкус, девочка, — тотчас же похвалила ее графиня. — Это зеленое платье так вам идет. Ты не находишь, дорогая? — повернулась старуха к невестке.

Та подняла голову и посмотрела девушке прямо в глаза. Две пары глаз — жгучие черные и холодные голубые, словно стеклянные, — впились друг в друга. Обе женщины улыбались, но не глазами, а только одними губами.

— В самом деле, очень идет, мама, — выдавила из себя полковничиха и, повернувшись к девушке, добавила: — Оно почти так же идет тебе, как и коралловое.

— По-моему, даже больше, — возразила графиня.

— К волосам — да.

Белокурая красавица поиграла пальчиками с длинными ногтями, поправила короткие локоны, спадавшие на виски.

В этот момент в дверь постучали.

— Войдите! — воскликнул полковник.

В столовую вошел худой и загорелый старший лейтенант артиллерист. Щелкнув каблуками, он вежливо поздоровался и попросил у дам прощения за то, что помешал ужину. Лицо его было чрезвычайно озабоченным.

— Что такое, Пишта? — Полковник повернулся на стуле. — Уж не случилось ли какой беды?

Супруга полковника предложила офицеру сесть. Старший лейтенант поблагодарил, но не сел.

— Господин полковник, покорно докладываю, что произошло очень важное событие. Я только что получил телефонограмму.

— Пал Париж?

— Известие о победе под Варшавой? — спросил в свою очередь майор.

— Румыны перешли на сторону противника.

— Что-о?! — вскочил со стула полковник.

— Не может быть! — затряс головой майор. — Это провокационные слухи.

— К сожалению, нет, покорнейше докладываю. Румыны запросили у русских прекращения огня и одновременно с этим объявили войну немцам.

— И нам? — спросил полковник.

— Об этом в телефонограмме ничего не сказано, но я полагаю, что и нам тоже.

— Разумеется, — вымолвил майор. Он нервничал и уже стоял посреди комнаты рядом с полковником. — Нужно немедленно связаться со штабом корпуса.

Старший лейтенант вытер капельки пота над тоненькими каштановыми усиками; он уже не стоял навывтяжку, как прежде.

— Я сразу же позвонил в штаб, но мне никто не ответил.

— Пошли! — приказал полковник.

Компания нарушилась. Все оставили еду, и лишь старый отставной генерал дожевывал последний кусок, скрипя вставными зубами.

— Хрящ попался, — объяснил генерал Магде; его испещренное морщинами лицо виновато улыбалось. — Мои протезы шатаются во рту, и это хуже всего.

Но маленькая смуглая женщина не обратила на него никакого внимания. Ее живые черные глаза искали взгляда сестры, с которой она хотела поговорить в этой внезапно возникшей суматохе.

В столовой стоял такой гвалт, что нельзя было понять ни слова. Заговорили все сразу, причем каждый говорил свое. Каждому казалось, что, если он немедленно не выскажет то, что считает самым важным, Земля про-

сто остановится. В этом гáме особенно выделялся визг старой графини.

— Ну и ситуация! И еще находятся женщины, которые собираются в такое время родить!.. Какая глупость!..

Но наконец все разошлись по своим комнатам.

Сестры остались одни.

Супруга полковника не двигалась с места, ее длинные белые пальцы вертели солонку, а глаза смотрели на графский герб с монограммой свекрови — Б. А. Младшая сестра нервно расхаживала взад и вперед между овальным обеденным столом и буфетом — четыре шага вперед и столько же назад.

— Так Лаци не мог поступить. Я не верю в это, понимаешь? — первой заговорила Магда.

Супруга полковника молчала. Солонка дрожала в ее руке.

— Я не верю. Даже если ты поклянешься, я и тогда этому не поверю.

— О, не верь мне... — Криста хотела произнести эти слова насмешливым тоном, но они прозвучали как-то глухо, словно она жаловалась.

— Я верю ему, так как хорошо знаю его. — Магда остановилась, повернулась к сестре. — Все это ты специально придумала для того, чтобы поссорить меня с Кальманом. Я тебя хорошо знаю.

— Неправда.

— Тогда зачем же мама Бетти бросила мне свое замечание?

— Ее слова не имеют никакого отношения к этому делу. Абсолютно никакого.

Полковничиха прекрасно знала, что это на самом деле так. Она хотела было подойти к сестре, но на полпути в нерешительности остановилась.

— Охотнее всего вы убили бы во мне ребенка. И только потому, что его отец сын простого учителя! — с беспощадной откровенностью выпалила Магда.

— Нет, Магда! Нет!

— Да, потому что он его и мой.

— Не обижай меня, — умоляющим тоном попросила Криста. — Не обижай хоть ты меня, ради бога! — И она сжала виски ладонями. — Все меня мучают, словно я совершила бог знает какое преступление,

— Совершила.

— По отношению к себе! — воскликнула Криста.

— По отношению к себе, — тихо согласилась с ней сестра и, снова разгорячившись, добавила: — Я была наверху у Лаци...

— Ну и... что он сказал? — Она не смела взглянуть на сестру.

— Ничего. Только улыбался.

— Улыбался, — повторила за ней Криста.

— И собирался уезжать.

— Когда?

— Сегодня вечером, с ночным поездом.

— О-о! — Женщина отвернулась.

— Это он просил передать тебе. — Магда вынула из кармана письмо.

— Письмо?! — Криста подняла голову и хотела подойти к сестре, но та опередила ее и подошла сама.

Супруга полковника утратила самообладание, нервно разорвала конверт и, вынув из него письмо, без конца читала и перечитывала его.

В столовую вошла горничная и спросила:

— Можно убирать со стола, госпожа?

Проговорив эти слова, она, стоя у двери, сделала реверанс, переложив серебряный поднос из одной руки в другую. На стене комнаты промелькнул неяркий зайчик.

— Я потом позову, — ответила хозяйка и, свернув письмо, сунула его себе в карман. Кремовая лощеная бумага с цветной каймой зашуршала под ее длинными белыми пальцами.

— Слушаюсь, — ответила горничная, собираясь выйти из комнаты.

— Погаси большую люстру.

— Слушаюсь.

Горничная выключила свет и бесшумно удалилась.

Теперь столовую, оклеенную сиренево-золотистыми обоями, освещала только лампа, стоявшая в углу на буфете. На лампе был большой шелковый абажур бордового цвета, похожий на купол собора в стиле барокко времен прошлого столетия. Лампа излучала лилово-красный свет. Из-за тюлевой занавески в комнату глядели слепые глазницы окон, закрытые бумажной светомаскировкой.

В столовой было тепло, пахло едой и духами. Магда обмахивалась платочком и боролась с тошнотой. Тихо, словно самой себе, она сказала:

— Твоя жизнь принадлежит тебе, и ты можешь распоряжаться ею по своему усмотрению.

— Так, как надо, — поправила ее сестра.

— А моя жизнь принадлежит мне. И я не разрешу вам сломать, испортить ее. Не позволю.

— А кто этого хочет?!

— Вы! Все вы! — уже не говорила, а выкрикивала Магда.

Полковничиха беззвучно заплакала.

— Поплачь, — сказала ей сестра, — поплачь. Вся твоя беда в том и заключается, что ты ни разу в жизни по-настоящему не плакала, по-настоящему не страдала. А без этого не узнаешь и счастья. Я моложе тебя, но я все это знаю. В конце концов и тебе нужно понять, что нельзя прожить всю жизнь, прикрываясь словом «надо». Нужно жить собственной жизнью, своей и его, иначе можно зачерстветь. И внешне и внутренне.

Она подошла к лампе и взяла в руки тряпичную фигурку, свисавшую с абажура. Магда вспомнила, что когда-то давно она своими руками сделала эту фигурку и подарила маме Бетти ко дню рождения, так как не могла видеть этот старомодный абажур. По-монгольски смуглое лицо женщины в лилово-красном свете лампы казалось красивым. Ее изящная, хотя отнюдь не худая шея грациозно возвышалась над светло-голубым воротником платья.

— Вся моя жизнь — это Кальман, — тихо произнесла она.

Супруга полковника стояла посреди комнаты, как раз под потушенной люстрой, и плакала. Правая рука у нее была в кармане, она сжимала в ней письмо. Над нею мелкой дрожью дрожали хрустальные подвески люстры, сверкавшие в свете лампы и отбрасывавшие световую радугу на ее слегка вздрагивавшую от рыданий голову с черными как смоль волосами. От игры света создавалось впечатление, что она стоит посредине аквариума, заполненного слезами.

Магде уже было жаль сестру. Охотнее всего она бы подбежала к ней, чтобы утешить ее, как не раз делала в детстве. Однако она не сделала этого и, хотя прекрасно

понимала, что это жестоко по отношению к сестре, сказала:

— И ребенка этого я сама хотела, а не Кальман. Он уговаривал меня подождать до конца войны. Но я твердо сказала ему «нет». Сказала, что ребенок пужен мне, пока его, Кальмана, не будет рядом со мной. — Проведя рукой по животу, она спросила: — А знаешь, почему? — И, не дожидаясь ответа, продолжала: — Потому что я боялась. Боялась вас, боялась собственной слабости, боялась, что, оставшись одна, без Кальмана, потеряю самое себя. Мне пужно было решиться на самое большое, решиться на этого ребенка. — Опустив голову, она закончила: — Вот и все.

Вдруг полковничиха упала на пол, не произнеся ни единого звука и не сделав ни одного жеста.

Сестра испуганно опустилась перед ней на колени.

— Кристи! Кристи! — трясла она ее за плечо. И вдруг откачнувшись в сторону: на нее опять неожиданно пакатила тошнота, которая еще больше усиливалась от густого запаха духов сестры, отдававших ладаном. С трудом Магда поднялась и позвонила горничной.

Горничная вошла торопливыми шагами, держа в руках тускло поблескивавший серебряный поднос.

— Госпоже стало плохо, — сказала Магда. — Бегите за господином полковником.

Магда намочила в кувшине с водой угол носового платка и, встав перед сестрой на колени, стала смачивать ей виски, размазав тушь на ресницах.

7

Полковник вместе с майором и старшим лейтенантом обсуждали в штабе сложившееся положение. В комнате стоял такой дым от выкуренных сигарет, что его, казалось, можно было потрогать. Дым ел глаза, от него щипало в горле. Однако из-за светомаскировки никто не осмеливался открыть ни окно, ни дверь. В другой раз это бы сделали, но сегодня все находились под впечатлением только что полученного сообщения.

— Через две недели наши будут в Южной Трапсильвании, — сказал майор.

Полковник ничего не ответил ему, внимательно изучая карту, которая лежала на длинном столе, обитом зе-

ленным сукном. Он переставил несколько флажков, вернее, просто вынул их и снова воткнул на старое место.

Старший лейтенант покашлял и снова закурил полусгоревшую сигарету. На углу стола лежали две коробки спичек рядом с небольшой стеклянной пепельницей.

— А как ты думаешь, Пишта? — спросил старшего лейтенанта майор.

— Все будет зависеть от того, получим мы помощь от немцев или нет.

— Наверняка получим.

— Когда? — посмотрел на обоих офицеров полковник.

Голос его дрожал. Казалось, что тот крупный, крепкий мужчина, который недавно сидел за обедом, за истекшее с тех пор время сразу состарился и как-то опустился.

— Возможно, что помощь уже на подходе, в пути.

— Неделя промедления, и мы не только не займем Южной Трансильвании, но потеряем и Северную.

— Это исключено, — энергично запротестовал майор. — За неделю наши силы не иссякнут, и мы не только удержимся, но еще сможем и атаковать противника.

— С такой допотопной артиллерией, да еще на конной тяге, как наша? И это против сталинских-то «катюш»?

— Нужно только бросить в бой все наши силы и забыть на время про маневрирование осторожностью.

Полковник возразил:

— Снять сейчас с Карпат горных стрелков и гаубицы на мехтяге — это равносильно самоубийству. А резервы у нас сами знаете какие.

— Вы чересчур пессимистично смотрите на создавшееся положение, Акош.

— Возможно.

— Я попытаюсь еще раз дозвониться до штаба корпуса, господин полковник, — предложил старший лейтенант. — Вдруг удастся...

— Правильно, — кивнул тот. — По крайней мере приказ получим.

Старший лейтенант направился в угол, где на маленьком старом столе стоял телефонный аппарат рядом с неуклюжим желтым сейфом. Он долго крутил ручку телефона, кричал:

— Халло, корпус! Халло! — Но никто ему не отве-

чал. Тогда он снова покрутил ручку и снова закричал в трубку: — Халло! — На лице у него выступил пот, поблескивая возле узких черненьких усов.

Майор размеренно ходил взад и вперед по длинной и узкой комнате. В его походке не чувствовалось особого волнения, оно проявлялось лишь в том, что он потрескивал своими костистыми пальцами в черных волосках. Если бы это зависело от него, он немедленно отдал бы приказ на наступление. Идя форсированным маршем, к утру они были бы уже у Коложвара и взяли бы под обстрел железнодорожную линию на Брашов и шоссе. А под прикрытием артогня пехота в тот же день смогла бы овладеть населенными пунктами Торда, Дичёсентмартон, возможно, Надьенедь. Вместо того чтобы...

— Вместо того чтобы поднять нас по тревоге, в штабе никто даже не снимет трубки.

— Это проще всего, не так ли? — заметил полковник.

— И это сейчас, когда каждая минута равнозначна целому дню. Лучшего случая для того, чтобы захватить всю Трансильванию, у нас не будет, а тогда... Эх! И с точки зрения стратегии этот шаг является для нас очень важным: если мы не сумеем занять линию обороны в Южных Карпатах, лопнет весь фронт.

— Уже лопнул, — ответил полковник, вновь трогая флажки на карте.

— Об этом не может быть и речи.

Полковник повернулся к карте спиной и сел на край стола, покрытого зеленым сукном.

— Дня через два-три падет Париж. Месяц он не продержится, но если бы хоть недели три... Финны, как и румыны, перейдут на сторону русских.

— Именно поэтому нам и необходимо ворваться в Южные Карпаты, пока русские не вошли в Брашов с юга.

— Я верю, что ты действительно считаешь это важным шагом. В конце концов, в этом городе ты родился...

— Ты плохо меня знаешь, я не склонен к сентиментальности.

— Не надо оправдываться. Я тоже считаю, что владения моей матери, потерянные ею, очень важны для нас. Но сейчас такой подход к делу ничего не даст. На этих соображениях ни я, ни трансильванский граф, ни ты, ни немцы из Брашова никакой стратегии не построят.

— Сейчас все решает скорость.

— Нет. Плоешти. Если Плоешти не даст топлива, всей нашей армии, находящейся в Северной Трансильвании, придет конец. Хорошо еще, если у нас хватит бензина для отступления. Тут не до наступления. А из Плоешти мы больше топлива не получим.

Прислонившись лопатками к сейфу, старший лейтенант без усталости кричал в трубку:

— Халло! Корпус! Халло!

При звуке «о» рот его кривился, так как он держал уже давно погасшую сигарету.

Майор с новым воодушевлением продолжал спор:

— Ты всегда сбрасывал со счетов помощь немцев.

— Где она, их помощь? Ее нет.

— Будет.

— Да, да, не спорю, — согласился полковник, — что наступление танков могло бы намного улучшить наше положение. Но и для этого необходимо горючее Плоешти.

— У них есть искусственный бензин.

В глубине души полковник опасался майора, особенно его упрямства, агрессивности, но, чувствуя себя начальником, он даже самому себе боялся в этом признаться.

В комнату, запыхавшись, вошла горничная.

— Господин полковник! — тяжело дыша, выпалила она. — Прошу вас вернуться домой, госпоже стало плохо.

Ослепленная светом, она жмурилась, к тому же густой табачный дым щипал глаза. Не смея прикоснуться к глазам, она часто моргала, теребя руками передник.

Полковник обрадовался тому, что можно уйти отсюда и не вести больше бесполезных споров с офицерами, не ломать понапрасну голову.

— Если позвонят из корпуса, — сказал он майору, — будь добр, скажи мне. Я хочу сам поговорить со штабом.

— Хорошо, господин полковник, — холодно кивнул майор, чувствуя себя обиженным. Он криво усмехнулся, его тонкие бескровные губы дрогнули.

А старший лейтенант все кричал и кричал в трубку свои бесконечные «халло».

Во дворе казармы было темно. По приказу полковника в тот вечер погасили даже затемненные лампочки у входа в казарму. Полковник твердыми шагами шел вслед за горничной. Во дворе не было ни души, и только со стороны конюшни доносились чьи-то приглушенные голо-

са. Полковник решил заглянуть туда: пусть солдаты видят, что их командир всегда и всюду с ними. Даже в такое время. Самое главное сейчас — это сохранить воинскую дисциплину.

Солдаты испугались, услышав тяжелые шаги на дорожке. Полковник сверлил взглядом застывшие по стойке «смирно» темные фигуры солдат. Ему интересно было заглянуть в их лица, но мешала темнота, а подходить ближе ему не хотелось. Он коротко ответил на их приветствие, однако шагов не замедлил.

Миновав конюшни и орудейный парк, полковник повернул к офицерскому дому. Размеренная ходьба вывела его из состояния усталости, в котором он пребывал. Он начал что-то насвистывать.

И вдруг заметил, что в крайней солдатской казарме плохо затемнено одно из окон: темноту разрезала тонкая полоска света. Казалось, эта полоска врезалась в него самого. От хорошего настроения не осталось и следа; выхватив пистолет, он выстрелил. Кто-то отодвинул затемнение, и полоса света, вырывавшаяся наружу, стала еще шире.

— Собаки! — И полковник выстрелил еще раз.

Свет в окне погас.

Не вкладывая пистолет в кобуру, он так и вошел в комнату жены, держа его в перво дрожащей руке. Бросил пистолет на крышку белого рояля. Из дула еще шел дымок.

— Что случилось? — спросил полковник.

— Ничего, — бессильно ответила жена, лежа на кушетке.

— Вижу.

— Жарко, а тут еще эти волнения.

— Понятно, — кивнул полковник. — Действительно много волнений. — Он провел рукой по своему широкому морщинистому лбу. Пальцы его все еще дрожали.

Супруга полковника поднесла ко рту носовой платок: от удушливого порохового запаха ей опять стало плохо. Бледная как полотно, она села, чтобы встать и выйти из комнаты.

— Останься здесь! — крикнул ей муж.

— Что вы хотите от меня? — испугалась женщина. Пересилив себя, она прижалась к самой стене, на которой висел пестрый мохнатый ковер.

— Ничего особенного, — ответил полковник уже более спокойным тоном; внезапная вспышка как бы расслабила его. Взяв в руки пистолет, он заглянул в ствол и сказал: — Студент отсюда никуда не уедет.

— Он хочет уехать.

— Мало ли что он хочет.

— Лучше будет, если он уедет.

— Я сказал: никуда он не уедет.

Жена покачала головой. Теперь она поняла, что студенту действительно нужно уехать. Немного помолчав, она сказала:

— Я не... я не буду с ним говорить.

— Я буду!

— Что тебе нужно от него?

— Боишься?! — улыбнулся муж холодной и жестокой улыбкой, блеснув крепкими зубами. Лицо его, испещренное множеством глубоких морщин, было в этот момент похоже на искаженную маску из древнегреческой трагедии, а может быть, комедии.

— Чего ты хочешь?

— Зачем ты устраиваешь грандиозный скандал с истерикой и обмороком, хотя сама ждешь не дождешься, чтобы этот паршивый студент поцеловал тебя?

— Не говори пошлостей!

— Только тебе все можно, да?

— Акош! Как ты разговариваешь со мной!

— Вот так, — проговорил полковник, подбрасывая на ладони пистолет, словно актер в детективном фильме.

Женщина рванулась к нему, встав напротив:

— Ну убей меня! Вот я! Ты это можешь сделать. — Большие темные глаза ее горели гневом. — Чего же ты медлишь? Спусти курок, и все. — И она пальцем сделала движение, показывая, как просто это сделать.

Полковник ничего не отвечал, желая, чтобы она высказалась до конца. Он хладнокровно продолжал играть пистолетом, даже не глядя на жену.

— Я знаю, что стою на вашем пути. Вам нужны были деньги моего отца, без них вы бы потеряли свое имение; но дочь мельника не подходит для вашего старинного рода. И вы этого не можете простить, именно поэтому вы со своей матерью ненавидите меня.

— У тебя все? — Полковник перестал играть пистолетом.

— Да.

— А теперь ступай к студенту и передай ему, что он отсюда никуда не уедет, он останется здесь.

— Я не пойду!

— Не пойдешь?

Женщина хотела выкрикнуть «нет», губы ее уже готовы были произнести это слово, но она не произнесла ни звука, только опустила голову. Черные волосы упали на лицо.

— Нет? — переспросил муж.

И Криста пошла.

Полковник провожал ее взглядом, а когда она подошла к двери, догнал ее и схватил так резко, что порвал на ней платье.

Платье спало с одного плеча, обнажив белое тело. Полковник, прильнув к плечу, стал покрывать его поцелуями. Женщина вся напряглась, хотела кричать, бить его кулаками, но как-то вдруг обмякла и подчинилась грубой воле мужа, словно сама уже больше не распоряжалась своим телом...

— Можешь идти, — сказал полковник, покашливая. Наклонившись, он поднял пистолет с ковра.

Жена его сняла с себя разорванное платье и надела длинный до пола халат из золотисто-желтого шелка, разрисованного маленькими черными птицами, похожими на чаек. В этом халате она выглядела намного стройнее, чем была на самом деле, почти совсем девочкой.

Остановившись перед зеркалом, она машинально причесалась, слегка припудрила лицо и подкрасила губы. Приведя лицо в порядок, она еще раз осмотрела себя и потуже завязала пояс. Дойдя до двери, оглянулась. Не проронив ни слова, бросила на мужа холодно-равнодушный взгляд и вышла легким пружинистым шагом.

На ковре осталось лежать разорванное платье чайного цвета.

Полковник сдвинул вперед кобуру, вложил в нее пистолет и застегнул крышку. В голову ему пришла мысль о том, что, если студент сейчас останется с ними, будет совсем неплохо, он может пригодиться. Но он тут же прогнал эту мысль.

— Вот стерва! — выругался он и носком сапога пнул платье жены. В нос ударил резкий запах ладана.

Студент сидел на подоконнике. Луна еще не взошла, кругом стояла тишина, обаятая бархатной темнотой. Звезды блестели, словно мокрые, и казались совсем близкими. Как раз напротив располагалось созвездие Андромеды; если хорошенько присмотреться, то можно было заметить позади ярких звезд и туманность. Но только если хорошо присмотреться.

Странное дело эти звезды: временами он не решался смотреть на небо, его пугали звезды; другой раз, как сейчас, он не мог отвести от них взгляда. При этом он испытывал то невыразимую грусть, то безмятежное спокойствие. Долгое время думал, что это зависит от душевного настроя, потом понял, что нет. Просто-напросто звездное небо имело над ним необъяснимую власть.

Бурные события дня забылись, словно их разогнало звездное небо. Осталась только печаль да тишина, от которой до боли сжималось сердце. Хотелось обо всем этом рассказать в музыке. Мысленно он уже слышал оркестр, но его интересовали не столько музыкальные мысли, сколько сами звуки со своими эффектами. Юноше было всего только двадцать два года. Он еще не нашел главного мотива своего будущего произведения, он только слышал звучание нескольких отдельных мелодий, как будто их играл какой-то несыгравшийся оркестр.

Из всего сонма звуков выделялись скрипки, которые вели свою мелодию высоко-высоко. Мысленно он уже записывал мелодию за мелодией на нотной бумаге, они явственно звучали у него в ушах. Но это было не совсем то...

— Арфа, — произнес он вполголоса. И тут же представил себе, как, пристроившись к скрипкам, приятно зазвучала арфа, как бы оттеняя мотив. Он уже явственно слышал их слаженную игру. Попытался представить себе лицо женщины-арфистки, которая, прижав свой инструмент к правому плечу, сидит в оркестре и перебирает струны арфы, рождающей чудесные звуки, но так и не смог увидеть это лицо.

Рассердившись на себя за то, что ему в голову пришла такая нелепая мысль, он снова отдался музыке. Он так задумался, что даже не заметил, когда жена полковника подошла к нему. Он обратил на нее внимание только тогда, когда услышал за своей спиной тихое дыхание женщины.

— Целую ручку, Криста, — поздоровался он с ней, даже не повернув головы.

— Как вы догадались, что это я?

— Муж прислал? — вместо ответа спросил студент.

— Откуда вам это известно? — уже испуганно спросила она.

— Я этого не знаю, но думаю, что это так, — ответил юноша, по-прежнему глядя в небо.

Ее приход не помешал ему; напротив, ему было приятно, что она здесь. Станным был ее приход, непонятным, но он не хотел об этом думать. Он думал о том, как найти контрастные варианты для партии скрипок и партии арфы, сделать так, чтобы их голоса то сливались, то расходились.

В любое другое время такое поведение юноши оскорбило бы супругу полковника, но не сейчас. Ей было даже приятно. После случившегося, казалось, легче вот так в темноте стоять за спиной студента и разговаривать с ним; если бы она стояла перед ним при ярком электрическом свете, то ей невольно пришлось бы позировать, скрывать свое настоящее лицо под маской оскорбленной женщины, а это было бы верхом лжи, так как больше всего ей хотелось бы упасть ему на плечо и заплакать. А стоя вот так, не нужно было плакать, не нужно было позировать. Она могла быть самой собой. И это, несмотря на все муки, было приятно.

— Меня прислал супруг, — тихо сказала она. — Но я бы и сама пришла. Муж не хочет, чтобы вы уезжали; он хочет, чтобы вы остались здесь.

Студент слышал, что она сказала, понял ее, но почему-то спросил о другом, что казалось ему более важным:

— Вы ведь видели картины Ван-Гога в оригинале, не так ли?

— Видела в Лувре.

— Помните его «Мост в Арле»?

— Конечно помню! Такое нельзя не помнить.

— Завидую вам, я видел только репродукцию, но зрелище действительно незабываемое. Холодные, как бы просвечивающие насквозь голубые тона и рядом с ними свежая ядовитая зелень. А какой цвет объединяет их?

Женщина не смогла ничего ответить ему.

— Подумайте, вспомните, какого цвета нос лодки, стоящей у камыша, какого цвета платья на женщинах, полощущих белье?

— Красные какие-то, желтоватые.

— Вот именно — что-то смешанное из этих двух цветов. Местами сильнее чувствуешь один цвет, местами — другой. Анилиново-желтый и красный, голубой и зеленый, такие контрасты.

Сказав это, юноша как будто почувствовал себя увереннее и спросил:

— А почему мне нельзя уезжать?

— Не знаю.

— Вы бы обрадовались?..

— Не будем сейчас говорить о том, чему бы я обрадовалась...

— Хорошо. — Юноша пожал плечами. — Но я уеду.

Он почти не следил за женщиной. Сейчас главное для него было сосредоточиться на задуманной музыкальной композиции. Он находился в особом творческом состоянии, которое бывает редко. В такой момент нельзя останавливаться на полпути, иначе сочиненное так и останется навсегда в виде обрывков, которым никогда не суждено будет завершиться в музыкальное произведение. В этом произведении ему важно было не показать приобретенные знания, а выразить себя самого.

— Я не хочу ни во что вмешиваться, — начала полковничиха. — Поступайте так, как считаете нужным. После нанесенного вам оскорбления вы не должны чувствовать никаких обязательств по отношению к нам.

— Не в этом дело.

— Действительно не в этом...

Она замолчала, подыскивая слова.

— Я вас очень прошу, не надо ни о чем говорить, — повернулся к ней юноша. В голосе его сквозила нежность и мольба.

— Я должна сказать.

— Вам будет больно от этого.

— Именно поэтому я и должна сказать.

Они не столько видели друг друга, сколько чувствовали. В темноте, царившей в комнате, виднелось лишь освещенное светом звезд лицо женщины да контуры юношеской фигуры с поднятой вверх головой, над которой сверкало созвездие Андромеды.

Близость женщины все больше и больше будоражила душу юноши; ему казалось, будто мозг его находится под воздействием тока высокой частоты. Он сейчас прекрасно

понимал Ван-Гога, вот только музыка все еще никак не складывалась в его голове.

«Интересно, как бы это осмыслил Барток?» — подумал юноша, но сразу же отогнал от себя эту мысль. Он знал, что, сочиняя музыку, никогда не следует искать музыкальных аналогий, чтобы случайно не впасть в подражание, даже если это будет такой композитор, как Барток.

— Мне кажется, я сейчас в унижительном положении, — снова заговорила супруга полковника, — а вы хотите меня выручить, спасти. Это очень человечно с вашей стороны, но я не могу согласиться на это. Я готова снести все унижения.

— Кто вас принуждает к этому?

— Никто. Моя совесть.

— Не мучайте себя.

— Вы меня жалеете?

— Нет, уважаю.

— Правда? — Она сразу обмякла. Рыдания подступили к горлу.

— Я никогда не смог бы солгать вам, Криста. — Он знал, что это на самом деле так.

В ушах у него бушевали звуки, в которые сначала вплелась мелодия виолончели, а потом зазвучали литавры.

— Один мой знакомый — я его очень любила, но даже из-за него не пошла бы на то, чтобы сломать всю свою жизнь, — как-то сказал мне: «Каждый человек ответствен перед своей совестью — и ты, и я». Я всегда понимала, что он прав, но никогда не думала, что эти слова могут быть в такой степени отнесены ко мне.

— Да, от этой ответственности никуда не уйдешь, — продолжил ее мысль юноша.

— Можно спрятаться.

— От самого себя?

— Да, если нужно.

— Но рано или поздно все равно себя обнаружишь.

Женщина подошла к студенту и положила ему руку на плечо, но уже совсем не так, как днем.

— Поэтому я и пришла сюда.

Юношу потрясло благородство женщины и ее великодушие, он был благодарен ей, хотелось броситься ей в ноги со словами молитвы, как это делали в средневековые одержимые верой монахи перед изваянием деви Марии. Юно-

ша испугался своего порыва, он пытался думать о музыке, но не мог.

Из-за горизонта, из-за снежных вершин медленно восходила луна, пока ее еще не было видно, однако ее холодный призрачный свет уже окрасил край неба и зигзаги горных вершин.

Стоя за спиной юноши, женщина смотрела на усыпанное звездами небо, потом спросила:

— Вы сможете меня простить?

— Мне нечего прощать.

— Не будьте таким галантным и не пытайтесь обелить меня перед собственной совестью.

Студент чувствовал на своем плече дрожащую руку женщины. Схватив эту руку, он поцеловал ее.

— Лацика! — тихо воскликнула она и сделала несколько шагов назад.

И в этот миг юношу осенило: он явственно услышал прекрасную мелодию, над которой столько бился до этого. И он потихоньку стал напевать ее.

Женщина услышала.

— Что это? — удивилась она.

— Это? — с трудом произнес юноша. — Это я сейчас сочинил.

— Сейчас.

— Да, сейчас.

Женщина тихо заплакала, так тихо, что он даже не заметил этого и вдохновенно начал рассказывать о задуманной музыкальной композиции, даже пропел часть ее.

— Нужно только добавить кларнеты, хотя нет, лучше английские рожки. Да, да, именно английские рожки, у них полнее звук, они больше берут за сердце. Как ты думаешь, красиво будет? — с волнением спросил он.

Женщина ничего не ответила ему, а только повторяла как бы про себя:

— La Chatédrale. La Chatédrale...

— Криста, что с вами? Вы плачете?

Юноша обнял ее за плечи и нежно привлек к себе. Ему хотелось сказать ей что-то хорошее, как-то утешить ее, но он только и проговорил:

— Я никуда не поеду. Я остаюсь.

Они стояли молча. Над ними было звездное ночное небо.

Завтракали под развесистой пальмой. Составили вместе два дачных плетеных стола, расставив вокруг скрипевшие при малейшем движении камышовые стулья, выкрашенные белой краской.

— А где Лаци? — спросил полковник, оглядев собравшихся.

Жена полковника ничего не ответила. С холодным равнодушием она пила чай и, сощурив глаза, поглядывала на залитый ярким солнцем двор.

— Он обычно завтракает позже, в такое время он уходит в горы, — ответила Магда.

— Ах, да, конечно, — закивал хозяин дома. — Утренние размышления. — И, повернувшись к майору, сказал: — Утром я подежурю в штабе. Иди отдохни. — Затем он встал и отвесил поклон в сторону матери: — Извините меня, мама.

Старая графиня понимающе закивала:

— Иди, сынок, иди.

Под ее широким подбородком резко обозначились глубокие складки желтой кожи, которые она обычно тщательно запудривала.

Обе створки широкого французского окна были распахнуты настежь, и тюлевая занавесь шевелилась от легкого ветерка. Белокурая девушка с кукольным лицом откинулась на спинку кресла и, заложив руки за голову, подставила лицо солнечным лучам и потоку воздуха, несущему с собой медовый запах сливы.

— Чудесное утро! — сказала девушка. Она произносила слова несколько неестественно, манерно, но сейчас была вполне искренна, и это ей больше шло.

— Чудесно, — повторил майор, имея в виду отнюдь не утро. Он смотрел на невесту, сидевшую с закинутыми за голову руками, ее маленькие упругие груди казались еще более упругими.

Дойдя до лестницы, полковник остановился и, полуобернувшись, сказал:

— Если снова будут звонить из корпуса, я тебя позову.

И он стал спускаться по лестнице так же неторопливо и размеренно, как разговаривал. На этот раз его шаги раздавались громче обычного, хотя тяжести в походке не чувствовалось.

— Надеюсь, они примут мое предложение, — сказал майор, поворачиваясь в кресле, которое жалобно заскрипело под ним.

Однако никто не спросил у него, о каком предложении он говорил.

— Нам нужно наступать, — начал пояснять майор, — сейчас же, немедленно.

Покусывая тонкие упрямые губы, он не отводил взгляда от девушки.

— Ну и жесткое же это имперское мясо, — пробормотал генерал с полным ртом. Морщины разбежались в разные стороны на его древнем, как у мумии, лице, искусственные зубы поскрипывали.

Сдвинув черные брови, полковничиха спросила:

— Почему вы не возьмете себе рубленую котлету, дорогой Татока? — На губах женщины появилась загадочная улыбка, в голосе звучала вежливость, но какая-то леденящая.

— Извините, я пойду, — встала Магда.

— Полезный для здоровья послеобеденный моцион? — поинтересовалась белокурая девушка. Внезапно ей захотелось стать доброй, очень-очень доброй, такой, как в детстве, захотелось поцеловать эту маленькую беременную креолку, как в Библии Елена поцеловала Марию. Она даже шевельнулась, чтобы встать.

— Да, — коротко бросила Магда, даже не взглянув на нее.

Девушке стало как-то не по себе — ужасно душно, просто немоготу. Она встала, подошла к открытому окну и, закрыв глаза, подставила лицо ветру и свету. Она стояла и думала, почему ей не удалось остаться такой же чистой, как это чудесное утро, и ей стало жаль всей своей прежней жизни.

— Потом будет удивляться, если ребенок родится уродом, — бросила вдогонку Магде старая графиня.

— Напрасно беспокоитесь, — ответила Магда, не останавливаясь. Голос ее прозвучал уверенно, но с оттенком скрытого беспокойства.

— Не сыграть ли нам после завтрака в карты? — обратилась графиня к генералу.

— Просьба графини Бетти для меня приказ! — Генерал всплеснул своими по-старчески трясущимися руками и почесал волосатую бородавку на толстом мясистом носу.

— Приятного времяпрепровождения, — сказала полковничиха и, легко поднявшись с кресла, пошла за сестрой.

Настала тишина, леденящая тишина. Графиня ничего не сказала, лишь еще выше подняла свою гордую седую голову и выпила из чашки остаток чая.

Услышав скрип тележных колес, белокурая девушка с кукольным лицом, стоявшая у окна, открыла глаза и, перевесившись через перила из кованого железа, с любопытством посмотрела в сторону леса.

Из-за угла казармы на дороге показался первый конник в зеленой немецкой форме, а вслед за ним подводы.

— Кто они такие? — спросила девушка, полуобернувшись к майору.

Майор подошел к ней и встал вплотную. Правую руку он держал так, что касался ею груди девушки.

— Это русские и украинцы, — сказал он.

— Пленные? — спросила девушка, отодвигаясь от майора.

— Нет, беженцы, — ответил он и засмеялся каким-то деревянным смехом. — Пошли в комнату, Туби, — быстро шепнул он ей на ухо.

Девушка сделала вид, что не расслышала приглашения. Неподвижно стояла она у открытого окна, крепко сжимая руками прохладное кованое железо перил, и смотрела на приближавшиеся подводы.

Шоссе проходило под самыми окнами их дома, а далее сворачивало в сторону города. Их разделяло всего несколько шагов да забор из колючей проволоки, натянутой на бетонные столбы.

Когда подводы подъехали к самому окну, девушка заметила:

— Но ведь их охраняют.

— Конечно охраняют.

— Значит, это пленные.

— Я же сказал тебе, что это беженцы, — занервничал майор и, сцепив замком костистые, поросшие рыжими волосами пальцы, затрещал ими.

В этот момент как раз под окном оказалась подвода, на которой на куче узлов лежала молодая светловолосая женщина в красном платке.

— О-о-о! — вскрикнула женщина, выгибаясь всем своим тяжелым телом.

— Она рождает! — воскликнула стоявшая у окна девушка.

Майор, словно желая оградить невесту от этого зрелища, обнял ее и настойчиво повторил:

— Ну, ты идешь, Туби?

Девушка вырвалась из объятий жениха и, вцепившись руками в раму окна, смотрела холодными, словно стеклянными, голубыми глазами на подводу. Она пугала его, хотя и была соблазнительно хороша.

Внизу на дороге скрипели телеги, глухо топали по пыли лошадиные копыта.

— О-о-о-о! — снова закричала молодая женщина, зажимая рот красным платком и кусая его зубами.

Здоровенный рыжий немец-охранник подскакал к подводе.

— Maul halten! ¹ — пригрозил он молодой женщине и старухе тоже.

Старуха начала что-то объяснять ему, заплакала, запричитала, но немец ударил каблуком лошадь в бок и дернул поводья.

— Она же рождает! — не своим голосом закричала белокурая девушка с кукольным лицом.

— Нельзя быть такой сентиментальной, моя девочка, — заметила старая графиня, все еще сидевшая за столом. Опершись на трость с серебряным набалдашником, она встала с кресла. — Пойду принесу свои карты, — сказала она генералу. — Я люблю играть только ими, с чужими картами мне никогда не везет.

— О-о-о-о! — опять послышался крик с телеги.

Вдруг старуха резким движением сорвала с головы темный полушалок и вцепилась руками в рыжего немца. Охранник закачался в седле, но не упал. Сорвав с плеча карабин и оскалившись желтыми лошадиными зубами, он выстрелил в упор в высохшее лицо старухи.

— Убийца! — завизжала девушка.

Майор сжал ее локоть пальцами, поросшими рыжими волосами.

— Убийца! — закричала девушка прямо в лицо майору. И бросилась бежать, крича на бегу: — Все вы убийцы! Убийцы!

¹ Заткни глотку! (нем.).

Майор хотел было пойти за невестой, но графиня остановила его:

— Оставьте ее, пусть успокоится.

«Ийцы... ийцы...» — ответило эхо в конце длинного коридора.

В этот момент по лестнице медленно поднимался студент. В руках у него была полуобструганная палка, которую он с интересом рассматривал, думая о том, какой узор вырезать на ней.

Невеста майора налетела на перила и судорожно вцепилась в них. Она была бледна, как стена, ее начало тошнить. Юноша сначала, ничего не понимая, смотрел на нее, затем подскочил к девушке и, схватив ее на руки, понес в ванную.

— Уходите! Уходите! — простонала девушка.

Он ничего не говорил ей, только поддерживал прохладной рукой ее лоб, а другой рукой гладил ей шею. Когда ее вырвало, он поплескал ей в лицо водой, затем осторожными похлопывающими движениями сбил воду с ее лица и вывел девушку в коридор.

Около своей комнаты она остановилась и, наклонив голову, уставилась в пол, выложенный цветными шашечками. Лицо ее было бледно и почти прозрачно, отчего она казалась еще более красивой. Оно утратило застывшее кукольное выражение и стало живым человеческим лицом.

— Теперь вы меня будете презирать, да?

— Не стоит об этом говорить.

Девушка подняла на юношу голубые, словно стеклянные, глаза, которые смотрели кротко и умоляюще.

— Дышите, пожалуйста, глубже, это помогает, — улыбнулся студент.

Во дворе казармы затрубил горн: это объявили тревогу.

К вечеру подводы снова въехали в горы, дорога шла по берегу реки, делая довольно плавные повороты. Луна стояла высоко в небе, отражаясь в реке. Вода с шумом разбивалась о скалы, о ноги низкорослых косматых лошадей, о большие скрипящие колеса, сверкая множеством мелких брызг.

К вечеру молодая русская женщина родила мальчика. Она завернула его в какое-то тряпье и, сняв с головы красный платок, перевязала младенца. Подводы ехали через густой лес, кроны деревьев так сплетались над головой, что было темно, и лишь от воды шел полусвет. По ночам

было довольно прохладно, да и днем воздух в лесу прогревался все меньше и меньше, а речка дышала влажным холодом. Устроившись поглубже и поудобнее между уздами, молодая женщина кормила ребенка грудью.

Миновав мост, подводы остановились на опушке леса. С одной стороны бушующая река, с другой — густая стена леса, залитого лунным светом. Узкоплечий сутулый немец, державший карабин поперек седла, наигрывал на губной гармошке «Mein Lieber Augustin»¹.

Охранники не разрешали русским заходить в лес даже по нужде. Высокие стройные сосны с серебристыми стволами возмущенно гудели под порывами ветра, словно органные трубы.

¹ «Мой милый Августин» (нем.).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



В двух автомобилях

1



Два автомобиля въехали во двор замка. Впереди черный «папдерер», на крыше которого в сетке для багажа лежали громадных размеров чемодан и велосипед студента; за ним маленький тарахтящий «ДКВ». Стая голубей поднялась в воздух и, покружившись над парком, снова уселась на своем месте. Оба автомобиля затормозили у лестницы, ведущей к парадному. Желтый гравий зашуршал под шинами машин.

На самой верхней ступеньке лестницы стоял инженер и ждал. Когда все восемь пассажиров, ехавших в двух машинах, вышли и, забрав небольшие свертки, стали подниматься по лестнице, инженер начал спускаться им навстречу. Супруге полковника он поцеловал руку, кое с кем обменялся рукопожатиями, кому-то всего-навсего кивнул головой.

— Разрешите мне, Криста... — Он взял из рук женщины небольшую лакированную сумку.

Мужчина был худощав, высок ростом, с длинными, почти совсем седыми волосами и темными густыми бровями. Лицо у него было узкое, с острым и горбатым, как у Мефистофеля, носом и маленькими, черными, близко посаженными глазами, которые насмешливо оглядывали приехавших. Его взгляд лишь бегло скользнул по веснушчатому потному лицу майора, зато студента он разглядывал долго.

Когда все вошли в холл, мужчина мимоходом сказал несколько любезностей дамам и жестом человека, привыкшего распоряжаться, указал двум горничным, кто из го-

стей в какой комнате будет жить, а затем послал их за багажом.

Дамы сразу же пошли приводить себя в порядок и переодеваться. За ними увязался и старый генерал.

— Пойдемте с нами, Татока, — предложила ему мать полковника, которая одной рукой опиралась на руку старика, а другой на свою палку, которую она со стуком опускала на паркет.

Супруга полковника не предупредила владельца замка о том, чтобы он помог графине, — она совсем забыла о ней.

— Прошу вас ко мне, — пригласил инженер мужчин.

В углу у окна стоял простой длинный стол, а перед ним у стены деревянный диван резного дерева со спинкой и подлокотниками и точно такие же стулья. Студент с любопытством разглядывал резьбу, резные листья и, не удержавшись, потрогал их руками, прежде чем сесть.

— Старая мебель, — заметил инженер. — Изготовлена она в восемьсот двенадцатом году, когда Кутузов отогнал Наполеона к Березине. Работа некоего мастера К. И. Эти инициалы вырезаны на обратной стороне спинки дивана; бессмертие ему обеспечено, так как в том месте дереву никогда ничего не делается.

Инженер достал из шкафчика, висевшего на стене и разрисованного тюльпанами, большую черную керамическую кружку и маленькие чашечки.

— Наполеоновскую армию пережили, переживут и германский вермахт.

— Вы в этом уверены? — спросил майор, холодно сверкнув серыми глазами.

— Уверен.

— А за что мы выпьем?

— Не за победу.

Хозяин поднял свою чашечку и, ни с кем не чокнувшись, залпом выпил палинку¹. Сделал он это каким-то резким движением, которое прорвалось у него откуда-то из глубины, словно он потерял контроль над собой, зато на стол свою чашечку хозяин поставил так, что она даже не стукнула.

Полковник долго прокашливался, подергивая широкими мясистыми щеками, и вдруг грубо выругался.

¹ Венгерская водка.

— Не падай духом, — обратился к нему инженер. — Не вы первые беженцы на свете, не вы последние.

— Одно хотелось бы знать, Петер: удастся ли мне еще когда-нибудь выпить твоей палинки?

— Выпьешь еще.

— Когда?

— А вот сейчас и выпьешь.

— Не издевайся, я другое время имею в виду.

Инженер снова налил всем палинки и, прежде чем выпить, сказал:

— Чтобы никогда больше такого не повторилось.

— И ты так же говоришь?

— А кто еще так говорит?

Полковник жестом показал на студента:

— Лади. — Из его чашечки на стол выплеснулось немного палинки.

Когда все поставили чашечки на стол, инженер, повернувшись к юноше, начал объяснять:

— Солище лишь за двести миллионов лет обращается вокруг центра Галактики, другими словами, двести миллионов земных лет равняются одному солнечному году. Теперь скажите мне, сколько же лет самым старым историческим событиям на земле?

Юноша засмутился от столь неожиданного вопроса и неуверенно ответил:

— Восемь — десять тысяч.

— Для большего удобства будем считать, что десять тысяч, сотня-другая тысяч лет здесь существенного значения не имеет. В двухстах миллионах как раз содержится двадцать тысяч раз по десять тысяч. Теперь я назову еще несколько цифр: в году триста шестьдесят пять дней, или восемь тысяч шестьсот семьдесят часов. — Не глядя на майора, инженер обратился именно к нему: — Теперь возьмите логарифмическую линейку и сосчитайте.

— Мне не нужна логарифмическая линейка, — ответил офицер, — расчет совершенно правилен.

— Извините, я ошибся — не шестьсот семьдесят, а, наоборот, семьсот шестьдесят.

Веснушчатое лицо майора зарделось от стыда, он хотел что-то сказать, но инженер не дал ему говорить.

— Разумеется, — продолжал он, обращаясь уже к полковнику, — это ничего, по сути дела, не меняет, так как и

восьми тысячам семистам шестидесяти далеко до двадцати тысяч.

— Что ты хочешь этим сказать? — ничего не понимая, спросил полковник.

— Только то, что вся история человечества, собственно говоря, все эти империи двенадцати Рамзесов, трех Наполеонов, одного Адольфа Гитлера, и Нефертити, превратившаяся в мумию, и Мария-Луиза с ее лошадиным лицом, и Марика Рокк с ее бритыми подмышками... — Инженер оглядел мужчин. — Разрешите продолжать? Так вот, все это умещается менее чем в получасе времени одного солнечного года, всего каких-то двадцать шесть минут.

— Господин инженер, это же отрицание всего на свете!

— Нет, господин майор, это факт, научно обоснованный факт, который можно проверить математическими расчетами. Я же вам говорил, считайте вслед за мной; если вы не верите мне, то поверьте логарифмической линейке и таблице умножения.

Полковник плоским большим пальцем тер щеки. Он охотно промолчал бы, но не хватило решительности, и он сказал:

— Как страшен этот цинизм.

— Не страшнее, чем выполнять приказ и передавать его другим, когда не уверен в его правильности. — И, взглянув на студента, инженер спросил: — А ты как думаешь?

Юноша долго смотрел на худощавое мефистофельское лицо инженера, на котором временами дергался нерв под левым глазом и в правом уголке рта. Юноша не был готов высказать свои возражения. Пораженный остроумной проныей инженера, он не отважился спорить с ним. Он вдруг вспомнил слова жены полковника и тихо повторил их:

— Каждый ответствен перед своей совестью.

Инженер остолбенел, в глазах его уже не было издевки.

Юноша встал и, поклонившись, пошел в отведенную ему комнату.

Его комната помещалась на самом верху башни замка. Стены ее были сложены уже не из камня, а из бревен, обмазанных с обеих сторон штукатуркой и побеленных известью. Комната была довольно просторной, но потолок оказался таким низким, что до него можно было дотянуться рукой.

Отсюда открывался широкий вид: на север и на юг выходило по одному окну, на запад — дверь, которая вела

на круговой балкон, сооруженный из бревен. В любое другое время студент первым делом вышел бы на балкон и осмотрелся, но сейчас он вместо этого достал из папки потную тетрадь и положил ее на стол. Садиться не стал, а просто склонился над тетрадью, облокотившись на стол.

Вот уже несколько дней он не притрагивался к нотам. Вереница неожиданных событий, паника, связанная с бегством, и царящая вокруг суматоха не давали ему возможности заняться работой.

А любовь? С той самой ночи он всячески старался избегать полковничиху, его нравственные принципы мешали ему сойтись с ней более близко. Юноша полагал своим долгом отказаться от нее, считая себя достаточно сильным для этого. Однако именно этот отказ и нервное напряжение, в котором он жил, еще больше разжигали в нем чувство к женщине.

«Так вот кто был тем мужчиной, о котором она сама мне говорила», — невольно подумал юноша об инженере, и сердце его больно сжалось.

«Берись-ка лучше за музыку!» — приказал он самому себе. Это была единственная возможность забыться, перестать думать об этой женщине, но музыка не шла ему сейчас на ум.

А надо было бы поработать над произведением, ему хотелось думать только о нем и ни о чем другом. Он уже давно решил, что это будет сочинение, написанное в форме хорала. Имелось уже пять или шесть частей, которые сами по себе совсем неплохо звучали, но стоило только попытаться соединить их в одно целое, как ничего не получалось.

«Что же, в конце концов, делать?» Он захлопнул потную тетрадку, положил ее вместе с карандашом в карман и пошел немного прогуляться по воздуху.

Когда он проходил через холл, то увидел все еще сидевших за столом трех мужчин. Полковник передвигал свою чашечку, размазывая по столу пролитую палинку, инженер слушал майора, дымя сигаретой, а офицер поучительным тоном говорил и говорил, подкрепляя свою речь театральными жестами.

— Из района Дебрецена к нам движется танковая колонна из пятидесяти двух танков. «Тигры».

— Утка это, и только, — заметил полковник.

— Извините, об этом мне сказал человек, который входит в ближайшее окружение генерал-полковника Берегфи. Эти танки и решат исход сражения в Трансильвании. Полсотни немецких танков попросту раздавят румынские и советские войска, прорвавшиеся через Карпаты. С точки зрения будущего Венгрии очень важно, чтобы мы приняли участие в этой операции как можно большим количеством сил; в противном случае мы рискуем потерять наши законные права на получение Трансильвании.

До сих пор студент издали слушал этот разговор, теперь он подошел поближе. Майор рассердился, перестал говорить. Инженер и полковник с удивлением посмотрели на юношу. Студент попросил извинения за то, что перебивает разговор, и, обратившись к инженеру, сказал:

— И все же самое важное — человек. Он важнее любых десяти тысяч лет.

— Что такое? — изумился инженер, сразу даже не поняв, о чем это заговорил студент.

— Вы сами знаете, что это именно так.

— Мальчишество какое-то... — заметил инженер.

— А я еще и есть мальчишка. — В этот момент студент и на самом деле был похож на упрямого мальчишку, которого напрасно обидели. Но через несколько секунд он улыбнулся: — Лучше верить в это, чем не верить ни во что на свете.

— Но далеко не все равно, во что верить, — вмешался в спор майор.

— Действительно не все равно, — согласился студент. Его подмывало спросить офицера: уж не считает ли тот, что он заблуждается. Однако, немного подумав, юноша решил, что нет смысла задавать майору такой вопрос. Повернувшись кругом, он вышел из холла.

Инженер долго смотрел ему вслед, пуская изо рта кольца дыма.

— Нравится мне этот парень, — признался он, сделав глубокую затяжку.

— Умен, — кивнул полковник, — только дерзок.

— Вот поэтому он мне и нравится.

Полковник провел мокрой чашечкой по столу длинную линию, постучал ею, посмотрел на часы.

— Без двадцати четыре. — И, повернувшись к майору, спросил: — Ты тоже пойдешь со мной?

— Разумеется.

— Тогда пошли. — И полковник объяснил инженеру: — Едем на станцию, там сейчас полк как раз грузится в вагоны. Не знаю только, достаточно ли прибыло специальных вагонов. Орудия можно погрузить и поплотней, а вот с лошадьми этого сделать нельзя.

Сев в автомобиль, офицеры уехали.

2

Невеста майора и студент совершенно случайно и неожиданно друг для друга встретились в парке замка. Белокурая девушка, припрыгивая, сбежала с лестницы, ведущей в парк, и чуть не столкнулась с юношей. Закинув растрепавшиеся волосы назад, она попросила прощения и только тогда заметила, кто перед ней.

Юноша, погруженный в свои мысли, смотрел на нее так, будто видел только ее изображение, фотографию.

— К знакомым идете? — спросил он.

— Да, — соврала девушка, почему-то пряча за спину сумку.

Однако студент не заметил ее замешательства.

— В какую сторону? — спросил он.

Она неопределенно махнула в конец сада, за которым начинались маленькие зигзагообразные улочки колонии. Она так растерялась, что даже не знала, куда ей теперь идти; ей просто хотелось побыть со студентом, и только.

— Если я вам не помешаю, — улыбнулся юноша, то я вас немного провожу. — Его хмурое худощавое лицо сразу просветлело, за стеклами очков теперь озорно, по-детски, смеялись зеленовато-серые глаза.

Девушка согласно кивнула.

Разговор не клеился. Юноша снова углубился в свои мысли. Уже через несколько шагов он совершенно забыл, где он и с кем. Неожиданно у него появилось такое ощущение, будто сзади, за его спиной, идет Криста и смотрит на него; ему казалось, что ее влюбленный взгляд жжет его. Он даже оглянулся.

Они шли по аллее неподвижно-немых лип. Густая широкая листва скрыла замок, и лишь в просвете аллеи виднелась белая башня замка с венчиком круговой бревенчатой террасы. Своим видом она была похожа на башни средневековых замков.

«Где ты?» — думал он о Кристе, которая опять померещилась ему.

И тут же испугался собственных мыслей. Он скосил глаза на девушку, которая семенила рядом с ним в сандалиях на толстой подошве. Кукольное личико ее покраснело и было серьезно, временами она покусывала уголки губ.

«Интересно, о чем она сейчас думает?» — размышлял студент, стараясь отгадать ход ее мыслей, и не мог. После случая с ее обмороком юноша совершенно иначе стал смотреть на невесту майора, она стала для него как-то ближе, теперь он уже не чувствовал к ней неприязни, наоборот, думал с какой-то бессознательной жалостью.

— Вы, наверное, счастливый человек, — произнесла девушка.

— Я? — удивился он, чувствуя, что губы у него дрогнули точно так же, как это обычно бывало у Кристи. «Отойди от меня!» — мысленно сказал он. — А почему это вы вдруг решили, что я счастливый?

— Вы же художник, композитор! — И, по-театральному вздохнув, добавила: — У вас, наверное, интересная жизнь...

— Интересная...

«Сейчас он, наверное, думает о ней», — решила девушка, и горло ее перехватила спазма. К полковничихе она питала ненависть, и такую жгучую, что даже самой от этого больно было.

Между тем они подошли к колонии.

Это было довольно странное поселение, построенное в своеобразном стиле. Здесь жили рабочие и мелкие служащие. Домики были красивые, хотя и очень маленькие, и после больших зданий, расположенных вокруг замка, казались похожими на театральные декорации. Маленькие узкие улочки зигзагами бежали по склону горы; то тут, то там во дворе виднелись рыжеватые выходы скальных пород. Из одного узкого окна, изнутри прикрытого жалюзи, доносилась румынская речь; несколькими шагами дальше, в воротах, разговаривали две немки; у колодца с деревянными ведрами в руках смеялись венгерские девушки.

На перекрестке улиц студент остановился:

— словно все это нарисовал Брейгель-старший. Вот посмотрите-ка. — И юноша рукой показал на будто игрушечные домики, выкрашенные белой, голубой и желтой

краской, с типично фламандскими крышами. — Вы видели картины Брейгеля?

— Нет, не видела. — Девушке было приятно говорить ему правду, и она добавила: — Я мало что видела в жизни... — Ей хотелось плакать.

— Ничего, еще увидите. У меня где-то в чемодане, на дне, есть альбом репродукций Брейгеля. Когда будем в Вараде, скажите мне, я вам покажу.

Девушку охватил порыв какой-то неудержимой радости.

Не дожидаясь ответа, студент продолжал:

— Я сравнил эти домики с картинами Брейгеля, и это совсем не случайно. Когда-то давно, еще в двенадцатом столетии, здесь поселились фламандские саксы, они бежали тогда подальше от морской стихии, море часто опустошало равнину в устье Эльбы, где они тогда жили.

Свои слова юноша сопровождал стремительными жестами, он был рад, что наконец-то освободился от терзавших его мыслей. Он так и сыпал своими познаниями, не жалея при этом энергии, как это свойственно одаренным молодым людям, очень одаренным и очень молодым и потому не способным разумно расходовать свои силы.

Невеста майора, однако, не проявляла особого интереса ни к средневековой фламандской архитектуре переселившихся в Трансильванию саксов, ни к истории их поселения до и после нашествия татар, она вся была заморожена настроением юноши и нисколько не сожалела об этом.

«Сейчас он мой, только мой!» — повторяла она в душе, но ей казалось, что она бросает эти слова в лицо супруге полковника. Всем ее существом овладело злорадство. Она понимала, что этого надо стыдиться, но ей нисколько не было стыдно. Ей было очень хорошо. В такт энергичным жестам юноши она кокетливо покачивала сумкой и смеялась при этом.

Студент удивленно посмотрел на нее и вдруг тоже рассмеялся:

— Странная вы девушка.

— Почему странная?

— Трудно сказать, но странная.

— Ну а все же? — Тонкая светлая бровь ее поднялась вверх.

— Боюсь, что обижу вас, если скажу.

— Я не обижусь.

Юноша немного подумал и сказал:

— Вы живете словно напоказ. Держитесь всегда так, словно вы в витрине.

— Я же была манекенщицей. Майор нашел меня и вытащил из той среды. — Девушка сама удивилась, почему она так разоткровенничалась.

— Я этого не знал. Ваши слова многое объясняют, но не все. У манекенщицы тоже должна быть своя внутренняя жизнь. А у вас ее как будто нет. Вы всегда что-то показываете в себе, иногда очень откровенно, иногда с сильной рисовкой, но всегда одно и то же. — Юноша замолчал и с извиняющейся улыбкой посмотрел на нее. — Правда, я очень грубо выразил это?

Лицо белокурой девушки стало холодным, словно фарфоровым, однако милая и беззлобная улыбка юноши растопила ее холодность, и опять какая-то неведомая теплота захлестнула ее.

«Ты мне нужен, ты мое золото!» — кричала ее душа. Ее охватило такое чувство, что она поверила в то, что способна полюбить, полюбить по-настоящему другого человека, а не майора. Голова у нее пошла кругом, словно от вина.

— А теперь о жизни... — продолжал студент. — Вы считаете, что у меня должна быть интересная жизнь, как у какого-нибудь артиста, художника. — Взяв девушку за руку, он показал на землю: — Вот посмотрите!

Между серыми камепными плитами, которыми был выложен тротуар, суежилась масса муравьев. Он перевернул одну из плит, и муравьи забегали, засуетились, растаскивая куда-то большие белые яички.

Время было послеобеденное, и солнце щедро заливало своими лучами улицу; тень от молодых людей заполняла тротуар во всю его ширину.

— Вот тут тоже жизнь, — проговорил юноша, показывая на муравьев. — Жизнь и смерть.

— У вас повсюду философия...

Девушка сначала испугалась своих слов, но сразу же осмелела и, подняв свою красивую светловолосую голову, посмотрела студенту прямо в глаза.

Он не отвел своих глаз, не вздрогнул, а только сказал хрипло:

— Пойдемте!

— Куда?

Студент подошел к девушке и погладил ее по шелковистым мягким волосам.

— Куда? — снова спросила она. Глаза ее в этот момент были бездонно глубокими.

Юноша убрал руку.

— Куда?! — переспросил он, в тот же миг ему почудился запах другой женщины, Кристи. — О! — тихо произнес он.

«Сейчас он поцелует меня», — думала девушка и повернулась к нему лицом, но он уже не видел ее, и взгляд его был устремлен в сторону замка.

Девушку охватило такое чувство, будто ее ударили по лицу, она схватилась за ворот платья, прижав сумку к груди.

— Вам холодно? — спросил студент.

— Нет, — ответила она, хотя ей и на самом деле стало холодно. Сделав шаг в сторону, она пошла по самому краю тротуара.

Когда они миновали три переулка, девушка сказала:

— Я иду туда. — И наугад показала на какой-то дом.

Это было небольшое двухэтажное здание с маленькими окошками, прикрытыми жалюзи, и полукруглым входом. Стены дома были выкрашены в васильковый цвет, к дверям вела небольшая каменная лестница. Немного постояв перед лестницей, они молча раскланялись.

Невеста майора вошла в узкие ворота дома и прислонилась спиной к холодной васильковой стене, стараясь как можно глубже дышать. Тут было полутемно, пахло известкой, с улицы доносились удаляющиеся шаги юноши. Она посмотрела на дверь, толстую дубовую дверь коричневого цвета, в которой было вырезано небольшое смотровое окошечко, а под ним крупная кованая дверная ручка.

С улицы все еще были слышны шаги, которые все удалялись.

«Мне нужно было сказать ему. Нужно было...» — мелькнуло у нее в голове. Девушка сорвалась с места и побежала вслед за студентом.

Он в этот момент как раз дошел до угла и повернул на другую улицу, так и не оглянувшись.

Белокурая девушка машинально снова пошла к воротам дома. На верхней ступеньке лестницы она остано-

вилась, как раз напротив двери. Девушка не сразу заметила, когда открылось смотровое окошечко, но тем не менее почувствовала, что кто-то смотрит на нее острым подозрительным взглядом.

Это был старик с угловатым, выпирающим вперед подбородком на желтом лице, рассеченном мелкими, но глубокими морщинами. В отверстии смотрового окошечка лицо старика было похоже на деревянное изваяние.

— Вы кого ищете, Домну Шоару? — спросил старик тонким шепелявым голосом.

— Никого, — ответила девушка. Внутри у нее словно что-то оборвалось.

— Домна Шоара здесь уже не живет.

— Мне никого не надо.

Не попрощавшись, девушка пошла обратно.

«Какая все это глупость», — думала она по дороге, сердясь на себя за то, что так расчувствовалась. И вдруг вспомнила, как юноша держал ее голову над раковиной умывальника, чувствуя почти физически его прохладную руку и подступающую к горлу тошноту. Слезы навернулись на глаза, и она заплакала.

3

Они сидели в кабинете инженера на диване перед книжным шкафом.

— Помнишь, о чем ты меня тогда спросила? — сказал инженер, делая ударение на слове «тогда».

— Тогда?

— Да, тогда. Когда мы виделись в последний раз.

Супруга полковника вскинула вверх черные брови и тепло улыбнулась.

— Я тогда много о чем спрашивала.

— А о том одном ты помнишь?

— Не помню, не знаю, что ты имеешь в виду. Это было так давно.

— Давно? — с огорчением переспросил мужчина.

Прислонившись к спинке дивана, он смотрел в стоявший напротив застекленный книжный шкаф, заполненный разноцветными корешками книг, и видел в нем свое и Кристино отражение.

— Быстро же ты забываешь, — сказал он уже бесстрастным голосом. — А когда-нибудь и я забуду...

— Нет, — сказала женщина. Густые черные ресницы ее дрогнули. — В тот раз ты сказал: «Тебя нельзя забыть».

Она невольно вспомнила студента. «Интересно, будет ли он помнить меня через столько лет?» Ответить на этот вопрос она не могла и, посмотрев на инженера, спросила:

— Разве сейчас это так важно?

— Нет, не важно.

«Я это знаю», — мысленно ответила она и опять вспомнила студента. Потрогав перстень с крупным темным камнем, начала вертеть его вокруг пальца.

Инженер долго смотрел на длинные бескровные пальцы женщины, затем быстро взял ее руки в свои, спросил:

— Почему ты нервничаешь?

— Я не нервничаю.

— Но я же вижу.

— Ничего ты не видишь, я спокойна. Только...

— Что только?

— Погода на меня влияет. Депрессия, вызванная погодой... — Взяв свои руки из рук мужчины, она стала растирать виски. — Ты же знаешь, что погода всегда на меня действовала.

— Знаю. Но сейчас ясно и сухо, и сводка ничего не предвещает.

— А тут еще это сумасшествие, эвакуация... Во сколько будет ужин?

— В семь.

— В охотничьем зале?

— Да, в охотничьем. — И с иронией в голосе добавил: — Недурно, не так ли? Прощальный вечер перед портретами дальних родственников твоей матери, среди оленьих рогов и клыков диких кабанов.

Криста устроилась в уголке дивана и попросила:

— А пока расскажи что-нибудь.

— Что тебе рассказать?

— Что хочешь. Люблю слушать твой голос.

— Все еще любишь?

— Прошу тебя, расскажи.

— О Париже?

— Да, о Париже, это интересно, — согласилась женщина и сразу же представила себя на берегу Сены или в книжных лавочках букинистов. Ей казалось, она слышит, как стучат ее каблучки по парижской мостовой. Она

ощущала дыхание этого огромного города, видела величественное здание Notre Dame.

— На станции метро «Шатле», — начал инженер свой рассказ, — постоянно сидел один нищий, старый и слепой. Сидел он всегда на одном и том же месте, на переходе. Опершись спиной о стену, выложенную зеленой мозаичной плиткой, он играл на гитаре и что-то пел под топот ног многочисленных пассажиров. Его тоненькое треньканье на гитаре можно было слышать, только если подойти совсем близко, но голос у старика был сильный и красивый.

— Я помню его, — кивнула полковничиха. — Что же он обычно пел?

— Песни о любви, как всегда и все в Париже. Перед стариком на сером бетонном полу лежал его выдавший вид темно-синий картуз, в котором поблескивали монеты в десять и двадцать франков. Однажды, когда я вечером шел по этому переходу, в кармане у меня не оказалось мелочи, была одна-единственная монета в сто франков, которую я приберег для ужина. Я бросил ему эту монету в картуз. Старик по звону монеты безошибочно отгадал ее достоинство. «Мерси, монсеньер, мерси», — прошептал он мне, сделав интервал между куплетами, но продолжая играть на гитаре.

— Какая молодая я тогда была! — вырвалось у женщины.

— Поблагодарив меня, старик продолжал петь свои куплеты, и я слышал его сильный баритон за своей спиной. В тот же вечер я встретился перед зданием Лувра с одной студенткой, приехавшей из Венгрии изучать архитектуру, звали ее Кристина Варга. Мы вместе поужинали в небольшой таверне за ее счет, поскольку у меня в кармане не было ни гроша.

— Мы заказали рыбу. Я помню, стол был накрыт желтой скатертью в красную клетку.

— Не помню, что это была за таверна. Кажется, где-то недалеко от театра Одеон. Рядом с нами сидели какие-то негры-студенты, а может, это было совсем не там, да и негры возле нас сидели не в тот, а в другой раз. Кажется, мы больше никогда не были в этой таверне.

Полковничиха вдруг заплакала.

Инженер обнял ее, притянув к себе.

— Криста, дорогая, теперь все-все, о чем мы мечтали

тогда в Париже, может быть нашим, может принадлежать только нам двоим. Оставь своего полковника и его графиню-мать, пусть едут, куда хотят, а ты оставайся здесь, со мной.

Женщина покачала головой — это невозможно.

— Пойми же ты наконец, что весь мир рушится, разваливается, как старый корабль. Мы не должны идти на дно вместе с ним, нам нельзя навсегда потерять друг друга. Это было бы безумием.

Приподняв голову Кристы, он поцелуями осушил ее слезы.

— Пусти, нельзя!

— Не пущу. Однажды я послушался и отпустил тебя. Теперь — нет! Я хочу сделать тебя такой счастливой, какой только мужчина может сделать женщину. Я сам поговорю с твоим мужем. Что может случиться? В крайнем случае он вызовет меня на дуэль, и тогда или он меня застрелит, или я его.

— Ты не отдаешь себе отчета в том, что говоришь!

Криста вырвалась из его объятий.

Инженер вскочил.

— Отдаю, вполне отдаю! Именно ради тебя я здесь. Снимаю этот замок. Семь лет ждал этого момента. Семь лет! Неужели этого нельзя понять?

И он зашагал по комнате широкими нервными шагами. Толстый пестрый ковер заглушал его шаги, но было слышно, как под ковром поскрипывали половицы. И этот сильный скрип половиц, и энергичные шаги инженера свидетельствовали о том, какие страсти умиряет он в своей душе.

Кристина опять оказалась во власти его обаяния, но теперь это было по-другому. Не так, как раньше. Теперь он как-то по-иному притягивал ее к себе. Ей не хотелось говорить ему об этом, но в то же время она сочла бы себя бесчестной, если бы как-то не дала ему понять этого.

— Я понимаю тебя, Петер, — заговорила она. — Лучше, чем я, тебя никто не поймет.

Она испугалась, заметив, что повторила слова, которые две недели назад ей сказал студент. Говорить дальше она уже не могла и сказала еще всего два слова:

— Уже поздно...

Петер остановился перед ней:

— Боишься?

— Не боюсь, — ответила она и подняла на него взгляд. — Пойми, что теперь я ничего не боюсь. Просто уже поздно...

— Почему же поздно?

— Поздно, и все.

Высокая худощавая фигура инженера напряглась как струна, он не шевелился и не спускал глаз с Кристи.

— Студент? — вдруг спросил он.

Женщина не ответила, отведя свой взгляд в сторону.

— Понимаю, — кивнул он и, подойдя к книжному шкафу, сдвинул в сторону стекло. Проведя пальцем по корешкам книг, достал «Анну Каренину». Полистав немного, начал читать вслух:

«Да, да, вот женщина!» — думал Левин, забывшись и упорно глядя на ее красивое, подвижное лицо, которое теперь вдруг совершенно переменялось. Левин не слышал, о чем она говорила, перегнувшись к брату, но он был поражен переменой ее выражения. Прежде столь прекрасное в своем спокойствии, ее лицо вдруг выражало странное любопытство, гнев и гордость. Но это продолжалось только одну минуту».

Внезапно он с глухим стуком захлопнул книгу. Повторил последнюю фразу:

— «Но это продолжалось только одну минуту».

Поставив книгу на место, задвинул стекло. И снова это был прежний мужчина, который умеет держать себя в руках. Тонем спокойного, рассудительного человека спросил:

— Это же молодой парень! Что тебе от него нужно?

Женщина чуть было не сказала: ребенка.

— Ничего, — ответила она вслух.

— Не хочешь сказать?

— Не в этом дело, — покачала она головой. — Ничего мне от него не надо... Я его люблю. — И сразу же ей стало легче. — Не сердись на меня, пожалуйста, — попросила она.

— Я не сержусь. Я боюсь за тебя.

Мужчина стоял у окна, долго глядел на закат. Он так сцепил руки, что длинные сильные пальцы побелели.

«В этом он весь», — подумала женщина, и ей стало жаль его, она уже раскаивалась, что обидела инженера откровенностью и причинила такую острую боль.

— Я боюсь за тебя, — снова повторил он и отвернулся

от окна. — Выдумала себе любовь, последнюю, большую, в отместку за старую, поруганную, и теперь мучаешь ею и себя, и парня. Есть в этом что-то от мазохизма. Хочешь сделать невозможное и в результате наказываешь самое себя. Вся беда в том, что это не любовь, а лишь выдумка и отговорка, своеобразное алиби перед собственной совестью, ты и раньше к этому не раз прибегала. Эта любовь нужна тебе для того, чтобы жить по-старому и не нужно было ничего делать, просто чтобы как-то изменить свою жизнь.

— Нет, нет, это неправда!

— Не возражай. Это правда. Даже если ты этого и не понимаешь, скорее всего, что так оно и есть.

Криста в душе чувствовала, что Петер совершенно прав. Но ей было слишком трудно слышать эту правду, она старалась не думать о ней, иначе ее сразу охватывал ужас. Ей ничего не оставалось, как бежать от такой мысли, бежать и прятаться за женскую гордость.

— Благодарю тебя, — холодно сказала она, вставая с дивана и поправляя платье.

— Ты меня не так поняла! — в отчаянии воскликнул инженер.

— Разве это можно понять иначе?!

Он видел, как за Кристой захлопнулась дверь.

«Неужели ты этого хотел?» — спрашивал он самого себя и не мог ответить ни да, ни нет. В душе была такая пустота, что он даже не чувствовал никакой боли.

4

Постепенно тишина рассеялась, как рассеивается утренний туман в горных долинах. Часы лежали на тумбочке около кровати и громко тикали.

Они оба одновременно потянулись за часами, чтобы посмотреть, который час. Их руки коснулись друг друга, и пальцы сплелись — это было и больно, и нежно, а потом стали медленно разжиматься, но все еще касались друг друга.

— La Chatédrade, — произнесла женщина.

Студент, не открывая рта, начал потихоньку напевать мелодию.

— Что это? Такая красивая мелодия.

— Это Барток, хорал.

— Барток — и хорал? — удивилась она.

— Он сочинил его, уже находясь в Америке. Недавно его передавали по радио, какая-то заграничная станция передавала, но были сильные помехи, и звук все время куда-то уходил.

— Напой еще раз, — попросила Криста, облокотившись о подушку.

Юноша снова начал без слов напевать мелодию, на этот раз уже несколько громче. Женщина внимательно слушала его, а потом вдруг наклонилась над ним и поцеловала в губы. Студент замолчал.

— Любовный поцелуй. — И она засмеялась.

— Ты счастлива? — спросил юноша через несколько секунд.

— Это единственное, что у меня есть.

— Я бы никогда не поверил.

— Чему не поверил?

— Ты и знать-то не знала, что я существую на свете.

— Я чувствовала это всегда.

«И откуда она только берет такие слова?!» — удивился в душе юноша.

— А не поздно ли? — неожиданно спросила Криста.

Юноша до сих пор как-то совсем не думал об этом. Он стал говорить несвязными фразами, запинаясь и совсем неубедительно.

— Не говори больше, ради бога, ничего больше не говори! — тихо воскликнула женщина и закрыла ему рот рукой. — Я суеверная.

Юноша поцеловал ее длинные нервные пальцы, вдыхая аромат кожи.

— Ты обещаешь мне всегда говорить правду? — неожиданно спросила она.

— Обещаю.

— Обещаешь?

— Тебе все скажу.

— Все не надо, только одно.

— Что же именно?

— Скажешь мне, когда ты... — Она отвернулась и, поглядев на потолок, словно на собеседника, закончила: — Меня разлюбишь.

— Я тебя люблю.

— Сейчас да. Но придет время, когда ты уже не будешь меня любить.

— Ты так думаешь?

«Хорошо бы не думать об этом, — размышляла она про себя, — и чтобы мне всегда было только тридцать два года».

Студент безо всякого перехода начал объяснять:

— У большинства звезд есть свое магнитное поле, а у звезд группы А магнетизм намного сильнее, чем у других звезд. Эти звезды вдвое больше Солнца, их температура выше, чем у других планет, и вращаются они в двадцать пять раз быстрее, чем Солнце...

— Это что, лекция по астрономии? — со смехом перебила его Криста.

— Нет, просто сравнение. Предполагают, что причина звездного магнетизма заключается во вращении планеты. Следовательно, чем быстрее вращается то или иное небесное тело, тем большим магнетизмом оно обладает.

Женщина смотрела на него сбоку, сдвинув брови и полуоткрыв рот с припухшими губами.

— А потом выяснилось, что не у всех быстро вращающихся звезд магнитное поле сильное. Значит, первое предположение было неверным.

— Страшно...

— Что страшно?

— Как я тебя люблю... — Она приблизила свое лицо к его лицу и коснулась своими длинными ресницами его виска. И, прижавшись к юноше, спросила: — А твой магнетизм от чего зависит?

— Разве ты не знаешь?

— Не знаю. Если бы знала...

— Тогда бы не любила.

Часы, лежавшие на тумбочке, тикали так, что, казалось, их звук отдавался у влюбленных в голове.

— Я бы сейчас охотно выпила чего-нибудь, — сказала полковничиха.

— Чего именно прикажете подать вам, госпожа?

— Все равно. Чего-нибудь такого, от чего бы...

— Если разрешите, я сам предложу вам.

— Пожалуйста, — кивнула женщина, поняв, что юноша шутит.

— Коньяку.

— Ну вот видишь, ты даже мои мысли можешь отгадывать.

И она, сделав жест, словно в руке у нее рюмка, поставила ее юноше. Студент изобразил, как он наливает коньяк в рюмку сначала ей, потом себе, при этом он даже изобразил бульканье жидкости.

— За что выпьем, дорогой?

— За что ты хочешь, — уже серьезно ответил юноша.

«Я хочу ребенка. Ребенка от тебя!» — в душе воскликнула женщина, а вслух произнесла:

— Ладно, за что я хочу...

И в этот момент в ее памяти всплыла строчка из одного старого стихотворения. «Земля, мать родная, тебе первой признаюсь...» — начала было она про себя, но запнулась, потому что дальше забыла. Она начала нервничать.

— Знаешь, чего мне сейчас хочется? — спросил он.

— Чего?

— Поиграть на рояле. Играть только для тебя одной. Сыграть что-нибудь такое, чего я никогда никому не играл. Даже самому себе.

— Сыграй! Сыграй мне!

— Но нет рояля.

— А я?

— Ты?!

— Да, я!

Женщина рывком сбросила одеяло на пол, представ во всей своей прекрасной наготе. Ее белое тело светилось в темноте. Она была удивительно хорошо сложена.

— Ты?..

От поцелуев они захмелели.

В первых их объятиях была еще скованность, но затем все оковы спали. Женщина напряглась, как струна, и, прильнув к юноше, действительно словно превратилась в музыкальный инструмент.

— Почему тебя не было всегда?

— Ты для меня, как море, Криста!

— Почему ты появился только сейчас?!

— Ты — как море!

Юноша покрывал тело женщины поцелуями — лицо, шею, плечи.

— За что ты меня любишь? — спросила она. — Когда ты впервые увидел меня, я же тебе не понравилась. Я знаю, что это так.

— Откуда ты знаешь?

Пораженный, он даже сел на кровати.

— Я читала по твоим глазам. — Она прильнула к нему и поцеловала в глаза. И снова спросила: — Так за что же ты меня любишь?

— Ты красивая...

— Нет, нет, — покачала она головой и засмеялась. — Я не красивая, может быть, просто привлекательная. Ты и сам мне говорил. — Она пожала плечами, словно хотела сказать этим движением, как бы она хотела быть красивой, и только для него одного.

Юноша думал, что ей сказать, но не мог найти слов.

— У тебя красивые плечи, — наконец сказал он и погладил плечи женщины. В памяти невольно возникли строки из «Песни песней Соломона»: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные».

— Значит, ты меня любишь... за плечи? — Женщина привстала и посмотрела на студента. — Только за плечи?

— Не только...

— Значит, не знаешь, за что? — Голос ее стал печальным. Про себя она подумала: «А вот я знаю, за что тебя люблю».

И снова она начала было повторять про себя строки старого стихотворения, но после первой строчки опять за-была.

— А как дальше? — спросила она юношу.

— «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая? Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника», — процитировал юноша.

— Не это. А стихотворение...

— Какое стихотворение?

— «Земля, мать родная, тебе первой признаюсь...»

Студент покачал головой:

— Не знаю я такого, в первый раз слышу.

— Никогда не слышал?

— Ни разу... Часы тарахтят, как трактор, — перевел он разговор на другое. Взял часы с тумбочки и сунул их под подушку.

— Мне пора... — сказала женщина.

«Пора...» — эхом отозвалось в душе юноши.

— Ненавижу! Ненавижу! — вдруг закричала она.

— Нельзя, — начал утешать ее юноша. — Тот, кто сильно любит, должен быть добрым.

— К кому?

- Ко всем.
- И к нему?
- И к нему тоже. — И, помолчав, добавил: — А ведь он отнял тебя у меня.
- У тебя никто никогда не может меня отнять.

5

Все в доме были разбужены тревожным известием: Татока, генерал в отставке, ночью умер от кровоизлияния в мозг. Вечером он не выставил свои штиблеты за дверь в коридор, и на рассвете одна из горничных вошла за ними в комнату генерала, чтобы почистить их. Сначала она не заметила ничего особенного и уже хотела было выйти, как вдруг обратила внимание на какие-то странные хрипы. Она посмотрела на спящего генерала, правая рука его безжизненной плетью свисала с постели, правая сторона лица как-то сползла, так что морщины стали еще длиннее, рот был открыт и перекосялся на левую сторону, в темном беззубом провале рта судорожно, словно раненый зверек, в конвульсиях трепетал язык.

— Ох, боже! — прошептала горничная, и штиблеты, которые она взяла для чистки, выпали у нее из рук. Громко всхлипывая и мешая венгерские слова с румынскими, она побежала будить инженера.

Через четверть часа все обитатели замка были уже на ногах, включая даже старую графиню, и только студент, спавший в комнатке в башне, ничего не знал: толстые стены башни не пропускали шума и звуков, раздававшихся внизу. Он проснулся сам, не сразу сообразив, где он, и, конечно, даже не подозревал о том, что случилось.

В душе студента царило безмятежное спокойствие, у него было такое ощущение, словно он плыл по безбрежной тихой водяной глади, которая спокойно и плавно колыхала его тело. Он поднял руку, чтобы поправить упавшие на лоб волосы, и почувствовал запах — густой медово-сладкий запах, улавливаемый в свежем утреннем воздухе, словно нежное скрипичное солб, плывущее откуда-то издалека.

— Криста, — произнес он вполголоса и улыбнулся. Он поднес руку к носу, чтобы еще вдохнуть аромат женщины, но теперь он уже почувствовал этот особенный, дорогой ему аромат, смешанный с запахом собственного тела.

Юноша находился в том блаженном состоянии, когда обрывки сна и действительности наплывают друг на друга, как это бывает иногда в кинематографе. Ему казалось, что он видит перед собой женщину, видит ее и в одежде и обнаженной, чувствует нежное прикосновение ее кожи, прикосновение руки и всего тела.

Юноша вскочил с постели. Он чувствовал себя отлично. Утренняя свежесть взбудрила его. Он быстро умылся из фаянсового кувшина и докрасна растер тело грубым холщовым полотенцем. Делая все это, потихоньку напевал себе под нос какую-то дурацкую, первую пришедшую на ум мелодию. Надел сорочку, брюки и вышел на балкон.

Было еще рано, только что рассеялись рассветные сумерки, и из всей гаммы красок начинали брать верх зеленые и синие цвета. Между пекарней и одиноко стоящей сосной виднелась дорога, ведущая на лесопилку; он заметил небольшие группы рабочих, которые то появлялись в поле зрения, то исчезали. Юноша даже слышал звук их шагов по гравию, слышал отдельные слова. Из толстой, с закопченным отверстием трубы пекарни вился легкий дымок, распространяя щекочущий запах.

Юноша вернулся в комнату и потянулся.

Врывавшийся с трех сторон утренний свет создавал какое-то особенное, чудесное настроение. Краски были густыми, стены в комнате казались не настоящими, как не настоящей казалась и мебель. Весь мир вокруг казался сказочным, и все же он чувствовал, что чего-то не хватает.

— Дорогая моя! — воскликнул юноша; подойдя к столу, вырвал из потной тетради лист бумаги и начал писать.

«Дорогая моя, это правда, что ты любишь меня? Мне очень-очень нужно, чтобы ты любила меня! Я не могу без тебя. Без тебя все во мне болит, болит каждая частичка тела, как у тяжело больного человека. Если ты будешь меня любить, я могу что-то создать, что-то очень большое (вот видишь, какой я задавала, не так ли?), если нет — тогда конец всему, жизнь потеряет всякий смысл. Ведь это же так попятно, да? Пойми меня, пойми и люби! Очень люби! Я хочу тебя! Как никогда никого не хотел (только сейчас я понял, что до тебя, соб-

ственно, и не был никогда по-настоящему влюблен). Мне нужна не только ты, но и все твои мысли, все твои слова. Мне нужно говорить с тобой, нужно, чтобы ты слушала меня, чтобы я тебя слушал.

Вчера под вечер я прошелся по парку с невестой майора. Она что-то сказала мне, от чего я засмеялся, и тогда губы мои сделали такое движение, какое обычно делают твои (они как-то чуть-чуть опустились вниз, влево). И выражение лица у меня стало точно такое же, как у тебя (только не такое красивое). На какое-то мгновение ты завладела всем моим существом. Это было великолепное и жуткое ощущение. Оказывается, мы не в силах владеть собой, когда любим. Мы, конечно, можем попытаться это сделать, но не можем не смеяться так, как смеется она, против этого мы бессильны и даже, закрыв глаза, явственно видим ее глаза. Твои глаза, тебя, моя дорогая, тебя, мой черный ангел!»

Вместо подписи он набросал несколько потных знаков из своей композиции, затем сложил лист в несколько раз так, что он стал совсем маленьким, и сунул в кармашек для часов.

В холле царил тревога, все о чем-то говорили, однако студент был настолько погружен в собственные чувства и мысли, что ничего странного не заметил. Глазами он искал супругу полковника, которая в этот момент разливала чай на столе перед окном. Юноша по движениям женщины определил, что она заметила его, хотя и не смотрела в его сторону. Студент безо всякой осторожности подошел к ней, поздоровался громко, а затем тихо шепнул:

— Я тебя очень люблю.

— Я тоже.

— Я написал тебе письмо.

— Дядюшка Татока скончался от кровоизлияния, — громко сказала полковничиха.

Рука студента, опустившаяся в карман за письмом, замерла на полпути. Он изумленно уставился на женщину и, словно не веря ушам, закачал головой.

— Это правда, — проговорил стоявший за спиной юноши инженер.

Студент испуганно повернулся к нему, но ничего не сказал.

Инженер улыбнулся, но на этот раз безо всякой насмешки, скорее, с горечью, и философски заметил:

— Для людей искусства любое событие, любой эпизод — это переживание.

Вдруг он каким-то легким незаметным жестом положил руку на плечо юноши, на мгновение со страшной силой сжал его и, отпустив, отошел. Подойдя к старой графине, он наклонился к ней:

— Будьте спокойны, милостивая госпожа. Мы побеспокоимся о дядюшке Татоке. Разумеется, до тех пор, пока он будет в этом нуждаться.

— Вы, Петер, большой насмешник, — проговорила графиня, придавая своему густо напудренному лицу строгое выражение, хотя выражения злости или недовольства на ее лице не было. Просто она хотела спать; она плохо спала на чужой кровати, и только.

— Чай готов, — сказала полковничиха. — Лацика, идите, — произнесла она уже тише, — садитесь вот сюда, рядом со мной.

Юноша сел, но все еще не полностью оправился от смущения. Криста налила ему чашку. Она стояла так, что бедром чуть-чуть касалась плеча юноши, и он чувствовал каждое малейшее ее движение.

«Только не сейчас!» — мысленно приказал себе юноша, а сам невольно прикоснулся щекой к обнаженному локтю женщины. Чайник мелко задрожал в ее руке. Она спросила:

— Вы любите крепкий чай?

— Да. Очень крепкий.

— Тогда я добавлю заварки, — сказала она.

Воспользовавшись моментом, юноша вынул из кармана сложенное в несколько раз письмо и, положив его на стол, подвинул под руку полковничихи. Делая это, он наклонился так, что почти коснулся губами нежного изгиба ее локтя. Он вновь почувствовал ее аромат. И в тот же миг весь мир для него вновь засверкал яркими красками.

В холл вошел полковник.

— Сегодня хорошая погода, Лаци, — сказал он и сел на скамью, которая жалобно заскрипела под тяжестью его тела.

— Хорошая, — кивнул студент.

— Воздух такой, что не надышишься. — Полковник улыбнулся, блеснув сильными зубами.

Все стали усаживаться за длинный дубовый стол. Было немного тесновато, но все уселись.

— Господин майор, — заговорил инженер, садясь рядом с офицером, — у вас сегодня какой-то встревоженный вид. Уж нет ли у вас какого-нибудь недоброго известия для нас?

— Нет.

— А где сейчас находятся танки, обещанные вами пятьдесят два «тигра»?

— За это время они наверняка покинули район Варада.

— Превосходно. В таком случае, может быть, нет необходимости спешить? Дождитесь их здесь.

— Нам необходимо ехать, необходимо! — скороговоркой, нервно выпалил майор. — Нам как можно скорее нужно быть в Вараде, в штабе дивизии.

— Вы не уверены в том, что контрнаступление увенчается успехом? — без издевки в голосе спросил инженер.

Стоило взглянуть на его высокий бледный лоб, на его черные, глубоко посаженные глаза под нахмуренными густыми бровями и острый орлиный нос, похожий на нос Люцифера, и сразу же становилось как-то не по себе, становилось страшно.

Майор ничего не ответил на заданный ему вопрос и сам обратился к полковнику со словами:

— Разумеется, Акош, если хочешь, можешь остаться с дамами здесь, нет никакого смысла понапрасну утомлять их. Через несколько дней начнется наступление, и тогда...

— А если не начнется? — спросил инженер.

— Начнется, — ответил майор, но в глаза инженеру посмотреть не осмелился.

Полковник выпил свой чай большими медленными глотками и лишь после этого ответил:

— Ты забыл о мостах.

— Это действительно проблема. Именно поэтому и нужно как можно скорее начать контрнаступление на широком фронте. В настоящее время немцы здесь имеют превосходство в авиации, так что англосаксы вряд ли осмелятся бомбить мосты, уж слишком мелкие это для них цели.

— Да, — закивал полковник, жестом показывая жене, чтобы ему еще налили чаю. — Погода сейчас хорошая, — проговорил он, — так что поедem и мы.

Жена полковника поднялась.

— Извините, — сказала она студенту и протянула мужу чашку с чаем, коснувшись при этом локтем волос юноши.

Белокурая девушка сидела за столом напротив инженера. Ела она изящно, но довольно быстро. Посмотрев на инженера, спросила:

— А вы не поедете с нами? Теперь у нас есть одно свободное место в машине.

— Место старого генерала?

— Да.

Девушка наклонилась вперед и улыбнулась инженеру, посмотрев прямо в глаза.

— Оно не для меня, — ответил инженер. И, отпив из чашки несколько глотков, повернулся к старой графине: — И вам не жаль, милостивая госпожа, бросать здесь...

— Чего не жаль? — посмотрела та на инженера, не переставая жевать.

— Имения, милостивая госпожа.

— Глупый вопрос.

— Вопрос не глупый, милостивая госпожа. Разрешите напомнить вам один мой старый совет.

— Это чтобы я разбила землю на мелкие участки?

— Да, милостивая госпожа, и еще чтобы вырученные от продажи земли деньги вложить в промышленные предприятия, например строительство лесопилки, мебельной фабрики, винокуренного завода.

— С собой я не смогу увезти лесопилку; ее в багаж не положишь.

— Это верно, милостивая госпожа, однако завод — это не просто завод, но в то же время и капитал, положенный, например, в какой-нибудь швейцарский банк.

— Не каждый может так заглядывать в будущее, как вы, — перебил инженера полковник.

— В будущее и я не могу заглянуть. Я просто вижу прошлое, вижу то, что следовало бы раньше сделать. Вот теперь, на пороге второго полувека двадцатого столетия, мы практически оказались с пустыми руками; та крохотная промышленность, которая у нас была, уничтожена войной.

— Ну вот видите, — заговорила графиня. — А земля

остается землей всегда — как до войны, так и после... — Она положила свою морщинистую руку на стол. — Пока у нас есть имение, существуем и мы сами. Я не стану делить землю на части и ни пяди своей земли не отдам крестьянам.

Студент не удержался, чтобы не вмешаться в этот разговор.

— Сейчас это совершенно излишне, графиня. Завтра здесь будут русские войска, а послезавтра начнется раздел земли.

Сказав это, он взял кусок хлеба, намазанный маслом, который ему подали полковничиха, и с аппетитом начал есть, откусывая большие куски.

— Вы так сильно ждете прихода русских войск? — спросил майор.

— Точно так же, как вы ждете появления немецких танков.

В холле воцарилась напряженная тишина, никто не произнес ни слова до самого конца завтрака.

Когда все расходились, инженер удержал полковничиху.

— Поосторожней с ним, не сломай и его жизнь.

Женщина вздрогнула и металлическим голосом спросила:

— А чью жизнь я еще сломала?

Мужчина грустно покачал головой.

— Эх, Криста, Криста.

Он нагнул голову и поцеловал полковничиху руку. Сначала он сделал это по-светски, чуть-чуть прикоснувшись губами к руке, а затем нежно повернул руку ладонью кверху и поцеловал ее.

Женщина пожалела о своих словах и хотела было загладить свою вину, но было уже поздно. Инженер прощался с Магдой.

— Ну, прощай, пташка. Постарайся не забыть меня и как-нибудь расскажи обо мне своему сыну. Ты была единственным человеком, который не обижал меня никогда. — Он взял в свои длинные узкие ладони лицо молодой женщины и спросил: — Правда? Ну скажи, что правда.

Магда расплакалась, ухватившись за него руками.

— Я не хочу уезжать. Хочу остаться здесь. Боюсь... Не хочу...

Полковничиха увела сестру к автомобилю и усадила ее рядом с собой на заднем сиденье.

Студент уходил последним. Молча они переглянулись с инженером, затем пожали друг другу руки, но так ничего и не сказали.

Юноша сбегал вниз по лестнице. Дойдя до машины, оглянулся. Инженер стоял в открытых дверях замка. Легкий ветерок растрепал его гладко зачесанные назад седующие волосы, и одна прядь упала на висок. От этого все его лицо как-то резко изменилось, в нем уже не было ничего мефистофельского, это было просто лицо немолодого человека. Студенту очень хотелось подбежать к нему, обнять, но он не сделал этого, а лишь поправил велосипед, привязанный на крыше машины, и сел рядом с полковником.

6

В первой маленькой машине ехал майор, полковник — во второй, держась от первой машины на таком расстоянии, чтобы пыль и выхлопные газы не несло на него. Все были рады, что теперь не пужно возиться со старым генералом, правда, вслух об этом никто не обмолвился, более того, все старались выразить сожаление по поводу случившегося. Генерал всем до чертиков падоел своим постоянным ворчанием и разговорами о зубных протезах. В машине стало сразу свободнее, особенно свободно чувствовала себя старая графиня, ехавшая на заднем сиденье; а на переднем сидели майор и его невеста. Графиня прилегла на сиденье, желая отдохнуть после беспокойной ночи.

Майор вел машину лучше полковника, да и сам маленький автомобиль был более подвижным и юрким, чем степенный «вандерер», который они оставили далеко позади. Делалось это не без определенной цели. Майор хотел попасть в Варад раньше полковника, чтобы немедленно выложить в штабе дивизии свой план действий. В такое смутное время появление энергичного человека, прибывшего непосредственно из-за линии фронта, всегда производит сильное впечатление. Майор рассчитывал, что, пока подъедет полковник, в штабе уже будет готов приказ на наступление.

— Думаешь, я не знаю, зачем полковник тащит с собой этого студента? — спросил майор у невесты, не обра-

щая никакого внимания на то, что его может услышать дремавшая на заднем сиденье графиня.

«А для чего я сижу рядом с тобой?» — мысленно спросила девушка.

— Передо мной можно было бы и не играть, напрасный труд, — продолжал майор. — Хочет заручиться протекцией русских, если иначе нельзя, то даже жертвуя телом собственной жены. Настоящий венгерский магнат. Глупый. Он забыл, что Фау-2 способны обстреливать не только Лондон, но и Москву, более того, они в состоянии сровнять с землей даже Нью-Йорк.

— Лондон и тот не сровняли.

— Что с тобой, дорогая?

— Я превосходно себя чувствую.

— Уж не задурманил ли и твою голову этот студент?

— Этот предсказатель?! — язвительно улыбнулась девушка.

Она понимала, что несправедлива к нему, однако чувство оскорбленного женского самолюбия было в ней гораздо сильнее чего бы то ни было, и именно потому ей было приятно произнести эти два слова. Вечером, перед сном, она, правда, поплакала из-за юноши, но, выпавшись как следует за ночь, утром проснулась как ни в чем не бывало; вчерашний вечер казался ей таким далеким, словно его и не было вовсе, а все это она сама выдумала.

Когда взошло солнце, движение на шоссе стало более оживленным. По нему мчались грузовые и легковые автомобили, но больше всего было различных повозок, бричек, каких-то обшарпанных драндулетов, и все они ехали в западном направлении, в одиночку и небольшими группами, спеша и обгоняя друг друга. Это было настоящее паническое бегство. Временами их обгоняли то венгерские или немецкие мотоциклисты, то пестро раскрашенные штабные легковушки, поднимавшие тучи пыли.

Неуклюжий «вандерер» ехал медленно, плетясь за какой-нибудь повозкой или машиной. Однако полковник не испытывал беспокойства. Он был уверен в том, что майор на несколько часов раньше приедет в Варад, а там в штабе они и встретятся. Он не смел признаться самому себе в том, что тайком даже радовался этому. У него, разумеется, было свое собственное мнение о сложившемся положении, а после разговора с инженером это мнение окрепло, однако в штабе полковник ни в коем случае не

посмел бы высказать его; по сравнению с энергичным инженером он был слаб и нерешителен, и потому было лучше всего опоздать, приехать в штаб тогда, когда другие уже все решат, взяв тем самым на себя всю ответственность за боевые действия дивизии.

Студент равнодушно смотрел вперед на дорогу. Сейчас все ему казалось совершенно иным, чем утром, от хорошего настроения, с которым он проснулся, не осталось и следа.

— Будьте добры, Ладика, — подалась вперед всем телом супруга полковника и облокотилась на спинку сиденья так, что коснулась пальцами подбородка юноши. Сумочка ее была открыта, а в ней лежало его письмо, которое она еще раз перечитывала.

— Что прикажете? — Юноша обернулся назад. Его ослепил жгучий взгляд женщины, в нос ударил сладкий аромат, но сейчас он был в таком настроении, что не поддался его действию.

— Подайте мне, пожалуйста, зажигалку, — улынулась полковничиха; в левой руке она держала тоненькую сигарету.

Юноша щелкнул зажигалкой и, подождав, пока пламя успокоится, молча протянул ее назад.

— Спасибо, Ладика, — поблагодарила женщина, с удовольствием произнеся имя юноши. Когда она возвращала зажигалку, то опять нежно коснулась рукой его шеи.

— Пожалуйста, — с трудом выговорил студент.

Он почувствовал такой стыд, что ненавидел в этот момент самого себя. Он не понимал, что явилось истинной причиной такого чувства: то ли известие о кровоизлиянии у старого генерала, то ли что-то другое, но внутри у него все переворачивалось, и он со стыдом думал о том, как глупо вел себя утром за столом.

«Грязный ты тип!» — говорил ему какой-то внутренний голос. Да и физически он тоже почему-то чувствовал себя нечистым.

— Все-таки нехороший человек этот майор, — заговорила Магда.

— Что ты имеешь в виду? — спросил полковник.

— Прошлый раз он сидел впереди меня, у него такая некрасивая шея с красными точками, что я подумала — приличным человеком он быть не может.

— Надеюсь, ты не очень долго смотрела на его шею, — засмеялся полковник.

Вдруг он запервничал, заерзал — ему в голову пришла мысль, что майор, приехав раньше его в штаб дивизии, может еще и здорово навредить ему.

Впереди машины ехала большая крытая карета с пятнами облезшей черной краски; задние колеса колымаги так расшатались, что, казалось, вот-вот соскочат со своей оси. Полковник обогнал карету, и машина, шурша шинами, покатила дальше по склону горы.

— Это ты серьезно говорил сегодня за завтраком? — спросил полковник студента.

— В отношении раздела земли?

— Да.

— По-моему, это логично.

— А если нашу территорию оккупируют английские войска? — Он начал насвистывать какую-то арию.

— Это после перехода-то румын на сторону русских?

Полковник перестал свистеть, и хотя он ничего не ответил студенту, однако в душе согласился с тем, что тот был абсолютно прав.

С момента бегства полковник находился в странном, каком-то ложном положении по отношению к студенту. В душе у него все больше и больше крепла уверенность, что в конце концов студент и на самом деле окажется ему очень полезным и нужным, и в то же самое время переносить его присутствие становилось все труднее и труднее; он уже жалел, что взял его с собой. Правда, он не признавался себе в этом, однако это еще не совсем осознанное чувство уже где-то бродило в его душе, не давая ему покоя.

До обеда им так и не удалось догнать первую машину, в которой ехал майор. Полковник уже начал нервничать и потихоньку па чем свет ругал майора...

А между тем около полудня машина майора догнала колонну русских телег. Два немецких охранника тотчас же спросили у майора документы и только после этого разрешили ехать дальше. Но ехать с прежней скоростью было уже невозможно, так как постоянно приходилось обгонять то одну, то другую телегу, а это очень утомляло. Вскоре выехали к мосту.

Мост этот, по-видимому, не так давно бомбили, он несколько пострадал, и проехать по нему можно было

только по левой части. Но там между сколоченных на скорую руку перил застряла телега. Неподкованные степные лошади что есть силы тащили ее, но ноги их, как и колеса телеги, только скользили по настилу. Следующая телега, вслед за которой ехала машина майора, уже въехала было на мост, но, проехав всего несколько метров, тоже почему-то остановилась. На задней оси телеги, словно маятник старых часов, раскачивалось ржавое ведро.

Майор посигналил телеге, однако та все равно не сдвинулась с места.

— Ну, что там?! — закричал майор сначала по-вепгерски, а затем по-немецки. И, сжимая резиновую грушу автомобильного сигнала своей костлявой, с рыжими волосами рукой, начал гудеть.

— Я оглохну от этого гудения, — сказала белокурая девушка и обеими руками зажала уши.

Однако майор не обратил на ее слова внимания; покусывая нижнюю губу, он продолжал сигналить.

От шума проснулась старая графиня на заднем сиденье.

— Ужасный народ, — проговорила она. — Настоящее стадо.

Повозка чуть-чуть продвинулась вперед, но тут же начала сдавать назад.

Майор не выдержал и, выжав сцепление, дал газ.

Машину рвануло вперед, и она врезалась в повозку.

— Стой! — закричала девушка майору и, вцепившись в его руку, пыталась оторвать ее от баранки.

Телега медленно наклонилась набок, закрепились перила, и в пропасть полетели сидевшие там люди. Речка в этом месте была неширокой, так как ее сжимали две отвесные скалы.

— Отстань, — прошипел майор невесте и локтем ткнул ее в живот, отстраняя от себя.

В этот самый момент лошади рванули облегченную телегу, и она начала выравниваться, но передние колеса машины уже попали под нее. Ведро, висевшее на задней оси телеги, со скрежетом шмякнулось о радиатор. Перед машины сразу как-то осел, мотор зачихал и, сделав несколько оборотов, заглох совсем.

Майор выскочил из машины и вне себя бросился к телеге. Ногами он пинал колеса, кулаками бил по доскам

кузова. Русские, ехавшие па соседних подводах, слезли на землю. Здесь были старики, старухи, дети. Они обступили телегу и молча смотрели то на обезумевшего от гнева майора, то в пропасть, которая только что поглотила их соотечественников. Немецких охранников поблизости не было.

Вскоре к мосту подъехал «вандерер», громко сигналиая; кольцо людей, стоявших на его пути, разомкнулось. Полковник быстро вылез из машины и прошел вперед, по понимая, что тут могло произойти. Как только он прошел, людское кольцо снова сомкнулось. И очень плотно. А люди все подходили и подходили.

Беспокойно оглядевшись, полковник крикнул майору: — Прекратить! — и начал расстегивать кобуру.

Студент тоже вылез из машины и, подбежав к майору, схватил его за плечо, стараясь оторвать от телеги.

— Опомнитесь! Вы же человек!.. — закричал юноша.

Вместо ответа майор кулаком ударил студента прямо в лицо. Юноша услышал, как хрустнули его очки под ударом кулака, и мгновенно весь мир вдруг словно разломился надвое: одна половина была чистой-чистой, а другая — как в тумане. Чтобы не упасть, юноша схватился за край телеги.

Из толпы кто-то произнес несколько слов по-русски. И вслед за первым заговорили другие. Затем вдруг замолчали, подошли ближе.

Полковник наконец выхватил пистолет из кобуры и, не целясь, выстрелил в майора. Рыжеволосый офицер успел сделать три шага: один — вперед, два — в сторону и вниз головой полетел в реку.

Жена полковника, не выходявшая до этого из автомобиля, заплакала навзрыд и хотела было выскочить из машины и бежать к юноше. Но тут ее схватила страшная судорога, казалось, чья-то чужая безжалостная рука больно ударила ее в живот, а затем с силой сжала в своем кулаке все внутри.

— Нет, нет, — бормотала она похолодевшими губами, хотя сама чувствовала, что изменить уже ничего невозможно.

К мосту подскакал один из немецких конвойных. Люди расступились, давая ему дорогу. Полковник небрежно козырнул немцу и начал долго и путано объяснять, что здесь налицо случай явного саботажа и ему

пришлось застрелить одного венгерского офицера. Конвойный — высокий белокурый лейтенант, видимо из людей неразговорчивых, — несколько раз поймающе кивнул, показывая, что он вовсе не намерен долго возиться с этим делом. Коротко он приказал русской семье пересестись на пустую телегу, а поврежденный автомобиль сбросить в реку, чтобы не загромождал дорогу и не мешал проехать другим. Свой немногословный приказ он сопровождал энергичными жестами.

Белокурую невесту майора, находившуюся в обмороке, на руках вынесли из машины. Круглое кукольное лицо девушки было белым. Старая графиня сама вылезла из машины и, опираясь на трость с серебряным набалдашником, медленно поплелась к «вандереру». Когда в машине никого не осталось, несколько стариков и молодых русских женщин подошли к ней и стали толкать с моста в реку.

— Раз, два — взяли! — командовал кто-то из русских.

Автомобиль накренился и, перевернувшись набок, рухнул вниз. Сначала слышно было, как он с грохотом ударился о скалу, а затем плюхнулся в воду.

Магда, вытирая платком кровь с лица студента, уголком носового платка осторожно удаляла из раны мелкие кусочки стекла, промывала ее одеколоном, дуя, чтобы не так сильно щипало. Она была на удивление спокойна, почти безмятежна.

— Одним идиотом стало меньше на свете, — сказал подошедший к машине полковник. — Как он мог так ударить вас? — Покачивая головой, он покровительственно улыбнулся юноше, словно отныне они уже окончательно были связаны друг с другом.

Студент ничего не ответил полковнику, а Магду поблагодарил за ее заботы. Когда же мимо машины поехали телеги, он сказал:

— Дальше я с вами не поеду.

— Почему? — изумился полковник. Каких-нибудь полчаса назад он охотно освободился бы от студента, а теперь у него такого желания уже не было.

— У нас же нет свободного места, сынок, — проговорила из автомобиля старая графиня.

— Ничего, как-нибудь потеснимся, мама.

Но юноша настаивал на своем.

— Я остаюсь. — И он начал снимать велосипед с багажника машины.

— Тогда и я дальше не поеду,— сказала Магда и села на камень сбоку от дороги.

— Тебе нужно ехать.

— Без тебя я никуда не поеду.

— Я поеду на велосипеде.

— Тогда я сяду к тебе на багажник.

— Это невозможно.

— Тогда пойду пешком.

Полковничиха с закрытыми глазами сидела в машине, она что-то хотела сказать, но у нее не было сил даже для того, чтобы открыть рот.

— Вы что, потеряли здравый смысл?! — закричал на Магду и юношу полковник.

— Я только сейчас обрела его,— ответила молодая женщина.

— У нас же нет места, сынок...

Полковник сделал вид, что не расслышал слов матери. Схватив юношу за руку, он крикнул:

— Вы что, хотите, чтобы у нее был выкидыш?!

Студент повернулся к нему лицом. Он подумал о том, что полковник сейчас похож на актера, на которого вдруг обвалились кулисы, а он, несмотря на это, продолжает играть свою роль.

«Ваша реплика никуда не годится»,— хотел было сказать ему юноша, но не сказал и повернулся к Магде:

— Садись в машину, будь добра. Я поеду позади машины на своем велосипеде.

7

На рассвете «вандерер» вплотную пристроился к колесам телег с русскими, как бы замыкая ее. Дорога, извиваясь, словно огромная змея, медленно поднималась по краю горы. Лошади с каждой сотней метров шли все медленнее и медленнее, понутив головы, а стук подков о землю становился все менее и менее ритмичным. С правой стороны от дороги шел пологий, освещенный ярким солнцем склон горы, на котором местами виднелись зеленые карстовые воронки, зигзагообразные темные расселины и хаотичное нагромождение скал, а еще выше отвесная скала с рыжими слоями земляных пород. С левой стороны дороги тянулось бетонное ограждение, побеленное известью, за которым по дну пропасти бежала шумная горная река.

В автомобиле с трудом разместились пятеро. За рулем сам полковник, рядом с ним — старая графиня. На заднем сиденье сидели трое: слева, за супругом, полковничиха, справа — Магда, а посредине между ними, чуть подавшись вперед, — белокурая девушка. Все пятеро молчали. Жепщинам, сидевшим на заднем сиденье, казалось, что стоит им только заговорить, как они сразу же рыдаются.

Вести машину полковнику было нетрудно, так как повороты были не очень крутыми, а вот переходить с одной скорости на другую приходилось довольно часто, а иногда случалось даже давать задний ход. В такие моменты полковник грубо, по-солдатски ругался, но ни жена, ни мать не останавливали его.

Лицо Кристи было какого-то сероватого цвета, веки закрытых глаз темные, словно у больного, черные волосы беспорядочно разметались. Сидела она неподвижно, словно восковая фигура из паноптикума, длинными бескровными пальцами придерживая на коленях сумочку.

«Вот ты едешь всего в нескольких метрах позади меня, — мысленно обращалась она к юноше, — а у меня такое ощущение, как будто ты сейчас где-то далеко-далеко, как будто я тебя никогда и не знала, а просто ты мне приснился во сне. Я боюсь остаться одна, боюсь собственных мыслей, да и вообще я сейчас многого боюсь. Все это оттого, что я старею. Если я вижу что-нибудь красивое, я уже не могу радоваться, а просто плачу. Отчего это? Отчего бы ни было, но это действительно так. Говорю я тебе все это вовсе не затем, чтобы ты жалел и утешал меня, нет, это было бы хуже всего».

Студент ехал на велосипеде позади машины, привязав к заднему бамперу веревку, другой конец которой он держал в руке. За ним ехала телега, лошади дышали ему теплом в спину. Сначала это очень раздражало его, но вскоре он привык к этому. Он был рад, что не ехал в машине, — так он чувствовал себя свободнее. Порой он даже забавлялся: то подтягивал велосипед близко к машине, так что его переднее колесо касалось никелированного, со следами ржавых пятен бампера, то распускал веревку, которой был привязан к автомобилю, на всю длину, только нужно было следить, чтобы оглобля ехавшей за ним телеги не ударила его в спину.

Солнце освещало противоположный склон горы, поросший хвойным лесом. Дорога лежала в раскаленной пыльной тени, так что через пять телег и люди, и лошади, да и сами телеги расплывались какими-то рыхлыми, голубоватыми пятнами. Студент ехал с непокрытой головой, пряди волос прилипли к мокрому лбу, ветерок овеивал прохладой его лицо.

«Природа прямо-таки гальванизирует человека», — подумал он.

В машине же стояла неимоверная духота, мотор, работавший на больших оборотах, еще больше нагревал воздух. Резиновый коврик, лежавший под погами, стал совсем мягким. Воздух в машине был какой-то тяжелый и сладковатый от испарений ехавших в ней пяти человек, четверо из которых были женщины, душившиеся каждая своими духами.

«Наверное, мне надо было устоять... — мысленно спова обратилась полковничиха к юноше. — Быть тебе другом, матерью. Но я не смогла. А ведь я была бы рада тому, что просто знакома с тобой, что ты находишься рядом со мной. Но теперь это уже невозможно, поздно. Слишком много во мне самолюбия, и я не смогу перепести краха... Я всегда добивалась любви, стремилась к ней, но сама любила мало; по-настоящему я любила, быть может, только один раз в жизни, тебя, и потому теперь так страдаю».

Белокурая девушка видела лицо полковничихи в зеркальце машины. Она внимательно рассматривала ее, как это умеют делать только женщины. Мягкий овал лица, мраморный лоб, виски с сеткой голубых жилок, мелкая паутинка морщинок, разбегавшихся от уголков глаз, и начинающая стареть кожа на шее. Впервые у девушки не было ни тени ненависти или неприязни к полковничихе. Ей было жаль Крису, по-настоящему жаль. Она никак не могла понять, почему та уцепилась за этого студента — ведь у нее же есть инженер, который ее так любит.

Полковник до отказа опустил боковое стекло, однако духота от этого несколько не уменьшилась. Он вспомнил, как однажды в годы первой мировой войны точно такой же воздух донесся к ним на позицию, когда ветер подул со стороны итальянских окопов. Сначала все думали, что это вонь от разлагавшихся трупов. Вскоре

всех начало тошнить. Позже они узнали, что это немцы пустили газы на противника, но внезапно переменившийся ветер понес их на венгерские позиции. Тогда задохнулся почти целый батальон. Полковник не отравился, так как был в то время на верху горы, на артиллерийском наблюдательном пункте. С тех пор он ни разу не чувствовал такого запаха и даже забыл про тот случай.

Подняв голову и открыв глаза, полковничиха встретила в зеркальце с внимательно изучающим ее взглядом белокурой девушки. Она не отвела глаз и долго, не мигая, глядела на девушку; дождавшись, когда та заморгала, отвернулась и снова закрыла глаза.

«Зачем я, собственно, живу?! — спросила она мысленно у юноши. — Одурачивающе гудит мотор, жарко, эта девушка наблюдает за мной, а мне вовсе не хочется жить, но и умереть я тоже боюсь. Заснуть бы и никогда больше не просыпаться — вот было бы хорошо! Забеременеть я и то уже не могу, а это и есть конец всему. Я завидую сидящей рядом со мной девушке с кукольным лицом, завидую ее легкомыслию, ее молодости. Мне хотелось бы еще раз стать молодой и молодой умереть. Ты понял? Не понял, да тебе и не следует этого понимать».

Студент относился к людям, которые легко переносят любые трудности, умеют внешне как-то приспособливаться к новой для них обстановке, хотя в то же время он жил в каком-то своем собственном мире, в который никому не было доступа. Еще вчера он горевал, что разбились его очки, а сегодня уже мог обходиться без них, ему даже казалось, что так лучше, словно вместе с потерей очков он освободился и от всего того, от чего давно хотел освободиться. Неприятное ощущение появлялось у него только тогда, когда он щурился: ранки около левого глаза стягивались и причиняли боль.

«Люди искусства всегда живут в мире своих впечатлений», — вспомнил он по-философски мудрое и в то же время полное горечи изречение инженера. Прошел всего лишь один день, а он теперь совершенно иначе смотрит на этого странного человека, чем тогда, когда находился под первым впечатлением. Тогда он видел в нем что-то мефистофельское, какой-то разрушающий дух, человека, который все в мире видит в превратном, фальшивом свете; сейчас это был уже близкий ему по духу человек.

«И почему я не решился обнять его на прощание?» — подумал юноша. Легкого пастроения как не бывало. Он привязал веревку за руль и так ехал позади автомобиля. Потом начал что-то насвистывать, тихо, с перерывами, в такт со скрипом повозки, которую за его спиной тащили две уставшие лошади.

Магда положила руки на свой большой живот, чтобы лучше чувствовать каждое, даже самое маленькое движение ребенка. Ее худые длинные пальцы разглаживали складки на юбке; она даже попробовала на ощупь определить, где у ее ребенка головка, где ручка или ножка. Временами он делал такие движения, что она не могла удержаться от улыбки. Как было бы хорошо шепнуть об этом кому-нибудь! Но кому? Она обернулась, чтобы увидеть студента, но заднее окно было завалено различными коробками и свертками, и она ничего не увидела.

— Тебе плохо? — спросила ее полковничиха. Это были ее первые слова с того момента, как они тронулись в путь после инцидента у моста.

— А вдруг и часть Кальмана тоже движется к Варадугу? — в свою очередь спросила Магда, не ответив на вопрос Кресты.

Полковничиха ничего не сказала, более того, она, казалось, забыла о том, что спрашивала. Она все время мысленно разговаривала с юношей.

«Когда я навсегда загубила свою жизнь, мне было столько же лет, сколько и тебе. Не хотела бы я, чтобы спустя двенадцать лет ты переживал то, что переживаю сейчас я, не хотела бы я, чтобы ты проклинал меня за то, что я вот так к тебе привязалась. Я не хочу губить твою жизнь, не хочу, чтобы инженер снова оказался прав. Иди куда хочешь, живи своей жизнью и, пожалуйста, не жалея меня! Именно сейчас я говорю тебе истинную правду, а не тогда, когда хотела обладать тобой; тогда я была эгоистичной, и мне правилась твоя молодость».

Духота и запахи стали невыносимыми. Полковник наклонился в сторону матери, чтобы открыть окно и с ее стороны.

— Сквозняк будет, сынок.

— Да, конечно, мама. — Он отвернулся и тихо выругался.

Старая графиня побрызгала духами, что-то забормо-

тала. Возможно, она молилась, а может, просто по привычке перебирала губами.

Белокурая девушка больше уже не смотрела в зеркальце, она смотрела вперед на ветровое стекло в промежуток между полковником и старой графиней. Впереди машины ехала подвода, нагруженная узлами, на которых сидели люди. Пустое помятое ведро раскачивалось на задней оси, ударяясь время от времени то об одно, то о другое колесо, и этот резкий и неприятный звук был слышен сквозь шум мотора и скрип телеги.

«Я не хочу ни о чем вспоминать, я не хочу вспоминать», — упрямо твердила про себя девушка. Руки и ноги у нее сразу же сделались какими-то деревянными, ее бросило в жар; даже с открытыми глазами она ясно видела весь вчерашний ужас, каждую деталь в отдельности.

Внезапно дорога сделала резкий поворот направо, солнце ударило прямо в глаза. Полковник опустил темно-зеленый щиток из целлулоида и смачно выругался. Повернула вправо и река. На противоположном берегу в скале видна была большая полуобвалившаяся пещера. А совсем внизу, где росли ракиты, бушевала вода, до боли слепившая глаза.

Студент поймал себя на том, что снова стал что-то насвистывать. Невольно вспомнил слова инженера, его лицо, когда он спорил с графиней о строительстве промышленных предприятий. Он стал размышлять над концепцией инженера и все больше признавал ее правильность.

«Жаль этого человека... — подумал студент. — Почему ты его не любила?!»

И сразу же он почувствовал неприязнь к Кристе, но стоило ему подумать о том, что она действительно любила бы не его, а инженера, как его охватила ревность. Чувство это пришло откуда-то издалека и задело его душу, как задевает тело осколок гранаты, когда он находится уже на излете. Юноша попробовал насвистывать другую мелодию, но вскоре опять сбился на старую...

Рсбепок снова толкнул Магду, и удар пришелся как раз в диафрагму. Магда почувствовала резкую боль, но постепенно толчки смягчились, переместившись в бок и вызывая уже весьма приятное ощущение.

Магда вдруг схватила белокурую девушку за руку и, положив ее руку себе на живот, спросила:

— Чувствуешь?

Девушка ладонью почувствовала слабые мелкие толчки крохотного живого существа. Сначала она без всякого удовольствия, равнодушно слушала пульс новой жизни, но вдруг пухлые девичьи губы дрогнули, за полуопущенными длинными ресницами блеснула слеза.

Полковничиха, даже не видя, почувствовала, что девушка плачет.

«Если ты меня любишь, то попроси у господ, чтобы он освободил меня от мятежа, который вспыхнул в моей груди, попроси у него смерти для меня!» Она не могла думать о чем-нибудь другом, мысли ее все время вертелись вокруг одного и того же.

— Безумие какое-то! — произнесла полковничиха вслух, заметив, что девушка, сидевшая рядом с ней, заплакала, и погладила ее по голове.

8

На первой остановке, сделанной, чтобы хоть немного отдохнуть, все, за исключением старой графини, вышли из машины. Оставшись в машине, она открыла дверцу и вытянула свои короткие опухшие ноги. Колонна повозок остановилась так, что «вандерер» оказался на краю лесной поляны около ручья. Студент, прислонив велосипед к багажнику машины, перепрыгнул через кювет и вышел на поляну.

Солнце стояло уже высоко в небе, и его почти отвесные лучи освещали даже самое дно ущелья. На поляне росло несколько одиноких деревьев, которые давали совсем небольшие кружки тени; вокруг деревьев — островки свежей зеленой травы, на которой совсем недавно высохла утренняя роса. Через два шага ботинки студента стали грязными и мокрыми. А как хотелось развалиться на зеленой травке, вдыхать аромат ее свежести, чувствовать, как по рукам ползают муравьи. Он остановился на поляне, любуясь природой.

Прямо перед ним росла березка с искривленным стволом, береста у нее была ослепительно белая, а желтовато-зеленые листья, казалось, просвечивали насквозь. Чуть-чуть сзади стояли две молоденькие елочки с густой темно-зеленой хвоей, казавшейся почти черной. Дальше на склоне горы чернела полоска леса, а за ним где-то далеко-далеко в дрожащем мареве виднелась одинокая го-

лубоватая гора, а может, ее и не было вовсе, и она просто мерещилась близорукому юноше.

Студент подошел к березе и стал гладить ее неровную кору, рука скользнула по стволу и замерла у ветки. «Как ее изогнуло! Прямо парабола...» — подумал он. Приятно было ощущать под рукой гладкую прохладную бересту, даже по коже пробежали мурашки. Юноша хотел было пайти какое-нибудь сравнение этому ощущению и не мог, он знал, что такое ощущение у него уже было раньше — ощущение, от которого человек вдруг чувствует себя так, будто на его нервные окончания обрушился поток крохотных космических частиц.

Никто из пассажиров «вандерера» есть не пожелал, хотя все были голодны. Лишь старая графиня выпила несколько глотков кофе из термоса. Налила ей кофе жена полковника. Все стояли на краю кювета, уставшие и злые. Полковник покашливал, прочищая горло, и потягивался, разминая затекшие члены.

— Не терплю я эту толкучку, у меня уже ногу сводит от педали.

— Нужно обогнать их, — заметила мать полковника, не выходя из машины.

— Если бы вы знали, где находится голова этого конвоя, мама! — Полковник махнул рукой. — Наверное, где-нибудь у Кирайхага, а то и у самого Варада.

— Часть Кальмана тоже отходит в этом направлении?

— Вполне возможно, так как другого пути здесь, в общем-то, нет, — ответил полковник.

К машине вернулся студент. Опустив голову, он шел по траве, погрузившись в собственные мысли. Худое лицо его было будто озарено, сейчас он походил на копию Донателло. От него пахло свежей хвоей. При виде студента все заулыбались безо всякой причины.

Полковничихе не терпелось заговорить с ним, все равно о чем, но заговорить.

— Ты не голоден, Лацика?

Плечи ее несколько подались вперед, а руки чуть дрогнули. С каждой секундой она казалась все моложе и моложе, как молодеет в свете софитов выходящая из-за тяжелого, пахнущего пылью театрального занавеса пожилая актриса.

Юноша с удивлением посмотрел на женщину, сначала

он ничего не понимал, но, очнувшись от своих мыслей, сказал с машинальной вежливостью:

— Благодарю вас, нет.

— Хорошо, что ты с нами,— сказал полковник,— без тебя мы бы забыли, что такое хорошие манеры.— Он начал говорить не без насмешки, но закончил вполне безобидно.

Белокурая девушка наблюдала за полковничихой.

«Если бы я когда-нибудь могла так полюбить!» — подумала она с завистью и с какой-то возникшей в ней ненавистью, но вдруг безо всякого перехода почувствовала к полковничихе такую симпатию, что ей захотелось броситься и поцеловать ее руки, которые, казалось, вот-вот потянутся к юноше.

Студент же в этот момент думал о том, что он нашел пужное сравнение: береста у этой березы была такой же прохладной и гладкой, как талия у Кристи в ту ночь, в замке. Он покраснел. Чтобы как-то скрыть свое смущение, он потянулся к очкам, хотел поправить их, но, не найдя на месте, еще больше зарделся.

— Ты такой милый,— засмеялась Магда и, подойдя к юноше, поцеловала его в висок.

— Дамы, прошу в машину! — неожиданно распорядился полковник.— Трогаемся дальше. Пока конвой делает передышку, мы успеем отъехать на несколько километров, а потом вклинимся где-нибудь в колонну.

Теперь полковнику хотелось как можно скорее ехать, хотелось поскорее очутиться на равнине. Его подгоняла и мысль об убийстве майора, правда, он старался не думать об этом, но где-то подспудно мысль эта зрела с каждым часом, становясь все более и более тягостной. Желание хоть на сколько-нибудь обогнать колонну с пленными будоражило его.

— Ты там смотри — как следует держи свою веревку! — крикнул он студенту, садясь в машину.

Объехав длинные русские телеги, машина выехала на левую сторону дороги. Навстречу им с самого рассвета не шло никакого встречного транспорта, проехал единственный немецкий автомобиль-амфибия, покрашенный в желтый цвет. Полковник смело и уверенно вел машину на поворотах. Шипы шелестели по дороге, «вандерер» оставлял за собой длинный пышный шлейф пыли. Хотелось как можно скорее обогнать эту бесконечную

колонну узников, в которой и они сами чувствовали себя узниками.

На заднем сиденье белокурая девушка поменялась местами с Магдой. Теперь маленькая беременная женщина сидела посредине, так ей было удобнее. Ветер, врывавшийся в открытые окна машины, сразу же освежил всех, упругой волной ударяя в лицо. Скованность прошла, и женщины начали разговаривать друг с другом. Говорили о разных мелочах: о моде, о кулинарных рецептах, повторяли старые сплетни.

Лишь одна графиня не принимала участия в этом разговоре; она молчала с пренебрежительной миной на лице. Не открывая рта, она бормотала про себя нескончаемую молитву и вскоре, склонив голову на грудь, задремала. Ночь пришлось провести в машине, и привыкшая к комфорту графиня совершенно изнемогла.

— Сейчас совсем другое дело, не так ли, мумулика? — Полковник впервые за всю дорогу так обратился к жене.

Она улыбнулась ему и закивала головой, но тут же резко спросила:

— Не слишком ли ты сильно гонишь машину? — И, обернувшись назад, попыталась через свертки увидеть студента.

— Я слежу за ним, не бойся. Слежу, — сказал полковник, нажимая на педаль газа. И начал насвистывать:

Изнитожь, господь, топор мясника,

Чтобы он не рубил ноги молодому теленочку.

Полковник продолжал свистеть, а сам думал о том, что убийство майора не должно вызвать никакого скандала: белокурая девушка была в обмороке и не видела случившегося, студент же в этом деле полностью на его стороне. Угрызений совести полковник не чувствовал, скорее, он даже чувствовал некоторое облегчение. Сейчас он понял, что совершенно напрасно старался держать себя с майором на равных, тот все равно постоянно тяготил его.

Караван телег и повозок, который они объезжали, готов был тронуться дальше. Мужчины и женщины возились возле лошадей, укладывая в телеги только что парванную свежую траву, поправляли упряжь. Несколько старух, взобравшись на телеги, копались в уздах, потуже завязывали их, устраивали поудобнее детишек.

Полковник сначала думал остановиться и дождаться,

когда колонна двинется в путь, чтобы пристроиться к ней, по передумал. Наслаждение от быстрой езды, которое он испытал после долгого и утомительного плетения в хвосте колонны, было так велико, что он не мог заставить себя остановиться.

Тапки стали видны после последнего поворота, когда дорога перешла в прямую линию. Они шли сомкнутой колонной, с грохотом снорзая вниз со склона горы, похожие на громадного доисторического ящера. Это и были те самые пятьдесят два «тигра». Из их башен торчали стволы пушек, похожие на дубины. Люки танков были открыты, и в них, высунувшись по пояс, темнели фигуры солдат в черпой военной форме и шлемах. Солдат, ехавший в головном танке, сделал энергичный знак, чтобы полковник освободил ему дорогу.

Полковник резко вывернул руль вправо, намереваясь вклипиться между повозками, по повозки ехали почти вплитык друг к другу, и дышло одной из телег врезалось в бок «вандерера».

— С дороги! — закричал полковник, выравнивая машину. — Посторонись!

С левой стороны белело бетонное ограждение, за которым неслась река.

— Ах, боже мой! — взвизгнула полковничиха, задев рукой свертки, лежавшие у заднего окошка.

Магда не поняла, что случилось. На лице ее застыла улыбка, она смотрела вперед на мчавшиеся им навстречу немецкие танки. Обеими руками она прикрывала свой живот.

Грохот танков приближался с каждой секундой.

— С дороги! Прочь! — Нога полковника замерла на педали газа, рука до боли сжала баранку.

Белокурая девушка схватила за ручку дверцы и воскликнула:

— Давайте лучше выйдем!

Старая графиня все еще спала, громко храпя.

— С дороги! Прочь!

Но телеги так и не двинулись.

— Ах, боже мой! — воскликнула еще раз полковничиха, увидев юношу в заднее окошко.

— Лучше выйдем!

Но серая громадина танка с крестом на боковой броне уже паезжала на хрупкий «вандерер»...

Студент открыл глаза. Он не соображал, где он и что с ним случилось; боли он не чувствовал, внутри его разливалось что-то приятное. Склон горы напротив порос густым кустарником, и местами то тут, то там виднелись беловато-серые глыбы известняка. Он видел все очень хорошо, настолько хорошо, что даже рассмотрел росший в расщелине скалы кустик зеленой травы с длинными узкими листьями.

В голову невольно пришли слова из гимназического учебника, и он слово в слово повторил: «Мятник относится к семейству злаковых. Его чешуйки обычно выпуклые и немного вогнутые со стороны стебля».

Юноша хотел сесть, чтобы лучше видеть, действительно ли колосок растения покрыт выпукло-вогнутыми чешуйками. И в тот же миг его пронзила острая боль, она чувствовалась не в одном определенном месте, а повсюду, и в то же время нигде конкретно. Они были так густы, что высохшие стебельки склонялись под их тяжестью, хотя сами метелки были совсем прозрачными, словно вовсе не имели веса.

Юноша дунул на травинки, и вновь все тело его пронзила такая острая боль, что он невольно закрыл глаза. Сначала в глазах у него зарябило от зелени, потом сквозь зелень пошли красные полосы, а затем все заполняющие белые круги, от которых уже не было больно. Метелка одного растения нежно касалась его виска. Это было очень приятно, и юноша невольно улыбнулся. Ему казалось, что он чувствует прикосновение к своему телу длинных черных ресниц жены полковника.

«Криста», — хотел он сказать, но инстинкт самозащиты, боязнь того, что это опять вызовет приступ боли, остановил его, и тут же безо всякого перехода в голове снова возник отрывок текста из учебника: «Мятник — самая распространенная трава, встречающаяся во всех пяти частях света. Наиболее распространенным видом этого растения является так называемый английский мятник, или *lolium peregrinum*».

Юноша никогда хорошо не запоминал латинских названий растений и именно поэтому всегда получал по естествознанию только тройку. А теперь вдруг вспомнил. Перед ним всплыло лицо господина учителя Селени.

Юноша попробовал восстановить в памяти внешний вид своего старого учителя, но перед глазами возникли лишь пряди седых волос да старомодные очки в металлической оправе, за толстыми стеклами которых виднелись неестественно громадные глаза.

«Какого же цвета они у него были?» — подумал студент, но так и не вспомнил.

Вдруг он услышал шум, шедший откуда-то сверху. Глухие ритмичные удары, сопровождаемые резким скрипом.

Он понял, что это были подводы. Осторожно повернул голову в ту сторону, откуда доносились звуки. Первое, что он увидел, был его сломанный велосипед, затем белое бетонное ограждение над пропастью. И в тот же миг он вспомнил все происшедшее.

Вспомнил, как выскочил из-под него велосипед, на котором он ехал, перекинулся через ограждение, а сам он полетел на землю. Уже в момент падения успел увидеть, как похожий на гроб остов первого танка подмял под себя переднюю часть «вандерера», а из радиатора вырвалось белое шипящее облачко. Юноша помнил только это и больше ничего.

По дороге со скрипом ехали повозки, а в его голове уже звучала какая-то новая музыка, в которой особенно выделялись голоса скрипок и рожков.

Юноша видел перед глазами лицо супруги полковника, когда она смотрела на него через заднее окошко автомобиля.

Он сел и тут же от боли упал на землю.

«Видимо, у меня перелом позвоночника», — решил он, снова придя в себя. Он думал об этом с таким равнодушием, словно речь шла не о нем самом, а только о позвоночнике. Затем он начал думать, как можно было бы передать на барабанах топот лошадиных копыт, пальцами начал монотонно стучать по груди: топ, топ, топ...

И снова увидел перед собой Кристу с огромными от ужаса глазами и кричащим ртом.

— Криста! — закричал вдруг юноша и, усилием воли перекинувшись на бок, встал на четвереньки. Поняв, что может находиться в таком положении, юноша несколько успокоился. Теперь он чувствовал, где у него болит: он сильно ударился левой лопаткой. Потянулся, куртка и сорочка на нем были разорваны. Засунув левую руку за

отворот куртки, он пополз на коленках, опираясь только на правую руку.

Склон горы оказался довольно крут, он порос бурьяном и был покрыт камнями. Юноша с большим трудом продвигался вперед, работая ногами и здоровой рукой, из-под которых камни и куски земли лавиной катились вниз и падали в воду, поднимая мириады брызг.

Он дополз до велосипеда. Немного отдохнул, осмотрелся.

Пропасть под ним была страшной, головокружительной. Юноша лежал на склоне горы, внизу бурлила река, цвет воды которой постоянно менялся от густого маслянисто-зеленого до кристально-голубого, а затем темно-серебряного. Юношу охватило безумное желание развести руки и, словно на крыльях, полететь к воде, окунуться в ее шелковую прохладу, ощутить, как она течет над его головой.

Он вздрогнул от ужаса и поднял взгляд кверху, к дороге. Пополз дальше. В голову пришла мысль о том, что он забыл посмотреть, что случилось с его велосипедом.

«Наверняка колеса стали восьмеркой. Только не нужно смотреть вниз, ни в коем случае, иначе конец...»

Наконец он дополз до столба ограды и уцепился за него. Замер. Теперь в голове его не было никаких мыслей, он ничего не чувствовал, кроме стука собственного сердца. Затем услышал над своей головой тяжелое дыхание лошади и скрип повозки.

— Ох! — простонал он громко и выполз на дорогу.

По противоположной стороне дороги тянулась бесконечная вереница повозок.

— Машины, машины не видели тут? — спросил студент, держась правой рукой за ограду и шатаясь из стороны в сторону.

Старики, женщины и испуганные детишки удивленно смотрели на него.

— Большой такой черный автомобиль с вещами на багажнике.

Тут он увидел кусок веревки, за которую был привязан его велосипед.

— Никто не видел? Черная машина, «вандерер», за рулем полковник.

— Не понимаю, — ответил кто-то по-русски с одной из повозок.

— На заднем сиденье сидели трое, три женщины.
«Магда!» — вдруг пронзила юношу мысль.

Неприятно пахло бензином.

— Что такое? — по-немецки спросил, подъезжая к юноше, один из конных охранников.

— Машину я ищу, машину, — пытался сказать по-немецки юноша, но, так и не вспомнив ни одного немецкого слова, произнес это по-венгерски.

Охранник недоуменно пожал плечами и, дернув поводья, поскакал дальше.

Студент отошел от ограды и вдруг поскользнулся. Он посмотрел под ноги, где расплылось продолговатое жирное пятно с лиловыми бензиновыми разводами.

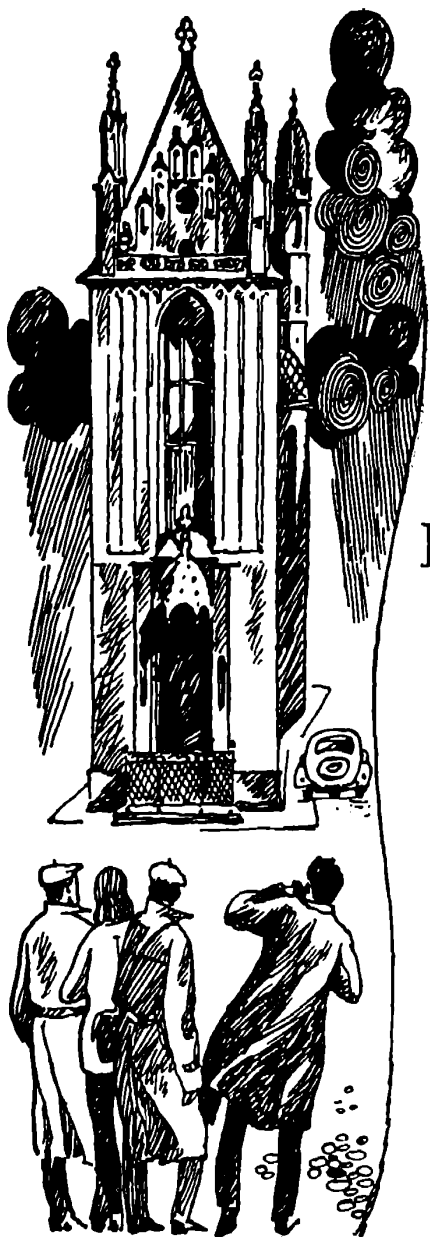
— Машина... — произнес он и ужаснулся от пришедшей ему мысли. Он кинулся обратно к ограждению. В дорожной грязи сверкали небольшие металлические обломки...

Стояла тихая ночь, какие обычно бывают в конце лета; земля дышала теплом, сладко пахло скошенным сеном; на темном бархатном небе сияли звезды, искрился Млечный Путь.

Колонна подвод ехала и ночью. Скрипели русские телеги, маленькие степные лошади цокали копытами по каменистой дороге. Дорога уже шла вдалеке от реки, по голому плоскогорью. Все вокруг было озарено призрачным светом луны и походило на таинственный пейзаж какой-то неизвестной планеты; одиночные горбины скал тянулись к небу, загадочно поблескивая в ночи.

Студент лежал лицом вверх на одной из русских телег. Он чувствовал, что рука и грудь его перевязаны. От пыльных мешков исходил какой-то тяжелый запах. Юноша приподнял голову. Кто-то обратился к нему по-русски, но он ничего не понял. Затем опять заговорили с ним, но он и на этот раз ничего не понял. Кто-то приподнял его голову и, поддерживая рукой, поднес к его рту банку с водой. Он стал жадно пить. Вода струйкой лилась по его лицу, шее, затекая под рубашку. Было очень приятно чувствовать ее.

— Спасибо, — поблагодарил он и, обессиленный, снова повалился на мешки и узлы,



ВОТ
она,
Европа!



(Вместо
путевого
дневника)

Постараюсь описать тебе все мои чувства и мысли, так как позже неминуемое время многое сотрет из памяти, а сейчас все еще очень свежо.

Когда мы переезжали через мост в Комароме, я оглянулся и увидел, ты махала мне, и миг сердце мое наполнилось радостью и болью. Я видел тебя, ты была совсем близко от меня и в то же время недостижимо далеко — между нами уже лежала государственная граница. Вскоре я видел только твой развевающийся на ветру красный платок, но и его от меня заслоняли железные фермы моста. Между нами тек Дунай, подгоняемый пронзительно-холодным ветром.

И почему я не сказал тебе при расставании чего-нибудь очень-очень ласкового и нежного? Только сейчас я понял, что самую страшную боль человек чувствует тогда, когда упустил возможность выразить свою нежность дорогому и близкому для него человеку.

Вспомнил я и о детишках.

Маленькая Марика накануне вечером расплакалась и, не вынимая из-за щеки конфеты, которую я ей дал, умоляла меня взять ее с собой. Я утешал ее, гладя по голове, и еще теперь моя ладонь хранит ощущение ее растрепанных волос. Но надолго ли это?

А потом Золко. Он сидел на кушетке и с полуиспуганной улыбкой смотрел на меня, повторяя все время одни и те же слова: «Папочка, на дворе плачет машина. Плачет машина...» Меня охватывает такая слабость, что я охотнее всего вернулся бы обратно.

Только что мы выехали из Братиславы и направляемся в Прагу. Смеркается. Пейзаж по обе стороны железной дороги довольно однообразный: равнина с редкими пятнами красивого леса. И лишь вдали, на самом горизонте, на северо-востоке виднеются Карпаты. В поезде уже не слышно венгерской речи, кругом говорят на чужом, незнакомом языке.

У меня такое ощущение, что я остался один-одинешенек на всем белом свете.

Дьюла тоже что-то заскучал. Вскоре мы пошли в вагон-ресторан, в котором царило оживленное рождественское настроение. Электрический свет потушен, на столиках горят свечи. Так и кажется, что вот-вот откроется дверь и появится традиционная процессия, славящая веселый праздник...

Но до рождества еще далеко, сегодня пока только день святого Николая.

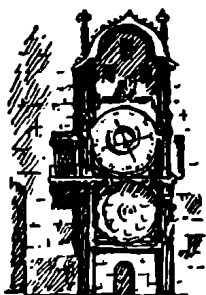
Что-то вы сейчас делаете? Пришел ли к вам святой Николай, а если уже пришел, то какие подарки принес он детям?.. Поцелуй их за меня и постарайся не сердиться на них, если они вдруг сильно расшались.

Мы мчимся навстречу ночи, навстречу неизвестности. На склонах гор местами виднеются огоньки сел, а когда наш поезд проезжает по какому-нибудь мосту, под нами серебром блестит река. Время от времени поезд останавливается на станциях с длинными перронами, где бойко торгуют пивом и газетами. Повсюду множество пассажиров. До Праги поезд набит до отказа, как это бывает и на наших железных дорогах. Я ни слова не понимаю ни по-чешски, ни по-словацки. А жаль. Ориентироваться в чужой стране без знания языка очень и очень трудно.

За окном сгущается темнота, от этого все вокруг становится совсем незнакомым и загадочным. В такие минуты человек волей-неволей вспоминает свой дом, семью. Хорошо было бы сейчас полистать, почитать какую-нибудь венгерскую книжку, но я ничего не взял с собой.

Дьюла, забившись в угол, дремлет.

Я совершенно один.



ЗОЛОТОЙ ГОРОД

(7—8 декабря 1956 года)



Моцарт
и Гус

Прага — красивый и приятный город. Во многом она напоминала мне Вену, однако Прага, пожалуй, более непосредственный и более древний город. Самым большим преимуществом Праги является то, что она вся хороша, в ней нет однообразия и скуки. Стиль, характерный для построек начала нынешнего столетия, не так резко повлиял на нее, как, например, на наш Будапешт. В Праге намного меньше никому не нужных гипсовых Атласов, украшений из искусственного мрамора, различного рода гирлянд и вообще всего того, что так портит два наших Бульварных кольца или Дунайскую набережную с ее дворцами.

Прагу называют золотой. Это город Моцарта. Я не знаю, написал ли он свою сонату A-dur здесь, но когда я ходил по улочкам города, музыка этой сонаты постоянно жила в моей душе.

Оно и не удивительно — в Праге очень много памятников, так или иначе связанных с именем Моцарта. По соседству с гостиницей, в которой мы расположились, над крышами домов возвышается Пороховая башня, недалеко от которой находится гайдновская вилла «Золотой ангел». Здесь впервые в январе 1787 года останавливался Вольфганг Амадей Моцарт, здесь же он жил на тридцать первом году своей жизни. Именно отсюда он писал своему другу Готфриду спустя три дня после приезда в город и за тринадцать дней до своего дня рождения, то есть 14 января:

«Здесь все только и говорят о моем «Фигаро»; ничего другого здесь не играют, ни на что

другое не смотрят, не поют и не насвистывают, только «Фигаро»; других опер, кроме «Фигаро», не слушают, повсюду — только «Фигаро».

Все это для меня очень и очень большая честь».

Это был первый большой творческий успех композитора, первое настоящее чествование. Теперь становится понятным, почему Моцарт любил повторять слова: «Моя Прага понимает меня».

Интересно, сколько раз проходил он под готическими воротами Пороховой башни? Мне кажется, я даже слышу стук его легких башмаков. Но нет, это старые, выдавшие виды стены эхом отдают стук моих собственных шагов. Быть может, именно вот здесь, под тяжелыми массивными сводами, родилась у него бессмертная ария Дон Жуана, боровшегося со смертью. Кто знает? Это останется тайной. История музыки сохранила для нас только тот факт, что именно тогда он подписал договор на «Дон Жуана», которого написал, по его словам, «для своей пражской публики».

И вот передо мной вилла «Бертрамка». С улицы здание выглядит по-официальному строго; приземистая стена, тянущаяся по склону холма, отделяет его от улицы и делает похожим на румынский монастырь. Со стороны же двора здание украшено террасой с каменными колоннами и лестницами, а полуовальные выемки в нижнем этаже делают его похожим на фасад многих дворцов во Флоренции. Сзади, со стороны сада, дом представляется совершенно в ином виде, более легким и симпатичным. Большие французские окна прикрыты жалюзи. Окна моцартовских комнат выполнены в стиле рококо и очень нарядны.

Здесь в одной из комнат и в тиши этого сада родились оперы «Дон Жуан» и «Волшебная флейта», две оперы, которые вспоминаются сразу же, стоит только произнести имя Моцарта.

«Если у какого-нибудь города есть право называться городом Моцарта, то это отнюдь не Зальцбург, который композитор ненавидел, и не Вена, в которой он влачил полуголодное су-

ществование и где его похоронили в общей могиле для бедных, а только одна Прага, этот «золотой город».

Строчки эти принадлежат не мне и не какому-нибудь чеху, а немецкому писателю Артуру Шurigу.

В храме святого Николая впервые был исполнен «Реквием» Моцарта, спустя каких-нибудь четыре года после первого посещения им Праги, когда не прошло еще и недели после его кончины.

Откровенно говоря, храм святого Николая не подходит к Моцарту, не подходит для его отпевания. Пышный декоративный стиль барокко, в котором построен этот храм, чужд духу автора знаменитого «Реквиема». Было бы лучше, если бы заупокойная месса, в которой композитор сам отпевал себя, прозвучала в готическом соборе святого Вита, возвышающемся над Градчанами.

Однако исторически очень ценно, что именно здесь, в соборе святого Николая, была отдана заслуженная дань великому композитору, его светлой памяти.

Собор святого Николая находится на Старогородской площади, расположенной в сердце старой Праги; посредине площади стоит памятник великому чеху Яну Гусу. Здесь эти два великих человека как бы протягивают друг другу руки и входят в наше сегодня. Правда, владелица виллы «Бертрамка» госпожа Душкова, избравшая для заупокойной мессы по своему большому другу именно собор святого Николая, не могла подумать о том, что когда-нибудь здесь, перед этим собором, посредине площади будет воздвигнут памятник Яну Гусу. Вполне возможно, что ни скульптор, ни почтенные отцы города, распорядившиеся поставить памятник именно здесь, неподалеку от собора, в то время даже и не вспомнили о том, что в этом соборе прозвучала заупокойная месса по Моцарту.

Как бы там ни было, но именно сюда, на эту старинную площадь, пришли пражане оплакивать «своего Моцарта», и именно здесь собрались они снова, чтобы отпраздновать великую победу Яна Гуса. Да и где же еще мог стоять памятник, на основании которого высечена надпись: «1420 года ноября первого дня гуситы одержали победу в Вишеградской битве».

Памятник Яну Гусу великолепен. К сожалению, я не знаю имени его творца.

В первый момент, когда окидываешь взглядом всю скульптурную группу, кажется, что это гигантская ледяная глыба, изображающая в бронзе застывшие морские волпы, которые как бы выталкивают из себя фигуру Гуса в мантии. Однако стоит только обойти памятник и лучше присмотреться, как начинаешь чувствовать, что бронзовая композиция постепенно оживает, а опьяненные победой гуситы, окружившие своего вождя, кажется, вот-вот торжественно воскликнут: «В тебя мы верили с самого начала!»

Гус был не только замечательным теологом и философом, но и великолепным оратором. Учение его превратилось в большую общественную силу.

И опять я вспоминаю Моцарта. Вот что писал о нем Ференц Лист:

«Основная заслуга Моцарта в том, что он внедрил в искусство жизнь общества... Он соединил воедино, сплавил мелодию, как естественное проявление народного духа с гармонией, которая создавалась трудом великих мастеров».

Вот какие ассоциации пришли мне в голову при посещении Старгородской площади, которая как бы роднит Яна Гуса с Вольфгангом Амадеем Моцартом.

Мы летим в Варшаву.

Темно, хотя всего только половина шестого; в окошко почти ничего не видно. Вскоре вошла луна, она как раз светит прямо в окно самолета. Где-то далеко внизу мерцают огни большого города...

Что-то вы, мои родные, делаете дома? Сколько раз я задавал себе этот вопрос! Как далеко вы от меня! Как далеко!

Вспоминаю строчки из стихотворения Аттилы Йожефа «Осенний закат», а мотор все гудит и гудит, и шум его закладывает уши, вонзается в мозг.

За окном мерцает полнеющая луна. Крылья самолета поблескивают голубым серебром, под ними медленно проплывает в первобытной темноте какой-то неизвестный город.

НА БЕРЕГАХ ВИСЛЫ

(9—16 декабря 1956 года,
13 февраля — 8 марта 1957 года)



Развалины, дома, шоферы



Первое чувство, которое охватывает человека, впервые очутившегося в Варшаве, это чувство стыда и угрызения совести. Оттого, в первую очередь, что этому городу столько пришлось пострадать от войны, которой мы, венгры, собственно, и не попробовали как следует; во-вторых, от того глубокого чувства дружбы, которое питают к нам, венграм, поляки.

Справедливости ради следует сказать, что, несмотря на огромный размах строительства в Варшаве, глаз прежде всего почему-то замечает развалины, развалины более красноречивые, чем любые обвинительные документы против фашизма. Теперь от многих разрушений не осталось и следа, больше того, по словам самих поляков, развалин почти совсем не осталось в их городе. Что ж, им лучше знать, как выглядела столица, когда ее вырвали из объятий войны. Но Варшава и сегодня все еще является грозным предостережением людям. *Memento mori!*

Идешь мимо новых, местами еще не оштукатуренных зданий — и вдруг совсем рядом поднимается к небу обломок стены или развалины лестничной клетки. Под ногами то и дело попадаются полужасыпанные подвалы, невольно на ум приходят убитые, погребенные под обломками.

И хотя эти факты всем известны, хочется еще раз сказать о том, что после подавления Варшавского восстания гитлеровцы из мести к польскому народу выгоняли

из каждого дома мирных жителей, а сами дома обливали бензином и поджигали. Сохранились от фашистской мети лишь те здания, в которых располагались на постоянной гитлеровские солдаты, но эти здания были разбиты во время воздушных налетов или же во время артиллерийских обстрелов, словом, от города, что называется, не осталось камня на камне.

Душа содрогается от одного вида этих разрушений, и в то же время с восхищением наблюдаешь возрождение Варшавы. С каждым днем буквально из ничего рождаются новые улицы, городские кварталы, совершенно новые, но по образу старых. Здания строятся со всеми современными удобствами, а внешне, лицом, похожи на старые.

С потрясающей энергией стараются польские архитекторы по картинам мастера Каналетто воссоздать новую Варшаву.

О чувстве дружбы, с которым поляки относятся к венграм, писано столько, что, кажется, все слова уже избиты, затасканы. Я, однако, не боюсь повторений, ведь чувство это самое чистое и благородное. Приведу совсем маленький пример. Наверное, это будет лучше, чем повторять приятные комплименты.

Как и у нас, в Варшаве не хватает такси. Однако особых транспортных затруднений из-за этого не возникает, так как учреждения и предприятия имеют много служебных машин. Если пешеход остановился на каком-нибудь углу и поднял руку, то проезжающая мимо пустая машина, будь то даже машина заместителя министра, за десять — пятнадцать злотых — чаевых шоферу — довезет его до самого удаленного уголка столицы. Я не хочу сказать, что это идеально и нужно следовать этому примеру, однако для нас, иностранцев, это было удобно.

Однажды после обеда мы стояли на углу улицы перед отелем. Дул сильный холодный ветер, минут десять мы энергично махали руками, пытаясь остановить хоть какую-нибудь машину, но безрезультатно. Вдруг неожиданно к нам подкатила «победа». Смешивая немецкие слова с польскими, показывая на карту города, которая у нас была, мы кое-как объяснили, куда нам нужно, а место это находилось как раз на противоположном конце Варшавы.

Шофер закивал головой и поехал. И вот мы уже проехали гостиницу «Варшава», Дворец культуры. Сидя в машине, мы с Дьюлой разговаривали.

— Вы венгры? — спросил нас по-польски водитель.

— Да, да, — закивали мы.

Водитель что-то сказал нам по-польски, и хотя мы ничего не поняли из его слов, но все равно заулыбались и закивали.

Вскоре мы приехали и хотели было расплатиться с ним, но водитель ни за что не соглашался взять с нас деньги и сунул их обратно.

— Вы венгры, — еще раз произнес он, как бы говоря этим, что не может быть и речи ни о какой плате.

И это был далеко не единственный случай проявления к нам исключительно сердечного, дружеского отношения со стороны польских граждан, а жили они тогда, следует заметить, не ахти как хорошо и послевоенных трудностей у них было еще немало.

Лейтенант в очках

Процессия остановилась перед баракком. Одни тут же опустили на землю свои жалкие пожитки, другие все еще держали их в руках или под мышками, третьи поправляли за плечами мешки.

— Всем раздеться! — громко крикнул переводчик.

Толпа завозилась, зашумела. Больше всего здесь было женщин и девушек, но были и мужчины, и даже дети. Все затоптались на месте, начали перешептываться, но никто не раздевался.

— Шнелъ! — крикнул офицер переводчику.

Переводчик послушно перевел.

— Быстро! Быстро! — повторял он скороговоркой.

Те, кто стояли в первых рядах, начали робко раздеваться. Остальные — их было большинство — только делали вид, что собираются раздеваться, да и то лишь тогда, когда дуло автомата смотрело на них.

Было это в полдень. Жара стояла невыносимая, и нигде не было тени. Возле угла барака стояла одинокая лиственница, но ее редкая крона не давала спасительной тени: палящие лучи солнца проникали сквозь ее хвою. Обувь снять не рискнул ни один, потому что раскаленный песок до боли жег ноги.

— Переводчик! — крикнул унтер-офицер и кивнул в сторону толпы.

Переводчик тотчас же набросился на узников:

— Ну что вы тянете? Давайте быстрее!..

Взгляды женщин скрестились на переводчике. В них читалась нескрываемая ненависть.

— Холуй! — бросил кто-то сзади.

Переводчик услышал это. Его толстое ленивое лицо мгновенно налилось кровью.

— Тихо! Молчать! Поговорите мне еще! — заорал он и погрозил кулаком.

Унтер-офицер гневно сдвинул свои лохматые рыжие брови.

— Заткнись! — прошипел он в сторону переводчика и что-то нервно начал объяснять ему.

Переводчик покорно втянул голову в плечи, помолчал немного, а затем перевел:

— Господин унтер-офицер говорит, чтобы вы не волновались. Вас привели сюда, чтобы трудом вы искупили свою вину перед великой Германией. Только честная работа поможет вашему освобождению. Поскорее раздевайтесь — и в баню, потом в дезинфекционную камеру.

Мужчины выслушали его слова равнодушно, с безразличным видом, зато некоторые женщины и девушки приободрились. Теперь уже многие начали раздеваться. Женщины собирались в небольшие группы и, повернувшись друг к другу лицом, раздевались, оставляя на себе одни нижние рубашки, чтобы хоть как-то прикрыть наготу.

Унтер-офицер собирался что-то сказать, но переводчик, угадав его мысль, закричал:

— Догола!

Толпа снова заволновалась, зашумела, но охранники повели своими автоматами, и через несколько секунд вся эта масса людей уже стояла голой, многие переступали ногами на раскаленном песке.

Унтер-офицер заложил руки за ремень.

— Бегом! — крикнул переводчик и усмехнулся.

Толпа вздрогнула, зашевелилась, но, сделав несколько нерешительных шагов, замерла на месте. Никто не хотел быть первым.

— Что такое? Почему встали?! — снова закричал переводчик и с силой толкнул сухонького старика, стоявшего рядом с ним.

Тот как куль повалился на землю, но, быстро вскочив на ноги, бросился бежать, остальные — за ним.

Лейтенант стоял около барака, привалившись одним плечом к стене, и через толстые стекла очков наблюдал за раздетыми бегущими людьми. Его худое длинное лицо было неподвижно, беспокойно бегали лишь водянистые голубые глаза.

В этот момент перед ним пробежала высокая красная девушка с длинными светлыми волосами. Взгляд ее не метался из стороны в сторону, как у остальных женщин; она смотрела прямо перед собой на блестящий от солнца песок, быстро переставляя стройные ноги, словно молодая лань.

Унтер-офицер кивнул переводчику, и тот стал останавливать бегущих. Остановив, он выстроил узников перед бараком. Лейтенант сделал несколько шагов вперед, медленных, спокойных шагов. Он уставился на белокурую девушку, на ее загорелые ноги.

Ей хотелось прикрыть грудь, ноги. Точно парализованная, продолжала она стоять под взглядом фашиста.

Тот медленно прошелся вдоль строя, временами показывая рукой то на одну, то на другую фигуру — это был знак, чтобы они вышли из строя. Подойдя к белокурой девушке, лейтенант остановился, смерил ее с ног до головы внимательным взглядом, затем посмотрел прямо в глаза.

Девушка покраснела. На висках у нее выступили яркие пунцовые пятна, которые скоро покрыли все лицо и даже шею.

— Здравствуйте, мадемуазель, — вежливо сказал лейтенант.

— Здравствуйте, — робко ответила она.

— Ваше имя?

— Эльза Прановска.

— Благодарю, — сказал лейтенант и пошел дальше, не сделав знака, чтобы девушка вышла из строя.

Завершив осмотр, он вернулся на свое место, в тень барака, делая в блокноте какие-то пометки. Тем временем унтер-офицер пересчитал узников, оставшихся в строю и вышедших из него, доложил лейтенанту, и тот кивнул, блеснув стеклами очков.

— Четвертая справа, — сказал лейтенант и стал писать дальше.

Унтер-офицер подошел к полной женщине, стоявшей четвертой справа. Женщина как подкошенная упала на

колени перед унтером и, обхватив руками его ноги, заголосила.

— Что ей? — удивленно спросил унтер-офицер у переводчика.

— Она вместе с семьей просит не выводить ее из строя.

— Дура! — коротко бросил унтер-офицер и, вернувшись на свое место, отдал какой-то приказ, который переводчик перевел слово в слово.

— Тем, кто вышел из строя, одеться! Вы направляетесь на работы в другое место. Там вас тоже сводят в баню и продезинфицируют вашу одежду.

Стоявшие перед строем не сразу поняли, что сказал переводчик, и недоуменно переглядывались. Вдруг полная женщина вскочила на ноги, подбежала к своей одежде, брошенной на земле, и стала быстро одеваться. Она уже не причитала, а только улыбалась.

Постепенно пришли в себя и остальные. Через несколько секунд они уже толпились у своей одежды, брошенной в кучу. Толкали друг друга, хватали одежду, дрожащими руками натягивали ее на себя. Когда они оделись, два вооруженных автоматами солдата повели их куда-то. Некоторые из них оглядывались, махали руками оставшимся.

Унтер-офицер кашлянул, и тут же переводчик вышел вперед и встал перед строем.

— За мной, шагом марш! — скомандовал он и вошел в барак.

Узники медленно двинулись за ним.

Белокурая девушка шла где-то в середине колонны. Когда она подошла к двери, лейтенант что-то сказал унтер-офицеру, и тот выкрикнул:

— Эльза Прановска, выйти из строя!

Девушка вздрогнула и остановилась, испуганно глядя на унтер-офицера. Но тот уже не обращал на нее никакого внимания, загоняя узников в барак.

Лейтенант холодно блеснул очками.

В барак вошла последняя женщина. Девушка хотела было двинуться за ней в открытую дверь, но унтер-офицер оттолкнул ее. Она беспомощно остановилась, переступая босыми ногами по горячему песку, и увидела через дверь, как узники, загнанные в барак, бросились расхватывать мыло и полотенца. Через несколько минут переводчик и оба часовых вышли из барака.

Переводчик был очень бледен. Он не вышел, а, скорее, выбежал из барака. Лица часовых были спокойны и ничего не выражали.

Дверь барака тут же заперли на замок, а окна закрыли толстыми дубовыми ставнями. Оба часовых ушли куда-то за барак. Через несколько минут откуда-то очень издали, чуть ли не из глубины земли, послышался глухой гул.

В дверь барака изнутри начали так стучать, что стены его содрогались, но продолжалось это совсем недолго. Затем наступила тишина. Мертвая тишина...

Унтер-офицер провел поросшей рыжими волосами рукой по подбородку.

— Готово, — сказал он и сделал переводчику знак.

Переводчик, закусив толстую губу, огляделся, словно кого-то разыскивая, затем странной, раскачивающейся походкой пошел куда-то.

Взгляд белокурой девушки перескакивал с одного лица на другое и наконец остановился на лейтенанте. За толстыми стеклами очков лейтенанта она не видела его глаз, но чувствовала, что он смотрит на нее. Кое-как прикрываясь руками, девушка направилась было к куче одежды, но путь ей преградил выставленный вперед автомат: часовой жестом показал ей, чтобы она вернулась назад.

— Цурюк!

Мимо прошли несколько узников с повязками на руках, вместе с ними переводчик. Они сняли с окон тяжелые ставни, открыли дверь. Из барака вырвалась тугая струя тяжелого, удушливого газа.

Внутри барака, оборудованного под баню, возвышалась жуткая пирамида — исковерканные тела, закинутые назад головы, страшные гримасы на лицах. В вытаращенных глазах отражался ужас, в открытых ртах застыл последний предсмертный крик. На самой вершине пирамиды лежал труп сухонького старичка. Одной рукой он вцепился в волосы какой-то женщины, другая рука была судорожно вытянута вверх, к потолку, в центре которого чернело небольшое отверстие для вентиляции.

Трупы начали выносить. Их несли мимо девушки.

Когда закончили эту работу, лейтенант жестом подзывал девушку к себе:

— Одевайтесь, пожалуйста. Вы пойдете со мной.

Водянистые глаза лейтенанта жадно скользнули по девичьей груди...

На следующее утро лейтенанта в очках нашли мертвым в своей постели: он был убит выстрелом в голову.

Танец Кристины

Бродя по новым улицам Варшавы, где еще совсем недавно были одни развалины, я все чаще и чаще вспоминал Кристину, белокурую польскую танцовщицу. Иногда меня подмывало желание во что бы то ни стало разыскать ее, но я гнал прочь от себя эту мысль.

В жизни человека бывают встречи, которые время от времени обязательно нужно повторять, так как в противном случае завязавшаяся дружба может угаснуть; однако бывают встречи, вся прелесть, все очарование которых в том, что они неожиданны и неповторимы.

Так пусть же и для меня одна-единственная встреча с Кристиной останется неповторимой и незабываемой!

Встретился я с ней летом тысяча девятьсот пятьдесят третьего года на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте. Она танцевала в ансамбле, крайней в первом ряду.

Щурясь от ослепительного света юпитеров, она глядела куда-то в зрительный зал, словно ища там улыбку, которая бы приободрила ее. Однако сколько ни смотрела, она видела лишь волнующуюся темную массу зрителей, которая тесно обступила эстраду. Зал напоминал бушующее море. Где-то вдалеке виднелись опаловые струи фонтана, подсвеченные прожекторами.

Первые моменты, первые движения в танце самые напряженные и стоят танцору большого волнения. Руки, ноги, талия как бы сопротивляются воле человека, упорствуют, не хотят двигаться, словно чужие.

Кристина еще несколько раз взглянула в зал, который тоже замер в напряжении, так как еще не понял танца, не увлекся им.

Девушка полузакрыла глаза, чтобы лучше сосредоточиться на искрящихся фигурах мазурки.

Одна фигура сменяла другую. Сделав несколько кругов, Кристина оказалась в самом центре танцующих и

на миг исчезла из моих глаз. Когда же я снова увидел ее — это была совершенно другая танцовщица. Она крутилась возле своего партнера, юбка ее вставала колоколом, потом вдруг мягко падала, касаясь красивых пог. Еще миг, и она снова закружилась в вихре танца; казалось, она была невесома.

Сам не знаю почему, но на меня вдруг напала печаль, от которой я никак не мог освободиться. Я посмотрел на небо, усыпанное мерцающими звездами, которые, казалось, передавали пульс и удары сердца Кристины.

Время как будто остановило свой бег...

...О Варшава! Город счастья и мучений!

Разве можно забыть тихие летние вечера в маленькой квартирке на улице Пулавска, на четвертом этаже! Милое далекое детство, пахнущее липами. В раскрытое окно доносятся звуки постепенно затихающей улицы. Мама садится к роялю и играет Шопена. Маленькая Кристина сидит на коленях у отца. На улице раздается крик возчика: «Хоп-ля!», которым он подгоняет свою лошадку. Но вот мама касается клавишей, и Кристинка уходит в волшебную и печальную страну музыки.

Мамины пальцы летают над белыми и черными клавишами, один этюд сменяется другим...

Кристине не было еще и десяти лет, когда в их жизнь ворвалась война. Отец ушел на фронт, и больше она не видела его, лишь слышала, что он, лихой кавалерист, ходил в атаку на фашистские танки.

Прогремело над ними страшное сражение, и вот уже на башне городской ратуши, словно большой черный ворон, полощется чужое знамя со свастикой.

Вечера стали холодными, холодными до дрожи в теле.

Никто уже не играл на рояле. Дом словно вымер.

И вот однажды, спустя много-много месяцев, ночью Кристинка проснулась от звука рояля. Струны будто взбунтовались. Испуганная девочка села на кровати, еще не совсем придя в себя после сна. За роялем, на крышке которого стоял огарок свечи с трепещущим язычком бледного пламени, сидела мама и, плача, играла. Звучал «Революционный этюд» Шопена.

Утром началось Варшавское восстание.

Кристинка мало что понимала своим детским умом в происходящих событиях. Она видела, что мать перевязывает раненых, ухаживает за ними, утешает. Значит, и ей тоже нужно что-то делать. Она ходила куда-то за ватой, бинтами, приносила их матери, что-то узнавала по ее просьбе.

Однажды, когда она выполняла одно из подобных поручений, на город обрушилась варварская бомбардировка. Полтора часа без перерыва ревели над головой гитлеровские бомбардировщики, полтора часа их бомбы рвали на куски большое тело города. Все кругом горело; казалось, горел сам воздух. Прижимаясь к стенам домов, Кристинка добежала до какого-то сырого подвала с покрытыми плесенью стенами и спряталась в нем, умоляя господу сжалиться над ней.

Потом наступила тишина, такая немая тишина, какая бывает только на старых заброшенных кладбищах. Из уха у Кристинки текла кровь. Она вылезла из подвала и побежала домой.

Но боже мой!

Там, где еще сегодня утром была улица с домами, возвышались груды развалин, от которых к блеклому небу поднимались клубы пыли и копоти.

— Мама! Мамочка! — закричала девочка.

Кругом тишина и пустота.

Руководствуясь детским инстинктом, Кристинка кое-как добралась до остатков стены, начала переворачивать кирпичи, осматривать обрывки каких-то тряпок — нигде ничего.

Она разрыдалась.

— Мама! Мамочка!..

Среди груды развалин она вдруг увидела разбитый вдребезги рояль, их рояль. Оборванными струнами играл ветер.

Несколько дней подряд голодная Кристинка бродила по разбитым соседним улицам со слабой надеждой найти мать. Вскоре девочка поняла, что все это не больше как сон, страшный, ужасный сон, от которого она не скоро очнется. Еще она ждала какого-то чуда, что вот на этом, а быть может, на том углу вдруг неожиданно появится ее мама; временами девочка бродила, не поднимая глаз от земли, чтобы сначала не увидеть, а только услышать, как мать ее обрадованно крикнет ей:

— Кристинка! Девочка моя!

Но не было ни пробуждения от этого страшного сна, ни чуда.

Вскоре всех оставшихся жителей города фашисты собрали вместе и куда-то погнали. Кристина шла в бесконечно длинной веренице людей, ей не знакомых, и не нашлось никого, кто бы взял ее за руку. Сколько дней они шли вот так? День или, может, целых десять? Этого никто не знал. Однажды на закате их загнали в телячьи вагоны.

Девочка ужасно устала. Забившись в угол вагона, она смотрела на крошечное оконце вверх, затянутое колючей проволокой. В него было видно, как им навстречу плыли тяжелые кроваво-красные облака. Хотелось плакать. Накинув на голову пальто и спрятавшись от чужих глаз, девочка горько рыдала.

Плен продолжался девять месяцев, и все девять месяцев она находилась в лагере за колючей проволокой. Но именно здесь, среди ужасов и страданий, в девочке впервые проснулась неумная страсть к танцу.

После работы женщины расходились по своим баракам. Кто сидел, безучастно прислонившись к стене, кто, свесив ноги с нар, болтал ими в воздухе, а некоторые вполголоса, чтобы не услышала охрана, пели песни. В бараке было темно, лишь отблески пламени из топившейся печки освещали женщин, и они казались какими-то загадочными. Вот это-то пение и разбудило в девочке страсть к танцу.

Во дворе холодно, но Кристина идет туда и, укрывшись за баракom, начинает танцевать в темноте, вкладывая в танец всю свою печаль, всю свою душу.

Маленькие худые руки девочки вздрагивают, тянутся к небу, а ноги пляшут, поднимая с земли пыль.

Однажды вечером за этим занятием ее увидели женщины из барака. Сначала они подумали, что девочка, видимо, потеряла рассудок, и испуганно отошли подальше. Но, присмотревшись, скоро поняли, что эти странные движения и прыжки вовсе не безумство, не болезнь, а проявление воли к жизни.

С того вечера женщины уже не разрешали девочке уходить во двор на мороз, а просили ее сплясать им что-нибудь посреди барака перед горячей печкой, внимательно глядя на ее танцы.

Вскоре подули пахучие весенние ветры, льдинки на окнах растаяли, а откуда-то издалека все явственнее до-

посился гул артиллерийской канонады. С замираньем сердца все узники лагеря ждали каждого следующего дня. Но он проходил, и не случалось ничего, что могло бы изменить их жизнь в лучшую сторону.

И в конце концов после долгих мучительных ожиданий надежда пропала. Уже никто не пел больше песен, Кристина перестала танцевать.

Вечера стали немыми и пустыми.

Но вдруг однажды ночью взрывы гранат послышались так близко, что задрожали стекла в окнах барака, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. Кристина в ту ночь проснулась с таким же чувством, как когда-то давно-давно. Ей казалось, что она снова видит тусклое пламя свечи, видит залитое слезами лицо матери, а в ушах у нее снова звучит «Революционный этюд».

Тут нельзя было удержаться, чтобы не станцевать, и она стрелой вылетела на небольшое пустое пространство перед печкой.

Ноги сами задвигались, худенькие детские руки как бы разрезали темноту, она танцевала и танцевала...

Я хорошо помню тапек Кристины, я будто вижу ее сейчас перед собой, вижу в неистовом движении ее ноги, руки, все ее тело.

Ritournelle

Час ночи.

Никак не могу уснуть. Готовлюсь к дальнейшей поездке — утром мы летим в Копенгаген и Хельсинки. А сейчас жду телефонного звонка. Хочу услышать твой голос и боюсь, что не удастся: говорят, на линии перебои. Вот я и беспокоюсь.

Вчера у меня было скверное настроение. Задание, которое мы на себя взяли, довольно-таки тяжелое и беспокойное, но это мы поняли только здесь, оказавшись за ераницей.

Что-то нас ждет?

Наконец-то я первый раз в жизни вижу море.

Сколько раз я представлял себе этот торжественный момент, представлял, какие слова скажу, а теперь вот только и делаю, что твержу:

— Я вижу море... Я вижу море...

Я счастлив. Море под нами. Оно спокойное и сверкающее, и лишь у самого берега виднеется тоненькая вязь белых вспененных волн.

И вдруг море исчезло — самолет вошел в тучу.

Долго не видно ничего, кроме серого тумана. Но постепенно начинает светать, и вот уже тучу пробивают солнечные лучи, еще одно мгновение — и весь мир под нами начинает сверкать в ослепительных солнечных лучах.

Снижаемся. Сильно закладывает уши, и снова крылья нашего самолета рассекают легкую вату, но она так тонка, что солнце просвечивает ее насквозь.

Еще одно мгновение под нами снова расстилается море, ему не видно конца и края. Цвет у него такой, будто у меня на ладони блестит кристалл изумруда.

Уже виден датский берег, затем выстроенные, словно на параде, дома Копенгагена, его сады и парки. Все такое чистое, в таком строгом порядке, что кажется — это не настоящий город, а всего лишь гипсовый макет.

Я смотрю на часы: без пяти минут двенадцать. Море совсем близко, так и кажется, что оно вот-вот поглотит наш самолет. Но нет, еще мгновение — и колеса самолета катятся по бетонной дорожке. Самолет подруливает к зданию аэровокзала.

Зал ожидания для транзитных пассажиров похож на Ноев ковчег со всеми удобствами, не хватает только зверей, зато все остальное есть. Полукругом с трех сторон витрины и прилавки, где можно купить сигареты, газеты и журналы, предметы галантереи, посуду, сувениры, тут же расположены почта и телеграф. Здесь можно купить что угодно за любую западную валюту, а сдачу дают в той валюте, в какой пожелаете.

Большой зал ожидания отделен от несколько меньшего по размерам холла перегородкой, за которой расположена длинная буфетная стойка с круглыми вращающимися стульчиками. Несколько человек едят бутерброды, другие пьют черный кофе. Мы подошли к стойке и попросили апельсинового сока. Сколько он стоит, никто из нас не имел ни малейшего представления. За сок мы заплатили английскими шиллингами, а сдачу

получили в финских марках; все это для нас было прямо-таки непостижимо, так как мы не знали, как это выражается в форингах.

Небольшой кусок «ничейной» земли, своего рода интернациональная территория, куда можно ступить безо всякой визы, а вот выйти, вернее, улететь можно только тем самолетом, на который тебе выдан билет.

Повсюду точность и безукоризненный порядок; хотя прибывает и улетает огромное количество самолетов. Не проходит и десяти минут, чтобы не прилетал или не улетал какой-нибудь самолет. Однако заметить это можно только при внимательном наблюдении, так как все это делается безо всякого шума, без суеты и трепки нервов.

Пассажир всегда вовремя узнает о времени отправления своего самолета. Сначала раздается очень мелодичный перезвон, словно играет музыкальная шкатулка, затем над соответствующим выходом на летное поле загорается световое табло, например, с такой надписью: «Амстердам SN-172», затем диктор по радио на трех языках с датским акцентом сообщит, куда какой самолет летит. Чаще всего самолеты отправляются в Стокгольм, наверное, не реже, чем у нас электричка в пригород Будапешта.

Вот началась посадка на самолет, вылетающий в Нью-Йорк.

Раздалось мелодичное «плим-плам», загорелось световое табло, и диктор сказал положенное. Пассажиры пошли к выходу — американские солдаты (черные и белые), направляющиеся в отпуск, француженка с живым подвижным лицом в туфельках из крокодиловой кожи и нейлоновой шубке серебряного цвета, двое китайцев с размеренными движениями, в черных зимних пальто. Да стоит ли дальше перечислять — тут всяких хватает...

На бетонной дорожке режут турбины самолета, и белокурая датская девушка в форме стюардессы с улыбкой на лице проводит пассажиров в салон самолета.

Два часа сорок минут — очередь дошла и до нас.

Когда мы вышли на летное поле, в лицо ударил влажный холод. Поднимаем воротники пальто. Справа и слева самолеты готовятся к вылету, вокруг них деловито

снуют механики, тележки с багажом. По трапу поднимаемся в самолет.

С земли сопровождавший нас датчанин желает нам счастливого пути.

У двери самолета стоит белокурая датская девушка в форме стюардессы и с неизменной улыбкой на губах.

— Добрый день! — приветствует она пассажиров.

Через несколько минут взревели моторы, и я снова думаю о вас, о том, что через час с небольшим я буду дальше от вас еще на тысячу километров.

СТРАНА С ПЕСТРЫМИ КРЫШАМИ

(17—30 декабря 1956 года)



Первые впечатления



В Хельсинки человек пачинает свой первый день с того, что никак не может проснуться. Приоткрыв глаза, смотрит на окно, но тут же, мысленно сказав себе «еще рано», переворачивается на другой бок и снова засыпает. А часы между тем показывают уже десять утра, хотя на улицах в это время года еще утренние сумерки.

Зимой солнца здесь почти совсем не видят, правда, ипогда оно чуть-чуть покажет свой бледный лик из-за моря, осветит своими лучами крыши домов — и смотришь, безбрежная морская даль вновь поглотила его. Кругом преобладают синие и розовые цвета. Холодно. Когда же на землю спускается туман, а он здесь бывает очень и очень часто, не видно и этого, и лишь над морем в течение нескольких часов появляется более светлая полоса, но когда она пронадает, тьма становится еще более плотной.

Зато летом солнце щедро расточает свои лучи; не успеет оно сесть, как снова появляется из-за горизонта. Но сейчас декабрь, и кругом темень и холод.

Мы выходим на улицу, чтобы познакомиться с городом.

Центр старого города расположен на довольно большом полуострове с зигзагообразной линией побережья. Если посмотреть на карту, то город похож на след от огромной медвежьей лапы с пятью когтями-полуостровами.

Новые же районы города с заводами, фабриками и жилыми кварталами расположены в северной части на двух полуостровах и на больших и маленьких островах. Словом, куда бы человек ни пошел, рано или поздно он обязательно выйдет к морю.

Точно так же и мы, идя наугад, вышли к морю.

Приятно побродить по улицам незнакомого города безо всякого плана и цели. Это тебе не скачка по музеям или от одного памятника к другому; во время таких прогулок имеешь возможность наблюдать повседневную жизнь чужого народа с его особенностями, а побродив побольше, вдруг незаметно почувствуешь себя как будто дома.

Улицы Хельсинки неширокие, с многочисленными подъемами и спусками (это в старой части города). Дороги и даже тротуары устланы мелкой галькой, чтобы не скользко было. На улицах на удивление много машин, которые то и дело спуют взад-вперед, так что даже рябит в глазах. Каких только марок машин тут не встретишь!

Витрины магазинов оформлены с большим вкусом, чувствуется, что здесь это своего рода искусство. Замечу, что ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Стокгольме мы нигде не видели более изящных витрин. Торговцы здесь умеют не только остроумно показать покупателю свой товар, но и стремятся, чтобы витрина их магазина или фирмы представляла собой одно художественное целое, оригинальный, со вкусом сделанный интерьер.

Финны в основном люди высокие и белокурые. Полного мужчину или женщину почти не увидишь. Женщины очень стройные, даже в зимних пальто и шубках.

Улочка, по которой мы идем, вливается в продолговатую площадь, с левой стороны ее — четырех-пятиэтажные дворцы, построенные в классическом стиле, с правой — морская бухта, а между ними рынок.

За низенькими прилавками продается всевозможная снедь, но больше всего, разумеется, рыбы. Какой только рыбы тут нет!

Повсюду шум, разговоры и рыба. Сам воздух насызок пропах запахами моря и свежей рыбы.

Последнее здание на улице — Дворец президента. Он несколько отступил вглубь от общей линии зданий. Перед дворцом небольшой сад, огороженный кованой ре-

шеткой. Портик дворца, украшенный дорическими колоннами, смотрит на рынок, на бухту и на островки, разбросанные в море.

Нам с нашим средневропейским образом мышления такая картина, откровенно говоря, кажется непонятной и странной: государственные руководители как бы погружены в гущу повседневной жизни страны. Нам, будапештцам, невозможно представить, например, Королевский дворец где-нибудь на углу рыночной площади. А здесь это так.

В два часа рынок закрывается, и тотчас же на площади появляются машины, которые моют и подметают площадь, так что через несколько минут она блестит как зеркало.

Чистота поражает повсюду: в гостинице, на улицах, в магазинах. Она сразу же бросается в глаза.

Мы медленно идем дальше. В гостиницу возвращаемся только поздно вечером в таком настроении, что мы здесь давно, мы здесь свои, и, когда портье заговаривает с нами, очень удивляемся тому, что не понимаем его почему-то.

ОТК

Мы посетили правление одной финской кооперации, полное наименование которой столь длинно, что лучше называть ее сокращенно ОТК.

Находится она в индустриальной части города, на северо-востоке. Промышленный комплекс расположен также на одном из полуостровов, связанном со старым городом лишь узкой перемычкой, по которой проходят железная и шоссе-ная дороги.

ОТК занимает громадную территорию. В центре ее полукруглое административное здание с бесчисленными кабинетами, конференц-залами и прочими необходимыми службами. Позади этого здания находится швейная фабрика и фабрика химического волокна, рядом элеватор, мельница, а левее склады кофе и кофеперерабатывающая фабрика.

В переднем правом углу территории в тели огромного современного здания находится маленький деревянный домик. Дом этот стоит еще с конца прошлого столетия, это жилой дом. В старой части города довольно ча-

сто можно встретить такие домики на фоне современных многоэтажных гигантов.

Тыльная сторона территории с многочисленными складами и грузовым портом выходит прямо к берегу моря.

Фирма ОТК начала свое существование в декабре 1917 года. На заре своего существования она занималась сушением и вялением рыбы, чем занимались и другие частные финские предприятия. А сегодня ее филиалы разбросаны по всей Финляндии: магазины, промышленные предприятия, сахарные и консервные заводы, мельницы, лесопилки, деревообрабатывающие заводы, швейные фабрики, строительные предприятия, страховые конторы.

Может быть, будет полезно привести несколько скучных, но красноречивых цифр: в 1920 году в ОТК работало всего лишь 144 тысячи человек, а в 1953 — уже более полумиллиона человек, то есть 12,6 процента всего населения страны. Если добавить, что в Финляндии имеется еще четыре-пять подобных коопераций, то окажется, что половина населения страны, то есть почти каждый взрослый мужчина или женщина являются членами этих кооперативов. Насколько мне известно, ни в одной стране мира нет такой огромной и сильно разветвленной кооперативной сети.

Мы побывали на некоторых предприятиях.

Швейная фабрика как раз стояла. Дело в том, что у финнов предприятия, усиленно работавшие перед праздником, в данном случае перед рождеством, закрываются на праздник, а рабочие и служащие получают отпуск. Я заметил, что рождественские праздники и Новый год у финнов — торжество довольно продолжительное. Поэтому в цехах мы увидели лишь сотни безмолвных швейных машин.

Зато вовсю работал завод по переработке кофе. Как только мы вошли во двор, в нос ударил чуть-чуть горьковатый запах кофе. В огромных вращающихся печах кофе поджаривали до определенной кондиции, после чего по транспортерной ленте он тек в развесочную.

Все работы выполняли машины, и лишь сортировку делали вручную. За одним страшно длинным столом в

ряд сидели стройные финские девушки. Перед ними медленно плыла лента конвейера с жареным кофе. Проворные пальцы девушек удаляли с ленты битые или пережаренные зерна; безукоризненного же вида зерна текли дальше.

Я спросил девушку, которая сидела за столом с самого края, сколько она получает.

Она ответила:

— Двадцать восемь тысяч марок. Из них четыре тысячи высчитывают на налоги.

— Почему так много?

— Потому что я не имею семьи.

— Значит, на руки попадает двадцать четыре тысячи марок?

Посмотрев на меня своими голубыми глазами, девушка озорно передернула плечиками и сказала:

— Можно было бы и больше.

И она снова склонилась над лентой.

В рабочей столовой можно пообедать за сто — сто пятьдесят марок. Женские туфли стоят две — две с половиной тысячи марок, нейлоновая комбинация — тысяча — тысяча шестьсот марок, нейлоновые чулки — четырехста — шестьсот марок, столько же стоит билет в кино, а если купить билет на премьеру фильма, да еще самый лучший, то придется заплатить целую тысячу. Билеты в театр еще дороже, но самое дорогое — это плата за квартиру.

Напоследок мы оставили для себя осмотр мельницы. Меня, некогда работавшего на мельнице, это посещение интересовало больше всего. Еще будучи учеником мукомола, я много слышал от своего мастера об искусстве немецких и английских мукомолов; главным образом, хвалили обычно их машины для очистки зерна. О финской мукомольной промышленности я ничего не слышал.

С любопытством вошел я в громадный, высотой в восемь этажей, корпус. Точно такой же высоты был и стоявший по соседству элеватор. Производительность мельницы — двадцать вагонов зерна в сутки. Словом, довольно современное предприятие. Однако то, что я увидел внутри, ошеломило меня и опрокинуло все мои представления об этой отрасли промышленности, а ведь я по-

бывал на всех более или менее крупных паровых мельницах Венгрии.

Повсюду ряды блестящих труб, сита. Кругом идеальная чистота, на полу не увидишь ни одной мучной пылинки.

И нигде, куда ни пойдешь, не увидишь ни одного человека, вернее сказать, мы встретились с двумя рабочими, с одним из них — на лестнице.

Я спросил у нашего сопровождающего, сколько же человек всего работает на мельнице, и получил ответ: восемь, по одному на каждом этаже-уровне. Интересное дело: здесь рука человека даже не прикасается к мешку, все делают машины. Когда же наш сопровождающий заметил на моем лице удивление, то скромно сказал, что в Тампере у них есть другая мельница, с более современным оборудованием: в сутки она перерабатывает тридцать вагонов зерна, а работает на ней всего пять человек.

— Правда, — продолжал он, — недавно на той мельнице побывали английские специалисты, они сказали, что это самая современная мельница в Европе.

Таков наш двадцатый век!

Ritournelle

Лондон с самолета кажется не одним огромным городом, а несколькими небольшими городами, соединенными вместе в виде одного гигантского куста. Такое впечатление не покидает вас и тогда, когда вы на автобусе едете с аэродрома в центр города; даже кажется, можно провести реальные границы каждого такого городка. Так что разочарованно спрашиваешь:

— Это и есть Лондон?!

Мы в недоумении переглядываемся с Дьюлой.

— Да, это и есть Лондон.

Сросшиеся друг с другом, эти небольшие города сохраняют каждый свое лицо. Они лишены монументальности, свойственной большим городам, импозантности. И всем им присуще что-то общее.

Общее складывается из многих мелочей. В первую очередь — это сразу бросается в глаза — вид домов. Почти на каждом из них имеются полукруглые крытые бал-

коны. Стены домов снаружи, как правило, не оштукатурены, а от копоти и дыма кирпичи становятся темно-бордовыми, вот и получается, что все улицы бордовые.

Сначала человек думает: стоит дойти до угла и свернуть на другую улицу, и там все будет иначе. Но иначе не будет, ни на другой, ни на третьей улице. И вообще нигде. И уже через каких-нибудь полчаса хочется закричать, чтобы тебя выпустили из этого рая, пока ты еще не сошел с ума.

Автобус с одной улицы сворачивает на другую, и тут опять по обе стороны стоят неоштукатуренные бордовые от копоти дома с пузатыми крытыми балконами.

Говорят, что любой город напоминает какую-то женщину. Если это верно, то Лондон похож на библейскую Марфу, которой из-за мелких суетных забот некогда даже придется, некогда склониться к ногам создателя, так как все время нужно хлопотать по хозяйству; словом, это Марфа, без которой нет жизни, но которой самой некогда жить.

Когда мы прилетели в Лондон, чуть-чуть светило солнце. Вокруг нас радостно беседовали лондонцы, беспрестанно повторяя, какая хорошая стоит погода. На самом же деле воздух тяжелый, удушающий, так и навевает сон. Но лондонцы, как нам показалось, чувствовали себя при этом прекрасно. На следующий день на город опустился удушливый туман, а затем вскоре пошел холодный, пронизывающий до костей дождь, и мы тоже заговорили о том, какая хорошая погода была вчера.

Сначала мы смотрели в окно автобуса, но вскоре мне это надоело, и я стал наблюдать за нашим шофером. Это был мужчина в возрасте, с продолговатым, чисто выбритым лицом. Редкие, уже начавшие седесть волосы гладко зачесаны назад. На руках перчатки.

Сзади за шофером сидела молодая супружеская пара, которая, наверное, совершала свадебное путешествие. Временами водитель чуть-чуть поворачивался назад. Они разговаривали. Возможно, они были знакомы, хотя вряд ли. Водитель объяснял молодоженам, что им следует посмотреть в Лондоне, и перечислял: Вестминстерское аббатство, Трафальгарскую площадь, Национальную галерею, Британский музей, Букингемский дворец... Я понял, что наш водитель отнюдь не случайно начал с Вестминстерского аббатства.

Я еще внимательнее стал приглядываться к водителю. Ничего особенного в нем не было, и в то же время он чем-то вызывал к себе симпатию. Несколько секунд я думал над тем, в чем же причина, и вдруг понял, что мне нравится то, как он держится, нравится, как он держит баранку, как сидит, как действует — очень уверенно и в то же время степенно.

В нашем водителе, как и в самом Лондоне, была ярко выражена не одна какая-то черта, а сразу несколько — то, собственно, что и составляет характер.

Это была моя первая встреча с англичанами, но и все последующие подтвердили первое впечатление.

Теперь я смотрел на улицы и дома уже совершенно иными глазами, и они показались мне на сей раз, как и наш водитель англичанин, какими-то уверенными в себе, степенными.

Мы ехали к центру, и вот уже перед нами Темза. Тихая и спокойная. На набережной я увидел огромное и почему-то знакомое мне здание. Что это? Ах да, парламент! Еще несколько минут, и мы уже на мосту, под нами степенные серые воды Темзы.

В ТЕНИ ВЕСТМИНСТЕРА

(30 декабря 1956 года
— 17 января 1957 года)



Сто двадцать
километров в час



Машина плавно катилась по бетонному шоссе. Позади остался первый серпантин, и юноша выехал на небольшую прямую. Ветер с силой врвался в полуоткрытое окошко.

— Фу ты! Все равно как буря! — в радостном восторге воскликнула девушка.

Юпоша подставил ей лицо и сказал:

— Поцелуй меня!

— Нет, — отстранилась девушка.

— А я хочу.

Она покачала головой.

Юпоша вывернул машину вправо, прижав ее к самому краю дороги, потом вдруг резко взял влево и нажал на педаль газа. От столь неожиданного поворота девушку бросило на него, и она коснулась губами его лица.

Девушка скосила глаза на спидометр и, целуя юношу, прошептала:

— Девяносто... Мой дорогой...

Слева выросла зигзагообразная скала, справа — белое бетонное ограждение, а за ним — пропасть, окутанная сырой ватой тумана, сквозь который местами пробивались верхушки елей. Здесь, наверху, светит солнце, а выше, на самых вершинах, ослепительно сверкает снег и деревья украшены инеем.

— Ах, вот если бы это видела моя мама! — засмеялась девушка, откидываясь на спинку сиденья, так что грудь отчетливо вырисовывалась под тонкой блузкой.

— Что ты posiшься со своей матерью?! — недовольно буркнул юноша,

— Ничего, — быстро проговорила девушка. — Я только представила на миг, какая с ней была бы истерика, если бы она увидела, с какой скоростью мы сейчас мчимся, да еще целуемся при этом.

И она зажала уши ладонью, словно для того, чтобы не слышать истерических криков матери, но тут же рассмеелась.

— Глупые люди наши предки, — подтвердил юноша. — Ничего-то они не могут, топчутся на одном месте да нотации читают. Когда я с отцом куда-нибудь еду, с ума можно сойти. Он не разрешает мне садиться за руль. Сам сидит за баранкой вот так. — И он изобразил, как сидит отец, когда ведет машину. — Даст пемного газу, — юноша нажал на педаль газа, — и тут же сбросит, а тормозит, разумеется, когда надо и не надо.

Копируя движения отца, он осторожно затормозил.

Оба переглянулись и засмеялись. Затем машина снова поехала, и через несколько минут стрелка спидометра уже плясала на цифре «90».

— Живут словно в прошлом столетии, — засмеялась девушка.

— Верно, — кивнул юноша. — Живут и не понимают, что скорость — это и есть настоящая жизнь. Все!

— Я обожаю скорость, — проговорила она и, облокотившись на ветровое стекло, смотрела на мчавшуюся им навстречу дорогу.

Подъехали ко второму серпантину.

Машина пошла на подъем. Ревел мотор, в ушах неприятно покалывало от высоты. Девушка включила радио.

Передавали последние известия, и диктор читал:

«Военно-воздушные силы Британского королевства произвели очередной взрыв атомной бомбы. Испытания прошли успешно...»

— Поймай лучше какую-нибудь музыку! — сердито бросил юноша. — Ничего другого не услышишь, все время одно: тут взорвали, там взорвали...

Девушка начала медленно вращать ручку настройки, но из радиоприемника еще слышалось:

«Положение остается по-прежнему напряженным. Полковник Насер заявил...»

И в этот момент заиграл джаз, медленно и сонно, ему подвывал саксофон. Это было старое танго. Девушка без слов начала подпевать, раскачиваясь в такт.

Выехав на вершину горы, они остановились. Перед ними развернулась величественная картина: крутом спеди горные вершины с разъеденными ветрами верхушками, с обрывами и пятнами снега в углублениях, а внизу, под ними, была долина. Солнце только сейчас начало пробивать туман — все вокруг жило, дышало, искрилось.

— Как мне хочется сбегать вниз! — воскликнула девушка и добавила: — Потом подняться на самую вершину и танцевать, танцевать...

— Голой.

— Брось ты! — рассердилась она. — У тебя только одно на уме.

— А что должно быть еще?

Юноша отпустил тормоз, и они поехали вниз по отлогому склону. Машину на поворотах он вел уверенно и спокойно, едва касаясь рукой баранки, и машина была ему послушна.

Вскоре на склоне горы показался старый английский замок довольно мрачного вида.

— Посмотри-ка! — показала девушка в сторону замка.

— Брр-р! — поежился юноша. — Холодно-то как!

По радио передавали танцевальную музыку, и девушка ногами отбивала такт, поглядывая на спидометр.

— Сто! Сто! — Она взвизгнула от удовольствия.

— Ну что ты теперь про меня скажешь? — сверкнув глазами, спросил юноша.

— Ты очарователен! — прошептала девушка и, быстро наклонившись, поцеловала его руку, лежавшую на баранке.

Поворот сменялся поворотом, машину то и дело бросало из стороны в сторону. Оба кожей чувствовали ужасную скорость. Было страшно.

— Вот это по-нашему! Это дело! — проговорил юноша. — А остальное... — И он скорчил презрительную гримасу.

Девушка оглянулась назад и сказала:

— У меня лично такое ощущение, будто за нами погоня. А тебе не кажется?

Юноша ответил не сразу, он с силой сжимал баранку и то и дело выжимал педаль газа.

— Да, мы бежим, — проговорил он спустя несколько секунд.

— Но от чего?

— А разве не все равно?! — передернул он плечами. — Бежим, и все!

Радио вдруг затрещало, зашумело — проезжали между двумя отвесными скалами.

— Осторожно! — крикнула девушка.

Угрожающе заскрежетали тормоза.

Навстречу им ехал грузовик, в который они чуть-чуть было не врезались. Грузовик тоже остановился. Еще мгновение — и было бы поздно. Погрозив друг другу, оба водителя поехали дальше.

— Ох и испугалась же я! — призналась девушка.

— Глупая! — засмеялся он, а у самого дрожали руки и ноги.

Вскоре они выехали из ущелья. Девушка все еще никак не могла успокоиться, хотя и подпевала радиоприемнику. Юноша сбоку смотрел на нее. Девушка сделала вид, что не замечает этого, и начала подпевать громче:

— Ла-лааа-ааа...

— Дай поцеловать твою грудь! — вдруг хрипло произнес он.

— Нет! — бросила девушка, не переставая петь.

Они миновали виадук. Теперь отвесная стена была у них с правой стороны, а слева — белое бетонное ограждение, а за ним укрытая туманом долина.

Юноша выключил радио.

— Дай поцеловать грудь!

Девушка покачала головой, как бы повторяя слово «нет», а пальцы ее между тем уже теребили пуговичку на блузке.

Они выехали на прямой участок шоссе и мчались с большой скоростью.

— Я хочу, — упорствовал юноша.

Она посмотрела на стрелку спидометра и стала медленно расстегивать блузку.

Юноша припал губами к ее груди.

— Сто двадцать, — прошептала девушка, опьяненная скоростью.

Что-то треснуло.

Юноша поднял голову. О ветровое стекло ударился жук, шевеля своими клешнями.

— Бедняжка, — мечтательно произнесла она.

Вытянув руку из окна, юноша сбил жука щелчком.

В долине они остановились перед буфетом.

— Что ты будешь пить? — спросил он.

— В полдень пить? — удивилась девушка. — Чашку чая.

— Ах да, конечно.

Они вошли в буфет. Потом снова мчались дальше, чтобы к шести часам поспеть в Лондон на ужин.

Останься!

Будучи в Англии, я не искал встреч с венгерскими эмигрантами, но судьба все же невольно сталкивала меня с ними. Были среди них люди, которые замкнулись в себе и старались молчать, поглядывая на нас с опаской и недоверием, однако большинство эмигрантов оказалось людьми очень душевными и общительными. Они много говорили, много рассказывали. Ведь мы скоро уезжаем на родину, и им было очень приятно поговорить с нами.

Спрашивать их ни о чем не приходилось — они рассказывали сами, не скрывая причин своего бегства за границу. Сначала они все, как правило, приводили какие-то затасканные до противности доводы. Но постепенно из рассказа всплывала истинная причина. Они рассказывали о таком отрывке своей жизни, о котором, будь они у себя на родине, словом бы не обмолвились и от самих себя старались бы скрыть, но здесь, на чужбине, — совсем другое дело.

Судьбы этих людей ужасны. Я расскажу лишь об одном из них. Это молодой человек, по профессии рабочий. В октябре пятьдесят шестого года он не бродил по улицам Будапешта с автоматом на груди, не принимал ни малейшего участия в контрреволюционном мятеже, и все же он здесь. За кордон он попал, подгоняемый событием, о котором как-то и не подумал, но забыть которое не мог до сих пор, да никогда и не забудет.

Молодой человек бежал от самого себя. А разве это возможно? Человек не смог заглянуть в свою душу, не смог разобраться в самом себе, он мучается не только тем, что было, но даже и тем, чего не было. Трусость насквозь разъедает его душу.

И вот сейчас я расскажу вам историю этого молодого человека, расскажу так, как я ее запомнил.

Молодой человек пододвинул рюмку бармену и сказал:

— Еще одну!

— А не много ли будет? — удивился бармен.

— Вам или мне?! — огрызнулся парень.

— Хорошо, я палью, — проговорил бармен, наливая в рюмку пятьдесят граммов рому. — Но сначала пробейте чек.

Парень пошел к кассе. Кассирша недовольно покачала головой, повязанной платком, но ничего не сказала. Пробив чек, она подала его парню, напомнив:

— Это уже четвертая.

— Ну и что?

— Вы же в прошлый раз обещали Ице не пить больше. — Кассирша посмотрела на парня поверх очков.

— Мало ли чего не наобещает человек, — пробормотал парень и, подойдя к стойке, выпил рюмку одним глотком.

— Так, так, — закивал головой пьяный мужчина, стоявший рядом. В этой пивнушке все звали его Доди, а его настоящего имени никто не знал.

— Пошел прочь! — бросил ему парень, приподнимая рукой картуз, чтобы почесать затылок.

Доди беззвучно засмеялся.

— Нечего тебе гоготать надо мной!

Но Доди лишь покачал головой.

— Слышишь, что я говорю?! — И парень развернулся, чтобы ударить пьяницу.

— Хе, хе... Зря ты нос задираешь, — сплюнул тот на пол. — Рано или поздно и ты докатишься... как я.

— Как ты? — выкрикнул с возмущением парень и ударил по мокрой от пива стойке.

— Тихо, тихо! — грозно бросил им бармен, вытирая тряпкой стойку.

В этот момент дверь пивнушки отворилась, вошла девушка. Ее черные волосы были растрепаны ветром, от нее сильно пахло дешевым одеколоном.

— Ну как дела? — спросила она бармена, подходя к стойке.

— Так себе.

И тут только заметила парня. Подошла к нему и, взяв в ладони его худое небритое лицо, нежно сказала:

— Дюрика!

Бармен махнул рукой и занялся мытьем посуды под фыркающим краном.

— Хорошо, хорошо, — тихо пробормотал парень.

Доди продолжал стоять рядом с ними. С безобразной улыбкой на лице он смотрел на худой зад девушки.

— Мой красивый... Мой дорогой... — шептала она, ухватившись за плечи парня, целуя его в щеку и худую шею. — От тебя пахнет нефтью... я чувствую... — Девушка повела носом и радостно воскликнула: — Ты работал! Ты снова нашел работу!

Парень ничего не ответил, но по всему его виду было заметно, что он действительно работал.

— За это нужно выпить! — Девушка подбежала к кассе.

— Лучше не надо, — посоветовала кассирша, завязывая платок под подбородком. — Он уже четыре рюмки выпил.

От ее восторженности не осталось и следа.

— Уже? — спросила девушка, подходя к парню.

— Это мое дело, пить или не пить. — И он толкнул ее худым локтем: — Иди заплати!

Девушка пробила чек. Они чокнулись и выпили, после чего оба устали на серую жесть, которой была обита стойка.

Народу в пивнушке было мало, как всегда в это время. Но под низким, загаженным мухами потолком плавали густые клубы табачного дыма. У окна стояли два крестьянина и, раскачивая стаканами с вином, пели:

...Молодая моя мама,
Знай, что я тебя люблю...

— Брось ты его! — шепнул Доди на ухо девушке. — Пошли лучше со мной. — И он шлепнул ее по задку. — Я тебя...

Рука девушки с треском опустилась на щеку пьяницы.

— Вот тебе мой поцелуй, Доди!

— Хорошо, что ты распрощалась со своими зубами раньше, а то бы пришлось тебе это сделать сейчас.

Стоявшие рядом мужчины засмеялись.

— На, пей, — протянул пьянице свой недопитый стакан молодой человек в кожанке. — Утешься!

Однако, когда Доди хотел схватить недопитый стакан, мужчина в кожанке резким движением отодвинул стакан назад. Доди по инерции ткнулся лысой головой в угол стойки и застонал.

Все громко захохотали, забили ладонями по ляжкам.

— Ну чего заржали?! — сердито сказала девушка, поднимая Доди с усеянного окурками и залитого пивом бетонного пола. — Хуже диких зверей!

Но молодые камеищики, получившие получку, совсем разошлись.

— Ты ведь и кое-что другое можешь, не так ли? — ехидно бросил девушке молодой человек в кожанке, нагло оглядывая ее и раздевая взглядом. Сунув руку в карман, он погремел мелочью.

— Ты это мне, да?! — завизжала девушка.

— А ну убирайся отсюда! — повернулся к нахалу парень, опершись спиной о стойку.

Мужчина в кожанке, не вынимая руки из кармана, подошел к нему:

— А тебя кто здесь спрашивает?

— Нет, нет! — встала между ними девушка. Затем, взяв парня под руку, она почти силой вытолкнула его на улицу.

Парень опомнился, только оказавшись перед пивнушкой, стоя на краю тротуара.

— Уйди! — бросил он девушке. — Я ему покажу!

— Нет, нет, нет! — вцепилась она в него. — Тебе сейчас нельзя драться.

— Что хочу, то и делаю!

— Дюрика, дорогой! — девушка схватила худые плечи парня. — Остайся!

Он сразу как-то обмяк, оглядел узкую улочку, словно искал кого-то. На противоположной стороне какой-то парень, присев на корточки, возился у мотоцикла. В руках у него был разводной ключ, парень пыхтел и ругался.

— Не могу я, — сказал Дюрика.

— Нужно захотеть! Понимаешь? Захотеть! — трясла его девушка. — Ты еще молод, алкоголь еще не съел твою душу. У тебя золотые руки! Надо только пересилить себя.

Парень чувствовал на своем локте цепкие тонкие пальцы девушки. Ему хотелось заплакать, закричать.

— Поздно! — вырвалось у него из груди. — Смотри. — И он протянул свои руки с судорожно вдрагивающими пальцами. — Я уже никогда больше не буду механиком.

Девушка схватила руки парня и по-детски прижала их к своему лицу.

— Продержись только один месяц! Только один-единственный месяц! Вот увидишь, ты отвыкнешь!

— Никогда. Я уже погиб.

— Нет, не погиб. Я верю в тебя.

Они медленно пошли по выложенной булыжником дороге. Когда дошли до угла улицы, парню, возившемуся со своим мотоциклом, наконец удалось завести его, и он промчался мимо. Потом настала тишина. Октябрьская тишина легла на деревья с уже редкой листвой, и лишь из-за домов, где проходил большой проспект, доносился шум и гул.

Они остановились под акацией.

— Я не могу... напрасно... не могу... — бормотал он.

— Нужно!

— Ты тоже не можешь... — Парень умоляющим взглядом посмотрел на девушку. — Когда я работал, за моей спиной стояли другие рабочие, наблюдали, как я мучился, как держал в руках инструмент, и смеялись, смеялись надо мной...

— Ну и что!

— Надо мной, который уже два года... Ах! — И он оттолкнул от себя девушку.

— Ну так чего ты хочешь?

Парень не ответил. Пальцами он вынимал из велосипедной цепи упавший на них засохший лист акации.

— Хочешь опуститься, как Доди?! Или... или...

Из какого-то окна раздался звук пианино. Играли «Медвежий танец».

— Посмотри на меня! — воскликнула девушка и, раскинув в стороны руки, показала свое больное, изможденное тело.

— Я слаб... слаб... — Юноша затряс головой.

Она снова прильнула к нему, тихо и ласково сказала:

— Жениться тебе нужно! Жена, семья помогут тебе, спасут тебя.

Парень обнял девушку, уткнулся лицом в ее волосы

и начал горячо целовать ее голову, глаза с темными кругами, обкусанные губы.

— Ты... мне нужна, ты!

— Я?! — с тревогой оттолкнула она его.

— Ты! Ты!

— Ты же знаешь, какая я?! — воскликнула девушка.

— Все равно!

— Нет! Нет! Оставь!

И девушка побежала прочь, смеясь, словно помешанная, задыхаясь от этого глупого смеха. Узенькая улочка поглотила ее, однако издалека она слышала звуки пианино и, как ей казалось, чьи-то рыдания.

Между дверью и стойкой бара

Американец стоял спиной к вращающейся двери, англичанин — к стойке бара. Их правые руки были сцеплены в тугой замок, и каждый, папргая все свои силы, старался сдвинуть соперника с места и перетянуть его на свою сторону. Ставка была крупной — девушка.

Имени этой девушки никто не знал. Все называли ее мамзель, она была французенка, когда-то прибыла на берега Темзы из Марселя и появилась здесь, в этой матросской пивнушке. Она стояла боком, облокотившись об угол высокой, отполированной руками до глянца стойки бара. На ней был зеленый вязаный свитер, под которым вздымалась высокая грудь.

— Ставлю десять против одного за американца! — выкрикнул крижистый, невысокого роста итальянец, позвякивая пустыми бокалами, стоявшими на столике. На его смуглом лице блестили крупные капли пота, хотя в пивнушке вовсе не было жарко.

Высокий худощавый бармен — наверное, все его предки служили камердинерами, потому что плечи у него постоянно были угодливо поданы вперед, — подошел к столику, за которым сидел итальянец, и, не говоря ни слова, забрал пустые бокалы.

— Спорим, — бросил от двери швед итальянцу, попыхивая трубкой. Сквозь облачко ароматного табачного

дыма он внимательно наблюдал за американцем и англичанином.

Девушка отбросила назад прядь черных волос и рассмеллась. Губы ее были покрашены кроваво-красной помадой, которая шла ей, хотя местами и была уже съедена. У девушки были белые как снег зубы.

— А вы разве не спорите? — спросила она у немца, который сидел неподалеку на высоком стульчике. На немце была безукоризненно выглаженная темно-синяя матроска.

— Глупое дело этот спор, — ответил он, сдвинув рыжие брови. — Ничего хорошего в этом нет. — И он поднес фотоаппарат к глазам. Цветом фиалки блеснул объектив, вспыхнул магни́й, щелкнул экспонометр.

Американец был молод, атлетически сложен. Он снял с себя куртку и рубашку, и теперь его натренированные мускулы ярко белели в падающем на него снопе электрического света. Англичанин был суховат, полосатая тельняшка висела на нем мешком, и лишь местами ее натягивали бицепсы. Руки у него были по-юношески худые и сильно загорелые.

— Святая мадонна, какой мужчина! — восхищался вслух итальянец, не спуская восторженных глаз с американца. И тут же начал подбадривать его: — Темпо! Ами, темпо! Покажи ему! — И забарабанил своими короткими пальцами по столу.

Немец сфотографировал и итальянца, как раз в тот самый момент, когда он закричал, широко разинув рот.

— Знаете, а вы мне нравитесь! — блеснула глазами в сторону немца девушка.

Немец взглянул на нее и закусил тонкую нижнюю губу. Потом жестом подозвал к себе бармена, бросил ему три слова:

— Один джин мамзель.

— А вам, господин? — церемонно наклонился над немцем длинный бармен.

Тот затряс головой, показывая, что пить не будет.

Американец нападал. Неожиданно он с силой дернул англичанина на себя, тот зашатался, подался корпусом вперед, но все же с места не сошел. Однако американец продолжал наступать, быстро и последовательно. Англичанин попыток нападения не предпринимал. Он даже не

пытался восстановить положение, оставаясь в той позиции, какую занял под натиском американца.

Настроение у присутствующих поднялось, страсти разгорались. И только один швед, стоявший возле вращающейся двери, оставался невозмутимо спокойным, переступая время от времени с ноги на ногу. Его холодные голубые глаза были скрыты дымом трубки, а длинные руки сложены на груди.

— Так его, Ами, так! — восторженно выкрикивал коренастый итальянец. — Тащи его, тащи! — И, повернувшись к шведу, заметил: — Плакали ваши денюжки, господин, хе-хе-хе! — И, довольный, потер руки.

— Я спорю, — коротко бросил швед, переместив трубку из правого угла рта в левый.

Девушка подняла бокал, глядя на немца. Вскинув вверх свои черные как смоль брови и немного наклонив голову, она вдруг одним глотком выпила джину. Поставив пустой бокал на обитую красной медью стойку, оправила зеленый свитер, который пополз кверху, пока она пила.

— За кого вы ставите? — спросила она немца, кивнув головой сначала в сторону американца, затем англичанина.

Немец опустил фотоаппарат, поправил воротник матроски и только после этого ответил:

— За того, кто вам больше нравится. — Он улыбнулся с легкой иронией, но вовсе не оскорбительно.

— За того? — Грудь девушки колыхнулась.

Немец не ответил, а лишь кивнул, не отводя внимательного взгляда от девушки, которая снова оперлась об угол стойки, перебирая быстрыми пальцами с длинными ногтями коротко стриженные черные волосы, спадавшие ей на лоб.

— Ну еще немножко, Ами! Еще чуточку! — вскочил из-за стола маленький итальянец. — Не жалей сил! Долго он уже не выдержит.

Американца не стоило подбадривать, так как он и без того нападал. Под белой жирной кожей ходуном ходили огромные мускулы. Но англичанин не уступал. Худое лицо его временами казалось то очень старым, то совсем молодым. Он стоял, слегка подавшись корпусом вперед и с шумом вбирая в себя воздух, неподвижным взглядом смотрел на тяжело дышавшего противника.

— Половина выигрыша твоя, Ами, половина — моя! — прокричал итальянец, быстрыми движениями вытирая пот со смуглого лица. — Десять к одному! Не забудь, десять к одному! Большие деньги! Большие!

Девушка победно расхохоталась, зубы ее ослепительно блестели.

— Чего гогочешь? — набросился на нее итальянец. — Неужели тебе будет лучше с этим старым сухарем?! — И он ткнул своим коротким пальцем в сторону англичанина.

— А чем твой жирный ляки лучше? Чем, скажи!

— Святая мадонна! — Итальянец возвел глаза к небу. — И ты спрашиваешь! Разве ты не видишь?! Ведь это же мужчина! Настоящий мужчина!

— В каком смысле, дружище? — проговорила девушка, скривив губы с полусъеденной помадой. — В каком смысле?

— Что значит «в каком смысле»?

— Беги спроси у калифорнийских девиц. — И, повернувшись к немцу, спросила: — Не так ли?

Немец сдвинул рыжие брови и беззвучно рассмеялся. Проведя своей длинной ладонью по гладко зачесанным светлым волосам, он сфотографировал шведа, который как раз сунул трубку в правый угол рта, выпустив при этом большое облако ароматного табачного дыма.

На миг американец остановился, и в ту же секунду зашевелился англичанин. Медленно он начал тянуть противника на себя. По лицу американца пробежал испуг, и он снова начал рвать англичанина на себя, а тот вновь замер на одном месте.

Долговязый бармен поставил на столик итальянца большой бокал martinini со льдом. Сделал он это молча, с глубоким поклоном. Итальянец сначала на миг оцепенел, затем мешком шлепнулся на свой стул и начал пить martinini, делая шумные глотки.

В руках немца снова мелькнула магниевая вспышка, щелкнул экспонометр: на сей раз в кадр попал итальянец, жадно пьющий martinini.

— Не поддавайся, Ами! Не поддавайся! — вытерев рукой мокрый лоб, закричал итальянец. — Наступай на него! Наступай!

Немец тем временем защелкнул футляр фотоаппарата. Поправив латунную пуговицу с изображенным на

ней орлом на воротнике матроски, он посмотрел на девушку и спросил:

— Ну, чья ты станешь?

— Того, кто мне нравится.

— Точно?

— Точно, — кивнула девушка, блеснув темными глазами.

Когда американец на мгновение остановился, сухопарый англичанин снова потянул его на себя и постепенно, не торопясь, тянул до тех пор, пока не коснулся спиной стойки бара. И только тогда выпустил руку американца из своей. Янки закачался, и его большое откормленное тело глухо упало на пол.

— Святая мадонна! Мои деньги! Мои деньги! — запричитал маленький итальянец и в смятении хватил бокалом об пол. — Проиграл! Проиграл!

Долговязый бармен с согнутыми плечами камердинера вышел из-за стойки и начал собирать осколки стекла. Он и на этот раз не произнес ни звука, а только посмотрел на вспотевшего итальянца, который глубоко вздыхал и ругался на чем свет стоит.

Швед со скрещенными на груди руками продолжал стоять возле двери. Затем, не вынимая трубки из рта, бросил:

— Плати! — И скользнул холодными голубыми глазами по фигуре итальянца.

— И заплачу! — со злостью выкрикнул итальянец. — Сейчас же заплачу! Не бойтесь, заплачу все сполна! — И он стал вытаскивать из кармана грязные измятые банкноты. — Вот, бери! — Он бросил деньги на стол. Затем, быстро вскочив со стула, подбежал ко все еще лежавшему на полу американцу. — Ну и свинья же ты! — И со злости с силой пнул его ногой.

На белом упитанном теле янки запламенел след от ботинка итальянца.

Англичанин огляделся и удивленно спросил:

— А где же девушка?

Но мамзели из Марселя и след простыл. Вместе с ней исчез и немец в безукоризненно отутюженной матроске.

Англичанин стоял перед стойкой бара в своем полосатом трико, которое висело на нем как на вешалке, стоял, опустив руки, с сумрачным выражением лица.

Швед вынул трубку изо рта и сказал:

— Они пошли туда. — Мундштуком трубки он ткнул в угол.

Тяжелая бархатная портьера вишневого цвета, за которой скрывался запасной выход, все еще колыбалась.

Ritournelle

Париж! О Париж! Моя мечта! Сколько раз я украдкой мечтал о тебе, и вот я наконец на Елисейских полях.

О Париж! Как ты похож на милую сердцу чуть неряшливую женщину, которая под изящным тюлевым платьем носит фланелевую нижнюю юбку и застегивается булавкой вместо оторвавшейся пуговицы. Как хорош твой беспорядок, как мила твоя непосредственность!

О Париж! Как ты умеешь смеяться! Смеяться надо всем на свете, в том числе и над самим собой. Тебя любят ветры и воды, но ты только посмеиваешься над ними, обнажая свою грудь.

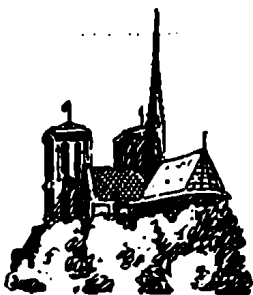
О Париж! В то же самое время ты умеешь быть серьезным и строгим. Строгим, как... Венера Милосская, которая прекрасно понимает, что показывает свою пленительную женственность всем народам и всем эпохам.

О Париж! Скольким венгерским пришельцам ты оказывал в своей милости! Бачани, Мункачи, Ади, Аттила Йожеф, голодные и холодные, бродили по твоим серым мостовым, а ты легкомысленно высмеивал их.

О Париж! Любимец всей Европы.

ГОРОД ГОРОДОВ

(18—29 января 1957 года)



Девушка и плеть

— За тобой никогда не ухаживали парни?
— Почему ты спрашиваешь? А за тобой разве ухаживали?!

Жанетта села на кровати и испытующим взглядом заглянула в голубые глаза подруги.

— Нет, нет, — поспешно ответила Габриэлла, отводя взгляд от горящих черных глаз подруги и уставившись в испещренный паутиной трещин потолок.

— Точно?! — с угрозой в голосе спросила подруга и вцепилась руками в белокурые волосы Габриэллы.

— Нет, нет.

— Смотри! — встряхнула она девушку.

Габриэлла не смела посмотреть подруге в глаза. Прикрыв бледные веки с белесыми ресницами, она, заикаясь, прошептала:

— Один раз... еще в детстве.

Смуглое тело Жанетты напряглось.

— Расскажи! Что тогда было?

— Ничего... абсолютно ничего... — простонала девушка, еще глубже пряча под одеялом свое чуть-чуть полное, слегка пахнущее потом тело.

— Он тебя целовал?

— Да-а.

— Сколько раз?

Габриэлла повела обнаженными плечиками.

— Не знаю... Я не считала.

— Ух ты! — взвизгнула Жанетта и спросила: — И ты его целовала?

Белокурая девушка не ответила и еще глубже залезла под одеяло.

— Рассказывай, а то задую! — подскочила к ней Жанетта. И, сев на нее верхом, вцепилась в волосы. — Ну, говори! — Взгляд ее впился в тяжело дышавшую Габриэллу.

— Тогда я еще не жила у тебя, — пыталась уйти от прямого ответа девушка.

— Все равно! — трясла ее за волосы подруга.

— Я была еще совсем ребенком... и не умела целоваться... — испуганно простонала девушка. — Это ты научила меня целоваться.

Жанетта ничего не сказала и, отпустив подругу, вернулась на свое место. «Маленькая распутница!» — подумала она.

— Если ты когда-нибудь осмелишься... — начала было Жанетта, но так и не кончила фразу, показав рукой в сторону зеркала. — Видишь, что там висит?!

— Угу, — кивнула Габриэлла, оцепенев от ужаса. На стене, словно какое-то украшение, висела толстая плетка.

Тишина стояла такая глубокая, какая бывает только высоко в горах на берегу озера, поверхность которого ничто не может возмутить, и если закричать вдруг, то эхо отзовется откуда-то из глубины этого озера.

Юноша осторожно вытащил руку из-под головы любимой, пригладил волосы и сполз с помятой подушки. Уловив это движение, девушка испугалась и по-детски взмолилась:

— Не оставляй меня здесь! Я боюсь.

Лицо ее, только что казавшееся состарившимся лет на десять, вновь стало красивым.

— Чего ты боишься? — посмотрел на нее юноша, похлопав по голой руке.

«Что будет, если я ему сейчас расскажу об угрозе подруги?» — спросила она себя и несмело заглянула в его зеленые глаза, по через мгновение уже пугливо отвела свой взгляд, решив, что ни за что на свете не скажет ему об этом...

— Я видела плохой сон, — нетвердым голосом выговорила она, глядя спящее тело юноши.

— Что тебе приснилось?

— Приснилось, что... Что же именно? — Она соображала, что бы ему соврать, и наконец выпалила. — Мне приснилось, что нас избили.

Юноша громко рассмеялся.

— Да, да, — подтвердила она, — избили плеткой.

— За что?

— За что? — неуверенно повторила за ним девушка, не зная, что еще сказать. Хорошо было бы во всем признаться, но она не смела даже вздохнуть и начала что-то плести о какой-то старухе.

— Глупышка ты, — отмахнулся юноша, собираясь встать с постели.

Девушка на миг удержала его:

— Скажи, а если бы меня били... ты бы защитил меня, а?

В отчаянии она ухватила за юношу и умоляющим взглядом смотрела на него.

Он помрачнел и, оттолкнув от себя ее руку, пошел одеваться, бросив на ходу:

— Какие глупости приходят тебе в голову! Я тороплюсь, мне пора идти.

Потом он пошел в ванную и, плеснув себе в лицо несколько пригоршней холодной воды, вышел оттуда снова в хорошем расположении духа, насвистывая куплеты из «Мамбо». Войдя в спальню, он весело поцеловал девушку и пошел к двери, но вдруг остановился и сказал:

— Вечером я позвоню тебе, хорошо?

Девушка кивнула ему, а когда замок за ним защелкнулся, уткнулась головой в подушку и громко заплакала. Страх остановил поток слез. «А вдруг Жанетта вернется сегодня рано?..» — подумала она и начала судорожно одеваться. Длинные острые ногти зацепились за бретельку комбинации, оборвав ее. С полуобнаженной грудью она стала искать иголку и нитку, но не находила ни того, ни другого. Побежала в ванную в надежде найти их там.

В этот момент в квартиру вошла Жанетта. Вошла беззвучно, словно крадущаяся львица, так что Габриэлла даже не заметила этого. Увидела она ее только тогда, когда со слезами на глазах снова вернулась в комнату. Габриэлла вскрикнула.

— Что случилось? — удивилась черноволосая Жанетта.

Не обращая внимания на порванную бретельку, Габриэлла начала набрасывать на себя одежду, объясняя, что она очень перепугалась... что ей нужно спешить, так как... Но объяснить, почему ей нужно спешить, она так и не смогла.

Жанетта подошла к разобранной кровати. И замерла на месте. Черные глаза стали узкими, словно щелочки. В этот момент она была похожа на дочь египетского фараона, какими их изображают на надгробных плитах: недоступной и холодной.

— Кто здесь был? — тихо спросила она.

— Ни-и-кого... — ответила девушка, никак не попадая дрожащей рукой в рукав пальто.

— Ты врешь!

— Да и... кто тут мог быть?! — Габриэлла пыталась улыбаться, а сама тем временем шла к двери.

— А это что такое? — показала Жанетта на подушку.

— Я немного заснула.

— Да-а-а?! — взвизгнула Жанетта, сняв с подушки короткий каштаповый волос. — А это что такое?!

Габриэлла уже ухватилась влажной от пота рукой за дверь, но еще не осмеливалась выйти.

— Волос... волос, — покорно пролепетала она.

— Я вижу это, идиотка, и без тебя! Но чей это волос?!

Белокурая девушка молчала, плотно сжав большие пухлые губы.

— Я тебя спрашиваю, чей это волос?!

Тишина.

Жанетта подбежала к зеркалу и схватила висевшую на гвозде плетку.

— Здесь был мужчина?

Габриэлла пагнула голову, словно желая этим спастись от удара. И тут же выскочила за дверь, крикнув на ходу:

— Да! Чтоб ты сдохла!

Закрыв дверь на ключ с противоположной стороны, белокурая девушка разразилась истерическим смехом.

Недалеко от Триумфальной арки девушка встретилась со своим возлюбленным. Он был любезен с ней и взял ее под руку. Время от времени они останавливались и целовались.

В этот момент и настиг их первый удар. Он пришелся по голове светловолосой девушки, но плеть успела слегка задеть и лицо юноши.

— Ах ты шлюха!

Снова просвистела плеть.

— Шляешься с желторотым мальчишкой!

Снова плеть опустилась на голову Габриэллы.

Жанетта тяжело дышала, но наносила один удар за другим.

Девушка и юноша словно оцепенели и даже не пытались защищаться. Через минуту их окружили прохожие, которые схватили озверевшую Жанетту и куда-то увели.

Когда юноша опомнился, он рукавом стер со своего лица кровь; посмотрев в искаженное ужасом лицо Габриэллы, сплюнул на тротуар и, не сказав ни слова, пошел прочь.

Девушка осталась одна. Волосы ее были растрепаны, через всю щеку шел толстый багряный рубец. Шатаясь, словно пьяная, она дошла до ворот ближайшего дома и остановилась, ухватившись руками за гипсового Атласа.

У меня и по сей день стоит в ушах ее душераздирающий плач.

Странный диалог

После нескольких пасмурных дней наконец выдался ясный день с чистым голубым небом. Со стороны дворца Тюильри через Елисейские поля доносилось холодное дыхание леса в Фонтенбло. Под ногами похрустывал свежий ледок, отсвечивавший на солнце.

В то время я не знал покоя ни днем, ни ночью. Оторванный длительное время от родины, я ничего не знал о том, что там творилось, и поэтому мысленно все время думал о доме.

Моем собеседником был один американский журналист, хотя, откровенно говоря, я далеко не уверен в том, что он на самом деле был тем, за кого себя выдавал. В Париже с такими явлениями встречаешься на каждом шагу.

Мы зашли в одно небольшое кафе на Елисейских полях, привлеченные леоновой вывеской, которая уже засветилась. Не без труда отыскивали свободный столик.

В Хельсинки и Лондоне такие заведения, как правило, полупусты, здесь же, как и у нас в Будапеште, они битком набиты посетителями. Желторотые юнцы, старые гетеры, охотящиеся за молодыми парнями, молодежькие девушки, чипные англичане, шумные американцы и живые разговорчивые французы — вот завсегдатаи этих заведений.

Мы заказали себе по бокалу джина. Американец пил перазбавленный джин, мы с переводчицей разбавляли напиток содовой. Сначала разговор никак не клеился, но постепенно алкоголь развязал языки. Собственно, говорил большей частью американец, который оказался из числа тех людей, которые в спорах слова не дают сказать своему собеседнику.

Разумеется, разговор сразу же пошел о венгерских контрреволюционных событиях осени пятьдесят шестого года. Сначала он сам начал мне объяснять ситуацию и лишь после этого поинтересовался моим мнением. Я внимательно слушал американца. В начале своего разглагольствования он не сказал ничего нового, что бы удивило меня, просто-напросто повторял те многочисленные сплетни, которыми в то время были забиты почти все западные буржуазные газеты.

Вдруг где-то в середине разговора американец выпалил такую фразу:

— Венгерская революция (он так и назвал контрреволюционный путч) даст нам многое в том случае, если она потерпит поражение.

«Что это? Самоуспокоение или самый обычный цинизм?» Я внимательно вглядывался в длинное худое лицо моего собеседника. Его пепельно-голубые глаза были холодны, вокруг рта залегла насмешливая, по отнюдь не оскорбительная улыбка.

— Дело в том, что вся эта венгерская катастрофа, — продолжал свою мысль американец, — свалится целиком на шею Советского Союза. Что, собственно говоря, происходит сейчас в Венгрии? Повсюду забастовки и волнения, производство стоит, жизнь как бы остановилась...

— Ничто не бывает вечно, — перебил я его. — Забастовки кончатся, законы производства сильнее застоя, а жизнь всегда есть жизнь: она на месте не стоит.

— Хорошо, хорошо. Только не спешите! Для того чтобы производство давало прибыль, потребуется много

времени. На одних убытках и коммунисты далеко не уедут и долго не проживут. Вот помяните мое слово: через полгода, самое большее, вам не миновать экономического кризиса.

— На вашем месте я не делал бы столь скоропалительных выводов,— заметил я своему собеседнику.

— Знаю я, о чем вы подумали,— рассмеялся американец.— Разумеется, насколько я знаю русских, они не бросят вас на произвол судьбы, ведь вы находитесь в центре Европы, у всех на виду. Разве они могут допустить, чтобы Венгрия, находящаяся по соседству с развивающейся Австрией, оказалась в состоянии кризиса? Напротив! Русские будут без конца давать вам займы, будут постоянно оказывать всяческую помощь.

— Это неплохо, не так ли?

— Для вас да, но не для них.— После небольшой паузы американец продолжал: — Сударь, Венгрия является раной на теле Советского Союза, и для нас очень важно, чтобы эта рана была как можно глубже и зажила как можно дольше. Именно поэтому мы не оказываем вам никакой помощи — ни займами, ни товарами. Мы не дураки, чтобы помогать вам поскорее залечить раны, мы в этом не заинтересованы.— И он энергично затряс головой.— Нет, сударь, политика не допускает никаких сентиментальностей!

Американец громко отхлебнул из бокала. Я смотрел, как ходит его кадык под бордовым галстуком-бабочкой.

Темнота между тем все ниже опускалась на землю, на улицах загорались неоновые огни реклам.

— На свете кроме всего прочего еще существует и гуманизм,— тихо, не поднимая глаз от стола, проговорил я, боясь повредить беседе.

— Пожалуйста,— перебил меня американец,— американский народ шлет вам подарки.

— Это верно, но мы говорим здесь не о подарках.

— А о чем же?

— О ране! О ране, сударь.

— Что вы хотите этим сказать?

— Постарайтесь хоть на минутку представить себя на моем месте. Что бы тогда вы, венгр, представитель десятимиллионного населения Венгрии, могли сказать мне относительно этой концепции, которая всех нас, в том числе и меня, на долгое время ставит в положение раны?

— Вы не так меня попиали! — загремел вдруг американец.

— Вы так выразились, разве нет?

— Так-то так, — первно похлопывая рукой по столу, проговорил мой собеседник. — Но вы, венгры, так наивны. Вы смелы, добры, — он натянуто улыбнулся, — но вы похожи на больших детей. Вы полагаете, что весь огромный мир крутится вокруг вас, а на самом деле это далеко не так. — Американец сделал ударение на последних словах. — Ваша судьба вовсе не самое главное.

— А что же?

— Судьба всего цивилизованного человечества.

— И ради этого нам нужно быть раной? Этого от нас хочет ваше цивилизованное человечество? — спросил я, видя, как мои слова, словно нож, режут американца.

Немного помолчав, мой собеседник начал объяснять:

— До сих пор мы навязывали Советам гонку вооружений и тем самым толкали их навстречу экономическому кризису. Они это выдержали. Теперь в наших руках оказались клещи, в которых мы крепко держим Венгрию. — Американец поднял вверх кулак. — Стоит только сделать внешний и внутренний нажим, и клещи раздавят ее.

Я лишился дара речи. Нечеловеческая жестокость и безграничная ненависть американца на миг парализовали меня. Пришлось сделать несколько глотков из бокала, и лишь смочив холодным джином горло, я смог говорить снова.

— То, чего хотите вы, американцы, — начал я, — это ваше дело, за которое, однако, вы и несете ответственность, а мы, венгры, будем делать то, что нужно нам, и будем поступать так, как считаем правильным. Я не коммунист, но безо всяких колебаний заявляю, что мы не хотим быть ни арийцами, ни этой вашей раной.

— А чего же вы хотите?

— Мы хотим оставаться самими собой. Хотим жить своей жизнью и не за счет того или иного народа, а ради интересов всего человечества. А ваше цивилизованное человечество, если оно на самом деле цивилизованное, не может от нас требовать ничего другого.

— Понятно, — задумчиво кивнул американец. — Я вас попиал и не спорю. Но разрешите спросить вас кое о чем?

— Пожалуйста.

— Что может означать этот ваш принцип лично для вас, для вашей жизни?

— То, что я буду жить по-венгерски.

— То есть в Венгрии?

— А разве венгру можно жить еще где-то?

Американец ответил не сразу.

— А как же Барток?

— Вы помните его «Концерто», которое он написал там у вас, вдали от родины?

— Помню.

— Помните «Элегию» в третьей части?

— Да.

— Тогда вы должны были понять, — я посмотрел в холодные пепельно-голубые глаза собеседника, — что венгру на чужбине очень плохо.

Американец встретил мой взгляд, но не ответил.

— Но это только одна сторона дела, — продолжал я уже более хладнокровно. — У человека кроме всего прочего бывает еще убеждение относительно того, в каких именно условиях он может жить по-человечески.

Американец ехидно рассмеялся.

— Уж не хотите ли вы этим сказать, что у вас жизнь лучше, чем у нас?

— Терпение, сударь, терпение. Все это не так просто.

Американец широко развел руки в стороны.

— Но посмотрите вокруг! — И он показал в сторону громадного окна. — Посмотрите, какое кругом богатство!

По улицам мчались мириады автомобилей, доносились звуки джаза, пахло духами.

— Не отрицаю, живут здесь неплохо, — ответил я. — Есть над чем задуматься, есть чему поучиться. — Я стукнул доньшком бокала о стол: — Но это еще не все.

— Верно, — согласился со мной американец.

— Сытая жизнь, материальное благополучие нужно, очень даже нужно. Но если в погоне за этим человек забывает обо всем другом, значит, он опасно болен. Эта болезнь вроде проказы или чумы, она поражает не поверхность кожи, а разъедает внутренние органы.

— Ну вот, из вас так и лезет член партии, — скривил рот американец.

— Это говорит во мне не членство в партии, а убеждение. Я уже сказал вам, что я беспартийный, как сказал и то, что у меня есть свои убеждения, свое кредо.

— Да?

— Да. В атмосфере противоречий двадцатого столетия искупление страждущему человечеству может принести только общество.

— Какая наивность! — Американец затряс своей продолговатой головой. Добродушная усмешка сменилась злой, ехидной. — Вы, кажется, являетесь одним из секретарей Союза венгерских писателей, не так ли?

— Да.

— Сюда вместе со своим другом вы прибыли по поручению Союза писателей?

— Вы прекрасно информированы.

— Вы, очевидно, читали в газетах о том, что Союз венгерских писателей распущен, а семеро писателей арестованы?

— Да, читал.

— Ну вот видите! — стукнул он рукой по столу.

Бокалы, стоявшие на столе, звякнули, а бутылка с содовой опрокинулась, остатки воды вылились на стеклянную поверхность стола. Переводчица поспешно начала вытирать воду носовым платком, так как струйка воды текла как раз на нее. Американец попросил извинения и вежливо улыбнулся, однако скрыть замешательство и злость не смог. От его превосходства не осталось и следа, и разговор пошел уже по совершенно другому руслу.

— Значит, вы теперь помчитесь к себе на родину, так как хотите жить в этом своем «коллективном обществе»?

— Да.

— Вы же будете жить, — собеседник холодно взглянул на меня, — за решеткой.

— Вы так думаете?

— Я уверен.

— За что же меня посадят за решетку? — развел я руками. — Совесть моя чиста.

— Очень многих людей с чистой совестью бросили за решетку, а многих казнили.

— Вы имеете в виду супругов Розенберг?

Американец поблел и ничего не сказал. Выпив несколько глотков джина, он продолжал:

— Вы венгерский писатель, более того, секретарь Союза писателей, которого ныне распущенное правление послало на Запад. Разве этого не достаточно?

— Для того чтобы посадить меня за решетку?

— Да.— Американец пожал плечами.— И пусть сажают, раз вы сами этого хотите. Это дело вкуса. Я бы на вашем месте такого шага не делал. Особенно сейчас, когда представился такой случай и ваше имя может узнать весь мир, вы сразу станете писателем с мировым именем.

Мой собеседник облокотился на столик, и в этот момент я вдруг понял, для чего затеян весь этот разговор.

— Вы, сударь, не беженец, а официальный посол вашего Союза писателей, заявления которого будут рассматриваться как заявления не частного, а официального лица. В очерках с продолжениями опишите события тех дней и ночей в октябре и ноябре, которые вам вместе с другими вашими коллегами писателями пришлось пережить. Представляете, какая это будет сенсация?!

— Догадываюсь.

— Ваше заявление немедленно будет переведено на английский, французский и немецкий языки. Ваши слова взбудоражат всю Америку, всю Европу!

— А какая польза от этого будет моим соотечественникам на родине?

— Вот опять вы проявляете свою венгерскую наивность! — нахмурился американец.— А чем вы им можете, если вернетесь на родину и вас упрячут в тюрьму?

— А вдруг не упрячут. И тогда...

— И тогда ничем не поможете,— перебил он меня.— А здесь вы станете всемирно известным писателем и очень богатым человеком. К вам моментально примчатся издатели, киносценаристы, директора театров. Вас завалят договорами, деньгами, чем угодно. Ведь это же будет сногсшибательная сенсация.

В этот момент мне на ум пришло глупое объявление: «Не бросайте старых галстуков, вам за них могут заплатить». Предложение американца звучит несколько не хуже, подумал я и засмеялся.

Мой смех американец принял за знак согласия; он хлопнул меня по плечу и довольным тоном сказал:

— Ну вот видите!

— Минутку! — произнес я, все еще смеясь.— Разрешите задать вам один вопрос?

— Разумеется.

— Вот вы говорили: Венгрия — это рапа на теле Советского Союза.

— Да.

— Так, значит, я должен выполнять роль ножа в этой ране. Вы это имели в виду? — Я посмотрел американцу прямо в глаза.

— Ах, это уже сентиментальность! Европейская болезнь!

— Возможно, у вас в Америке это называется сентиментальностью, считается европейской болезнью. И пусть я буду болен этой европейской болезнью, чем буду здоровым по-американски. В результате такой болезни Моцарт написал «Реквием», Ян Гус свои проповеди, Шопен «Революционный этюд». Благодаря такой болезни было построено Вестминстерское аббатство, а в Лувре появилось мраморное изваяние Венеры.

— Искусство — это искусство, и здесь и там, — американец нетерпеливо хлопнул рукой по столу.

— У нас с вами разные мерки, — продолжал я. — То, что для вас является сенсацией, мне противно; то, что для меня является верой, по-вашему всего-навсего болезнь духа.

— Ну и обидчивый же вы народ, венгры.

— А мне не за что на вас обижаться! Напротив, я вам даже благодарен.

— Благодарны? — удивился американец.

— Да, за вашу откровенность. Знаете, сударь, дети любят откровенность.

— Говорить комплименты вы умеете, — рассмеялся американец.

— Говорят, это национальная особенность венгров.

Мой собеседник только кивнул. Наша беседа стала как-то выдыхаться. Переводчица с опаской поглядывала то на одного, то на другого, ожидая, чтобы кто-нибудь из нас заговорил на какую-нибудь другую тему. Но делать этого не хотел ни мой собеседник, ни я.

Расплатившись, мы вышли на улицу.

На улице еще раз вежливо распрощались друг с другом, как это принято в Париже. Затем американец вместе с переводчицей уселся в свой «кадиллак» и укатил, а я остался стоять на краю тротуара.

Было уже поздно. Со стороны дворца Тюильри дул резкий ветер, который пронизывал все тело, бил в лицо.

Я дрожал, но не от холода, а потому что был взбешен: ведь таким, как этот американец, с которым я только что разговаривал, разрешали въезжать в нашу страну! Это было горько.

Долго я смотрел вслед «кадиллаку». Доехав до Триумфальной арки, машина блеснула лампами стоп-сигнала, словно большая, никому неведомая глубоководная рыба.

Я пошел вдоль голубых неоновых реклам, которые светили над моей головой, мимо ярко освещенных витрин, а под ногами у меня тихо похрустывал топкий ледок.

А что мы можем сделать?!

Однажды вечером один знакомый французский журналист, когда мы с ним беседовали, сказал мне:

— Америка кастрировала Европу. — И он повел широкими костистыми плечами, а на его лице сатира обозначились складки словно пергаментной кожи. — А что мы можем сделать, сударь?!

Как часто приходилось мне слышать это безнадежное «А что мы можем сделать?!». Сначала, когда иностранец слышит это выражение впервые, он улыбается, считая его забавным, так как говорят вполне приличные люди. Однако позже улыбка, когда слова и снова слышишь это, становится горькой, а затем уже невозможно слышать его без боли в сердце.

В Париже лучше всего ощущаются заботы и проблемы Западной Европы. В Англии вы их так не заметите. Да Англия вовсе и не континентальная, а островная страна, которую туманы и крытые балконы как бы отделяют от Европы помимо пролива, который там называют просто каналом. Империя Ее Королевского Величества живет своей жизнью в Британском содружестве, защищенная от него высокими таможенными пошлинами и холодным чувством собственного достоинства. Англия — это Англия, а не Западная Европа, более того, это даже не Европа, а совершенно особый континент. Возможно, что для многих жителей это утверждение будет казаться странным, но это так. Чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы раз побывать в Англии, побыть там хотя бы один день.

Самой сложной проблемой для Западной Европы является проблема нехватки промышленного сырья. Наибо-

лее развитые в промышленном отношении страны, такие, как Франция, Бельгия и Западная Германия, почти полностью использовали свои рудные запасы. Европа для выпуска половины своей промышленной продукции должна ввозить сырье извне, в первую очередь из Северной Африки и стран Ближнего Востока. И не только железную руду, бокситы, урановую руду, сырую нефть и тому подобное, но даже самый обыкновенный каменный уголь.

Без Северной Африки и стран Ближнего Востока вся Западная Европа будет не больше, как однорукий, одноногий и одноглазый великаном, которого свободно могут лишить зрения даже карлики. Стоит только лишить Западную Европу возможности использовать рудные богатства этих стран, как вся западноевропейская промышленность, все гигантские промышленные объекты не сегодня-завтра рухнут, подмяв под себя и благополучие и культуру этих стран.

Национализация Суэцкого канала наглядно продемонстрировала это. Во время нашей поездки в зону канала, состоявшейся спустя полгода после этого события, мы очень хорошо видели следы зависимости. Нефтяной кризис. А для Западной Европы нефтяной кризис означает почти полный паралич. Бензин и нефть являются как бы кровью нашего развитого в техническом отношении века, без топлива нет и не может быть никакого движения вперед, а тот, кто хоть на минуту остановился, неизбежно выбывает из рядов. Нехватка топлива означает также и то, что цены на каменный уголь постоянно растут. В свою очередь дорожает электроэнергия. А что это значит, видимо, не стоит объяснять, картина и так ясна и понятна.

Отнюдь не случайно Соединенные Штаты Америки стремятся подчинить своему влиянию государства, расположенные в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Кому принадлежит Северная Африка и Ближний Восток, тому принадлежит и Западная Европа. Это прекрасно знают и в Париже, и в Бонне, и в Брюсселе, и в Лондоне. Это не хуже понимают и в Каире, и в Бейруте, и в Алжире.

Возникают противоречия, которые сказываются не только в официальной политике, но и во всех проявлениях жизни, в том числе в поведении трудящегося человека и даже в образе его мышления. В основе общего

недовольства американской политикой, как и в основе лозунга «Янки, убирайтесь домой!», лежат те же самые противоречия.

Найти спасительный выход из сложившегося положения не так-то просто. Образуются различные группировки государств, монополий. Одни государства примыкают к международному коммунистическому и рабочему движению, другие — к различным милитаристским блокам, приверженцы обеих групп имеются во всех странах Западной Европы, в том числе и во Франции. Я полагаю, что нет необходимости подчеркивать, к чему ведут внутренние противоречия во внешней политике государств, которые перед лицом опасного американского вмешательства в их дела распыляют собственные силы и не предпринимают почти никаких действительных мер против такого вмешательства.

Французы любят свой желудок и вовсе не собираются поступаться своим образом жизни. Ради сохранения рудных богатств Северной Африки они начали Алжирскую войну, которая обошлась им очень дорого и выражалась большей цифрой, чем цифры доходов, полученных от эксплуатации североафриканских территорий. Я не знаю, подсчитывал ли кто-нибудь, во что обходилась топка алжирской железной руды, если к ее себестоимости приплюсовать денежное содержание гепералов, а также стоимость сброшенных в войне бомб и сожженных боеприпасов. По-видимому, тогда стоимость руды раз в пять превысит стоимость её на мировом рынке. Однако Круппи и ему подобные не станут покупать руду по такой цене. Следовательно, её придется продавать за ту цену, которую за нее дают. Так налогоплательщикам приходится расплачиваться за «экономическое чудо», о котором столько кричат в западном мире.

Страшно. Но еще страшнее становится от того, как на все это смотрит французская интеллигенция. «А что мы можем сделать?!» Недоуменно пожав плечами, люди пьют красное бордо. словно и на самом деле из сложившегося положения уже нет никакого выхода. А то еще и смеются.

— Почему вы смеетесь? — удивленно спрашиваю я, а у самого мороз пробежал по коже. — Может быть, — робко продолжаю я, — вы недостаточно серьезно отнеситесь к этому делу?

— Я на ваш вопрос отвечаю поговоркой: «Англичане ко всему относятся серьезно, в особенности к политике; мы же ни к чему не относимся серьезно, в особенности к политике».

И мой собеседник снова рассмеялся, словно ему не о чем было жалеть, на самом же деле по выражению его лица я видел, что ему далеко не так весело.

— Кого у нас выбирают депутатами? — продолжал мой собеседник. — Врача, у которого умирали все пациенты, или же адвоката, который проиграл все судебные процессы. — И он развел руками: — А что мы можем сделать?! Ведь и им как-то нужно жить.

Я неоднократно разговаривал с такими людьми, как мой собеседник, даже спорил с ними. Казалось, им должно быть понятно, что делать, должно быть ясно, что Западная Европа только тогда сможет обеспечить себя североафриканскими и ближневосточными полезными ископаемыми, если признает равноправие этих стран, если она не будет препятствовать им в деле создания самостоятельных национальных государств. Другого решения этой проблемы быть не может.

Я бы солгал, если бы сказал, что жители Западной Европы не видят этого. Они видят. Видят даже те, кто далек от коммунистических идей. Но они настолько ушли в себя, что уже не могут, да и не хотят ничего делать. Такое напряжение, внешнее и внутреннее, в котором находятся эти страны, приводит к цинизму и пессимизму с постоянным «А что мы можем сделать?!».

Само собой разумеется, что в стране, где культура вошла в повседневную жизнь, в стране, где четверть избирателей из года в год отдают свои голоса за Коммунистическую партию, есть все возможности для создания внутреннего равновесия, есть здоровое ядро, которое притягивает к себе основную массу общества. Нельзя забывать и того, что в годы второй мировой войны многие из этих французов мужественно сражались против гитлеровских захватчиков в рядах маки.

Именно по сравнению с их прошлым и кажется особенно страшным теперешний цинизм этих людей.

Я вспоминаю одну карикатуру... Шесть рисунков, расположенных в ряд.

На первом рисунке изображена молодая женщина в

шубке с поднятым вверх воротником. Кокетливая и красивая.

На следующей картине она легким движением сбрасывает с себя шубку и остается в платье.

Затем она снимает платье. У нее длинные шелковые чулки, комбинация. Упругая, соблазнительная грудь.

Потом она сбрасывает с себя и комбинацию и остается в кружевных просвечивающих пейлоповых трусиках. Вся она сплошной соблазн.

На пятой картине она в костюме Евы. Руками тербит волосы. Вид у нее такой, будто она стесняется.

А на последней картинке она скелет, стаскивает с себя собственную желтую, как у мертвеца, кожу и вешает ее на вешалку, а сама танцует канкан.

Что это? Насмешка над любовью? Карикатура? Интересно, что скажет по этому поводу любитель говорить: «А что мы можем сделать?!»

Или вот еще... В витрине модного художественного магазина-салона на Елисейских полях я видел одну картину.

На ней изображена театральная ложа, обитая вишнево-красными обоями, которые в глубине ложи кажутся темно-бордовыми. Облокотившись на перила, непринужденно, с улыбкой на лице сидит молодая дама в золотисто-зеленом платье из тафты с обнаженными руками, плечами и полуобнаженной ослепительно-белой грудью. Светлые волосы красиво уложены в высокую прическу. Голубые глаза женщины смотрят надменно и холодно. Рядом с дамой, слегка наклонившись к ней, в черном фраке с белой грудью сидит — кто вы думаете? — сама смерть. Голый череп, пустые глазницы, выражение злой усмешки на лице.

Повсюду, куда бы вы ни пошли, — везде царит настроение смерти, упадочничества.

А когда я как-то сказал об этом одному своему знакомому французу, он ответил мне на это следующими словами: — А что мы можем сделать?!

О, лучше бы он не говорил мне этих слов!

Черноволосая женщина

Случилось это в Париже, на одном из официальных приемов.

Черноволосая женщина остановилась под самой люстрой и рассмеялась. Познакомился я с ней несколько дней назад, но только сейчас заметил, что на руке у нее выжжены цифры. «Значит, она побывала в аду, в концентрационном лагере в Равенсбрюке!» — вдруг ужаснулся я от пришедшей в голову мысли. В свете люстры черные волосы женщины отливали бронзой, а густые черные ресницы бросали легкую тень на глаза. Губы, покрашенные помадой, смеялись, смеялось все ее лицо, не смеялись только одни глаза, они были серьезны. Но голос, голос у нее был прямо-таки обворожительным. Этот голос, казалось, заполнял и оживлял весь зал.

Я не мог отвести глаз от этой женщины. Заметив это, она подошла ко мне и сказала:

— Мосье, вы опять серьезны. Пойдемте со мной, я расскажу вам одну маленькую глупую историю!

Она взяла меня под руку и повела в другой угол зала, по кругу.

С другой стороны по направлению к нам сделал несколько шагов мужчина, с которым эта дама пришла на прием. Он поклонился с усталой вежливостью и равнодушно улыбнулся. Пока черноволосая женщина рассказывала мне свою историю, мы сделали полный круг по залу. Я не очень внимательно следил за тем, что она мне говорила, а просто-напросто наслаждался звуком ее голоса, в котором было что-то невыразимо музыкальное и очаровывающее.

«Что бы это могло быть?» — ломал я себе голову.

Дама заметила мою рассеянность.

— Да вы меня совершенно не слушаете!

— О, что вы, мадам! — в смущении попытался было я протестовать.

— Нет, нет, не слушаете, — покачала она головой, и ее черные, отливающие бронзой волосы рассыпались по плечам. Она, казалось, несколько не оскорбилась и даже не обиделась. Скорее всего, ей нравилась создавшаяся ситуация.

— Поверьте мне, я вас слушаю, — старался я ее убедить.

Она посмотрела на меня краешком глаза и вдруг задорно сказала:

— Тогда повторите, о чем я сейчас говорила.

Разумеется, я не смог ей этого сказать.

— Ну вот видите! — произнесла она, мелодично растягивая слова, и рассмеялась.

Рассмеялась каким-то особенным смехом, кокетливо откинула голову назад, так что свет падал ей прямо в глаза, а глаза у нее были голубые, даже почти темносиние, чуть ли не черные.

Неожиданно она замолчала.

— Говорите, мадам, говорите! — невольно вырвалось у меня.

— Я вас не понимаю, мосье!

Она нахмурила брови, из глаз ее исчез загадочный свет, они стали совершенно серьезными.

Я и сам не понимал себя, но времени для самоанализа у меня не было. И вдруг я выпалил:

— Смейтесь, мадам, смейтесь! У вас такой чудесный смех.

Дама улыбулась, в замешательстве бросила быстрый взгляд на своего спутника и только после этого снова обратилась ко мне:

— О, как вы умеете говорить комплименты! — И после некоторой паузы продолжала: — В этом вы, венгры, большие мастера.

Я наклонил голову и произнес всего лишь одно слово: «Мадам!», но произнес его с какой-то особой интонацией, удивившей ее. Она подняла голову и поймала мой взгляд. И мне показалось, что в ее глазах мелькнул какой-то страх. Пытаясь выйти из замешательства, я попросил разрешения покинуть их. Когда я уже отошел от черноволосой дамы и ее спутника и нас разделяли какие-то мужчины и женщины, я услышал ее голос, обращенный ко мне:

— Я еще подойду к вам. — И она помахала мне рукой, по-прежнему веселая и кокетливая.

Я не спеша обошел весь зал. Обоим мое уже привыкло к густому запаху духов, который, казалось, можно было даже потрогать пальцами. Но в то же время я ощущал одиноким какой-то особенный запах.

Неподалеку от меня стояла молодая блондинка с двумя прядями седых волос. То был запах ее духов «Жасмин». Молодое, с детским выражением лицо женщины как-то не вязалось с седыми прядями. Я не был с ней знаком, но из рассказов знал, что это дочь одного богатого американского торговца и на шее у нее ожерелье с самым дорогим в мире бриллиантом.

Я подошел к ней поближе.

Подошел и увидел висевший у нее на груди громадный сверкающий камень. В этот момент она как раз попросила сигарету у своего толстого папаша с астматическим лицом. Голос у нее был ужасно хриплый и неприятный, похожий на вороний; а седые пряди были так неестественны в ее рыжей копне, обрамлявшей почти детское лицо, что мне стало нехорошо, и я быстрыми шагами отошел от них.

По соседству в зимнем саду под пальмами и фикусами сидело несколько мужчин, которые о чем-то разговаривали. С большинством из них я был уже знаком и потому подсел к ним. Говорил невысокого роста, полноватый, но очень подвижный француз. Энергично жестикулируя, он словно играл словами.

— Европа?! Но, господа! Мы, словно современные греки, живем на полуострове. Мы похожи на рабов, которые мечтают о несбыточном, которые хотят верить в то, что их мечты могут превратиться в действительность. А на самом деле, ха-ха...

И он скорчил некрасивую гримасу.

— А наш дух! — заметил его сосед — пожилой господин, каждое движение которого свидетельствовало наперняка, что он член французской академии.

— Господа,— развел своими беспокойными короткими руками ранее говоривший француз.— Десяток водородных бомб, и от всего вашего духа во всех его проявлениях не останется и следа. Даже такого, который остался после древних жителей Афин. Останется лишь одип дым, копоть да пепел. Испаримся, а затем выпадем опасным элементом на землю, неся смерть тем, кто еще вовсе и не родился, и, возможно, лишь спустя тысячелетия люди откроют вдруг, что когда-то здесь вот была Европа со своей «европейской культурой».

И он горько рассмеялся.

Пожилый академик нервно трогал свои очки. Все выпили еще, и тут заговорил третий француз.

— Пока войны не будет,— сказал он кратко и решительно.

Все посмотрели на говорившего.

— А почему не будет? — спросил коренастый француз.

Немецкий журналист, который до этого лишь молча крутил свой бокал, вдруг сказал:

— Потому, что МЫ этого не хотим.— И со стуком поставил бокал на стол.

Наступила напряженная тишина. Все старались не смотреть друг другу в глаза, и лишь один немец внимательно оглядывал каждого. Первым после паузы заговорил академик. Его голос был резок и зол.

— Вы, вы! А русские?

Немец улыбнулся. Провел ладонью по щеке:

— Если мы не захотим, то и они не захотят.— И, повернувшись ко мне, спросил: — Не так ли, сударь? Вы это знаете.

Все уставились на меня. Молчавший до сих пор англичанин, который только что поднес ко рту бокал, замер, а его голубые глаза впились в мое лицо.

На вопрос я ответил вопросом, сказав:

— А американцы?

Пожилому французу мой ответ понравился, он ехидно посмотрел на немца, который на миг пришел в замешательство, но все же сказал:

— Без нас?! — И, ударив себя в грудь, добавил: — Не посмеют они без нас.

Раздался какой-то треск: это академик уронил и разбил очки. Он близоруко щурился, ощупывая переносицу дрожащими пальцами. Я наклонился и поднял очки: одно стекло треснуло, другое вообще выпало из оправы. Я подал очки академику. Он в смущении поблагодарил меня и, опираясь на плечо маленького экспансивного француза, пошел прочь.

Группа распалась. Допив бокал, встал англичанин и, кивнув сначала мне, а затем в сторону немца, тоже вышел. Немецкий журналист улыбнулся горькой улыбкой и произнес не столько для меня, сколько для самого себя:

— Глупцы.— И повел плечами, будто говоря, что все разговоры, которые только что здесь велись, гроша ломаного не стоят.

Я тоже ушел и стоял теперь у окна между пальмами.

«Вот она Европа!» — пробормотал я про себя и прижался лбом к холодному оконному стеклу.

Вдруг кто-то слегка дотронулся до моего плеча. Я обернулся. За спиной стояла черноволосая женщина.

— Почему вы прячетесь от меня? — добродушным тоном спросила она.

— Я только... что вошел сюда, — начал оправдываться я. — Порой приятно побыть одному.

— Это европейская болезнь, — заметила жепщина, став вдруг совершенно серьезной. — А вы не боитесь? — вдруг спросила она странно испуганным тоном.

— А чего я должен бояться? — И мне на самом деле стало как-то не по себе.

— Тогда хорошо! — сказала жепщина и засмеялась своим странным и очаровательным смехом.

Я посмотрел на ее шею, которая казалась шеей мраморной Афродиты.

Вдруг дама скосила глаза в сторону и заглянула за пальму. Подойдя ко мне вплотную, она тихо прошептала:

— Видите? Меня преследуют!

Я оцепенел, ничего не понимая.

— Там... вон, смотрите! — показывала она дрожащими пальцами в угол, где я еще несколько минут назад сидел в обществе мужчин.

Но там уже никого не было. Мы стояли только вдвоем, и вблизи нас никого не было.

— Успокойтесь! — сказал я даме, беря ее руки в свои, и кончики моих пальцев печаянно коснулись лагерьного номера на ее руке.

— И вы?! И вы тоже?! — воскликнула она, сверкнув глазами.

Повернувшись, она быстрой, слегка качающейся походкой ушла от меня.

В дверях она чуть было не столкнулась с дочерью американского торговца и им самим, но в самый последний момент остановилась. Вздвогнув, она медленными шагами, словно ничего не случилось, спокойно прошла мимо них.

— Несчастная жепщина! — проропила дочь американца и с детской улыбкой на лице коснулась висевшего у нее на шее огромного бриллианта.

Отец ничего не сказал дочери. Сел в кресло, которое жалобно заскрипело под ним. Дышал он тяжело, задыхаясь от астмы.

До сих пор мы привыкли к тому, что самолеты следуют строго по расписанию и их не нужно ждать. Теперь мы убедились в том, что так бывает далеко не всегда. Утром на парижском аэродроме мы просидели несколько часов в зале ожидания, по три раза пересмотрели все журналы, а самолет наш все не вылетал. Сказали, что-то не в порядке с мотором. Часов в десять нас покормили завтраком, рассчитывая на то, что сытый человек не станет ругаться и шуметь.

В конце концов подали другой самолет, который вырлил из ангара. Яркое светило солнце. Вскоре мы взлетели и взяли курс на Амстердам.

Землю было плохо видно, потому что мы летели выше облаков. Яркое светило солнце, а спины облаков были такими обворожительно белыми, что вся злость на непредвиденную задержку пропала, хотя мы опаздывали на официальную встречу в Стокгольм. Получался настоящий скандал, так как на аэродроме нас ждал председатель Союза шведских писателей. Да стоит ли сейчас думать об этом: так хорошо светит солнце и небо кажется таким бесконечным...

Вскоре стали разносить обед: жареное мясо, шоколад, черный кофе и апельсины. Но есть совсем не хотелось.

Вот и Амстердам.

Когда самолет пошел на посадку, я посмотрел из окна на город, но ничего не увидел, так как он был окутан густым туманом. На аэродроме нас встретил представитель авиакомпании и извинился за опоздание самолета. Самолет в Стокгольм, разумеется, давно уже улетел. Нам ничего не оставалось, как ждать следующего рейса. И словно в утешение нам снова предложили обед. Я поблагодарил, но обедать отказался, решив пойти на почту и дать телеграмму в Стокгольм.

Телеграмму я отправил и до самого вечера слонялся по залу ожидания для транзитных пассажиров. Сначала было интересно, я с любопытством перелистывал иллюстрированные журналы, внимательно слушал то, что объявляла диктор с приятным голосом, но постепенно все это мне надоело. Было такое ощущение, что мы заперты

в какой-то комфортабельной тюрьме. В голове билась одна навязчивая мысль — как можно скорее избавиться от этого вынужденного плена. Однако сделать это было нелегко, так как голландских виз у нас не было.

Приходилось сидеть и ждать.

Дьюла занялся обедом, он решил не посрамить венгерскую нацию, дабы голландцы не могли распустить слух о нашем плохом аппетите. Я попросил его съесть и мою порцию, чтобы «спасти» мою честь. Дьюла разозлился и «спасать» меня наотрез отказался.

От нечего делать я достал записную книжку, чтобы записать в нее кое-что, но писать тоже не хотелось. Тогда я стал перелистывать ее: Париж, Лондон, Хельсинки, Варшава, Прага... И что это? Вена.

Оказалось, что мои заметки о посещении Вены, где я был полгода назад, тоже в этой записной книжке. Как странно устроен человек: получаешь новые впечатления, приобретаешь новые привязанности — забываешь старые. А ведь какие впечатления! Поездка в Вену была моей первой зарубежной поездкой. Я перелистывал страницы записной книжки, перечитывал заметки, сделанные тогда в Вене, и постепенно забыл о своей «транзитной тюрьме».

Вот эти заметки...

ВЕНСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО



(27 сентября —
7 октября 1956 года)



Палач

...Вам, сударь, покажется странным мой рассказ, но я не могу не рассказать вам этого. Почему — я и сам не знаю. Быть может, только потому, что вот уже двенадцать лет, как я не говорил с настоящим венгром, только что приехавшим с родины. Наверное, поэтому. Впрочем, неважно.

Видите ли, почти до тысяча девятьсот сорок четвертого года я был офицером генерального штаба и служил в хортистской армии. Я вижу, вы сомневаетесь в моей искренности. Я вас, разумеется, хорошо понимаю. Я уже привык к тому, что мне не верят. Здешние девушки, которым я рассказывал эту историю, тоже не верили мне. Смеялись, говорили, что мы, венгры, всегда все преувеличиваем, или же успокаивали словами: «Хорошо, хорошо!», кивали головой, показывая этим, что они, мол, все поняли, хотя на самом деле ничего они не поняли. В такие минуты я, кажется, готов был броситься на них и избить, но только махал рукой и уходил.

Как я уже сказал, до весны сорок четвертого года я был офицером генштаба, пока меня не перевели в контрразведку, которая в ту пору активно боролась с подпольным коммунистическим движением. Этим назначением я был буквально оглушен. Одновременно меня досрочно повысили в звании. Делать нечего. Да и чем была для меня до этого служба в армии? Математикой. Да, да, математикой, так как я занимался тем, что вел самые различные подсчеты — оружия, боеприпасов, транспортных средств, продовольствия... Да стоит ли все перечислять? Получив

новое назначение, я стал работать с живыми людьми. Цифры всегда покорны и послушны. Не то что люди. Тем более если имеешь дело с противником. Я успокаивал себя тем, что и теперь, собственно говоря, буду заниматься той же самой математикой. Любой допрос можно рассматривать как сложную шахматную партию. Моя новая должность явилась для меня настоящей кабалой.

Незадолго до этого назначения, на масленице, я на офицерском балу познакомился со своей будущей невестой. Был я тогда уже не молод и мог быть причислен к закоренелым холостякам.

Невеста моя оказалась странной девушкой, она была совершенно не похожа на девушек, каких я знал до этого. Вы, сударь, видимо, знаете, что есть женские существа, у которых уже в пятилетнем возрасте на лбу написано, что с ними станет в шестьдесят лет. Однако есть и такие, судьбу которых никак невозможно отгадать. Так вот моя невеста принадлежала ко второму типу женщин. В ее походке, в каждом движении, в голосе постоянно сквозила какая-то скованность, напряженность. Она была очень милой, довольно веселой, но стоило до нее дотронуться, попытаться как-то сблизиться, как она моментально менялась и становилась неузнаваемой.

Может быть, по той причине, что нас разделяла большая разница в возрасте, между нами установились теплые дружеские отношения, какие бывают между дядей и племянницей. Сначала я радовался, так как это позволяло сохранять непосредственность в отношениях. Позже эти отношения стали меня раздражать и злить. Я почувствовал, что если в самое скорое время не смогу проявить себя как настоящий мужчина, то так и останусь для нее дядей.

Я не сразу сказал своей невесте о новом назначении, лишь позже вскользь упомянул об этом, боясь, что она отнесется к нему неодобрительно. Но она каким-то образом узнала все. Возможно, ей рассказал об этом мой брат гусар. С тех пор она не давала мне покоя, забрасывая массой всевозможных вопросов, например: «Как себя ведут на допросах коммунисты? Пытают ли их? Как производится казнь?» и тому подобное.

Вы понимаете, что мне было очень трудно отвечать на такие вопросы, тем более что задавала их мелодая девушка. Однако, убедившись, что это все больше и больше

интересует ее, я уступил настойчивым просьбам и кое-что рассказал.

Часто она просила меня взять ее с собой, чтобы хоть из окна посмотреть, как проходит казнь. Я долго упорствовал, но наконец уступил ей и в этом.

Я как сейчас помню: она подбежала к окну, из которого был виден тюремный двор, где обычно приводили в исполнение смертные приговоры.

— Ведут, — сказала она, высунувшись из окна.

Я молча сел к столу и забарабанил по нему пальцами.

— Иди сюда, — протянула она мне руку. — Вот они уже под самым окном!

— Меня это зрелище нисколько не интересует, — отвечал я.

— Так много раз видел, что уже наскучило? — не унималась она.

— Ни разу еще не видел, — ответил я.

От изумления она повернула голову и посмотрела на меня. Длинные светлые волосы упали ей на лицо. Солнечные лучи насквозь просвечивали ее платье.

— Тебе это неинтересно? — удивилась она.

— Ты этого не поймешь. — Я встал из-за стола и поправил френч. — Но это так.

На самом же деле все было далеко не так, но я не хотел, вернее, не осмеливался рассказать ей правду. Она непонимающе покачала головой. А выражение ее голубых глаз было невинным, как у младенца.

Со стороны тюремного двора слышались слова команды. Стекла в открытых настежь окнах задрожали.

— Смотри, а то пропустишь! — с улыбкой сказал я ей.

— Да-а-а, — в замешательстве вымолвила она, и взгляд ее забегал из стороны в сторону. На сей раз она не стала высовываться из окна и даже встала в тень.

Раздался выстрел, который в высоких стенах тюремного двора подобен громовому раскату...

Вечером того дня она была со мной такой, какой я ее никогда не видел. Я даже не верил своим глазам. Она ластилась ко мне, целовала, обнимала. В тот вечер она стала моей...

Когда мы ехали в машине домой, она была тихой и молчаливой. На одном из поворотов, откуда открывался прекрасный вид, мы остановились и вышли из машины.

— Посмотри, какой прекрасный вид! — обвел я взглядом горизонт.

Вблизи рос зеленый густой лес, сбоку — обрывы скал, поросшие кустарником, дальше лента Дуная и город, раскинувшийся на обоих берегах. Солнце уже скрылось за горами, и все краски были несколько иными, чем при солнечных лучах.

— Да, — помолчав, вымолвила она безучастным тоном.

Меня удивил ее тон, но я ничего не сказал, понимая причину ее настроения.

Мы сели в машину и поехали дальше. Когда дорога пошла через лес, стало прохладно. Она поежилась и подняла стекло.

Снова я заговорил только тогда, когда мы уже ехали по городу.

— Нельзя так все воспринимать.

— А как же нужно? — нервно спросила она.

— Ты моя невеста... — начал было я, но она перебила меня.

— Ах, дело совсем не в этом.

Я не понял ее и сказал:

— Успокойся.

— А я и не беспокоюсь вовсе.

— Тогда ты должна понять, что...

— Что я должна понять? — снова перебила она меня.

— То, что... — начал было я, но она не дала мне говорить.

— Это ты должен понять!.. Во мне что-то надломилось, понимаешь? Надломилось!

— Глупенькая ты! — проговорил я и остановил машину. Я наклонился, чтобы поцеловать ее, но она отвернулась и поцелуя не получилось.

Мы поехали дальше. Я так сжимал баранку, что удивляюсь, как она не рассыпалась на куски. Однако спустя несколько минут я уже взял себя в руки и, словно ничего не случилось, начал холодно и рассудительно объяснять ей:

— Все это просто, как сама жизнь.

— А я не хочу такой простоты! — воскликнула она.

— Чего ты не хочешь? — не выдержал я.

Она ничего не ответила, уставившись прямо перед собой, потом вдруг спросила:

— Скажи, кто ты такой?

Глаза ее горели, как два горячих уголька. Мне стало как-то не по себе. Я вам уже говорил, сударь, что она была странной девушкой.

Расстались мы недовольные, несколько дней не встречались. Я уже начал думать, что между нами все кончено и что через день-два она пришлет мне обратно мое кольцо, как тогда в подобных случаях водилось, и вдруг совершенно неожиданно она появилась в моем рабочем кабинете. Она тяжело дышала, чувствовалось, что бежала по лестнице.

— Ты на меня не... сердишься? — спросила она, глядя на меня своими голубыми невинными глазами.

— Нет, глупенькая, — ответил я и поцеловал ее. — Не нужно было так бежать. Ты спешила сказать мне об этом? — И я рассмеялся.

— Нет, нет, — запротестовала она. — Я пришла сюда вовсе не за этим.

Между тем она уже подошла к окну. На тюремном дворе в это время никого не было.

— Мне нужно было видеть это. — Она подбежала ко мне. — Но я вовсе не хотела... — И она спрятала свое лицо у меня на груди. — Но нужно было!

Я прижал ее к себе и поцеловал в голову, от которой пахло чем-то церковным, ладапом или свечами.

— Я же говорил тебе, что... — начал было я, но не договорил до конца. В этот момент во дворе загромыхала железная дверь. Она прижалась ко мне, дрожа всем телом. — Чтобы ты успокоилась, — закончил я фразу.

— Да, да, — нервно проговорила девушка, выскальзывая из моих объятий. — Иди сюда, ко мне! — позвала она, уже стоя у окна.

Я не пошел, вынул портсигар и закурил. Перед стеной на этот раз оказались двое. Солдаты вскинули винтовки к плечу. Ни один из приговоренных к смерти не просил о пощаде. И вдруг произошло нечто неожиданное — мужчина, стоявший справа, повернулся и крикнул:

— Стреляйте в лицо, трусы проклятые!

И в тот же миг громыхнул выстрел. Девушка отскочила от окна.

— Не-ет, не-ет! — вырвалось у нее.

Когда выстрелы за окном смолкли, она села.

— Скажи, кто ты такой? — спросила моя невеста, уставившись на меня острым взглядом.

Я отвел глаза, не зная, что ей сказать.

— Скажи, что ты за человек, скажи?! — повторила настойчиво она. — Все время только казнишь, казнишь, а зачем...

— Ошибаешься, — перебил я. — Приговор выносит военный трибунал, а я только...

— А ты только приводишь его в исполнение! — воскликнула она.

— Я ничего не привожу в исполнение! — вскочил я. — Я математик, я только...

— Что только?! — рассмеялась она мне прямо в лицо. Слова застряли у меня в горле. Дрожащими пальцами я стал поправлять френч, застегнул ремень портупеи. И вдруг мне в голову пришла мысль.

— Вот посмотри, что у меня в кобуре... логарифмическая линейка вместо пистолета... — И я расстегнул кобуру.

— На ней ты считаешь, сколько жертв... — начала она. Однако я уже успел взять себя в руки.

— Все это не так просто, как ты думаешь, — улыбнулся я. — Видишь ли, для меня каждый допрос похож на партию в шахматы, в ходе которой...

— В ходе которой мат всегда объявляешь только ты, — перебила она меня.

С этого времени мы как бы поменялись местами: она стала более сильной, решительной, а я слабым и покорным. Она стала невыносимой, но я молча терпел. Вскоре она превратилась в моего идола, которого я любил и одновременно боялся и ненавидел.

Когда мы бывали у себя или где-нибудь на людях, она — так казалось не только посторонним, но и тем, кто хорошо знал ее, — вела себя совершенно нормально, но стоило ей прийти ко мне на работу и зайти в кабинет, как все летело к чертовой матери. А заходить ко мне на работу она стала все чаще и чаще.

— Что ты сделал со мной! Что! — набросилась она однажды на меня.

— Послушай, глупышка! — Я подошел к ней, чтобы погладить, но она оттолкнула меня, упала на диван и разрыдалась рыданиями. Я не знал, чем ее утешить, и стоял не шевелясь.

— Пойдем отсюда! Пойдем! — умоляла она.

— Куда? — спросил я, не понимая, чего она хочет.

— Попроси, чтобы тебя перевели куда-нибудь в другое место.

Она села на диван и посмотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я не мог сказать ей «нет». В тот момент я и сам думал, что так будет лучше.

— Хорошо, — решительно сказал я. — Я попрошу направить меня на фронт.

И в тот же миг лицо ее из плачущего стало насмешливым.

— Ты? На фронт? — удивилась она и засмеялась таким резким смехом, что я почувствовал, будто меня полоснули ножом.

Желая избежать нового скандала, я промолчал. Сев на подоконник, забарабанил по стеклу. Ей первой надоело молчание.

— Ты сердисься на меня? — спросила она после небольшой паузы.

Я покачал головой. Она подошла ко мне. Я не обнял ее, даже не повернулся к ней. Она ждала, слегка покачивая бедрами, легкая шелковая юбка шелестела на ней. Вдруг она распахнула платье на груди и, задыхаясь, зашептала:

— Поцелуй меня! Поцелуй!

Через отражение в окне я успел заметить, что как раз в тот момент во двор вывели на казнь приговоренных.

После этого случая я всегда страшно боялся ее прихода и в то же время ждал его. Если у вас была когда-нибудь экзема, то вы знаете, какое она вызывает ощущение: стоит прикоснуться к больному месту, и хочется закричать от боли, и в то же время рану так жжет, что не коснуться ее просто невозможно. Я пытался скрыть от невесты свое двойственное отношение к ней, старался даже обмануть самого себя. Но она поняла мою хитрость.

Однажды, когда она пришла ко мне, ее вдруг обуяла странная злость. Я, разумеется, ласково поздоровался с ней, хотел даже поцеловать, но она не позволила.

— Ты уже боишься меня! — сказала она.

Я изумился тому, как она могла понять мое состояние, как могла так грубо сказать об этом прямо в глаза. Я молчал.

— Напрасно ты делаешь вид, что ничего не понимаешь. — Она разрыдалась. — Нет, нет, это не я говорю тебе! Это ты. Понял? Это ты сам!

То, что она сказала, казалось ужасным само по себе, но еще ужаснее было то, как она это сказала. Я чувствовал, что, если ее не остановить, она наговорит мне такого... Я сказал мягким, но все же довольно решительным тоном:

— Прощу тебя, держи себя в руках!

Она сразу же перестала плакать и спросила:

— Думаешь, тогда все станет на место?

На лице ее еще не высохли слезы, она посмотрела на меня такими глазами, что я даже вздрогнул.

— Боишься? — Она подошла ко мне ближе. — Не меня, а самого себя бойся! Я такая, какой ты меня сделал, такая, каким ты сам...

— Хватит! — закричал я, но она не замолчала, продолжая говорить:

— ...хотел стать, но только не осмеливался.

— Неправда! Лжецы! — закричал я.

Внизу, во дворе, загрохотала железная дверь. Девушка уставилась на меня.

— Я теперь узнала, кто ты такой!

— Нет, нет... — зашептал я.

— Знаешь, кто ты? — продолжала она.

Я схватил ее, прижал к себе, начал целовать, но она все равно не замолчала, повторяя:

— Знаешь, кто ты такой? Трусливый убийца! Палач!

На тюремном дворе слышались слова команды.

— Трусливый убийца! Палач! Вот ты кто! — снова выкрикнула она.

— Замолчи! — я схватил ее за горло.

И в тот же миг во дворе раздался залп.

— Трусли-ивый убий-йца!.. — выкрикнула она в последний раз и замолкла навсегда...

Когда я разжал руки, эхо выстрелов, казалось, все еще разрывало мне голову на части.

В тот же день меня арестовали и хотели отдать под военный трибунал. Но когда очередь дошла до разбирательства моего дела, не существовало уже ни военного трибунала, ни армии, ничего... Все бежали куда глаза глядят. Так я очутился в Вене...

— Лифт! Лифт! — слышался снизу крик швейцара. Мой собеседник встал.

— Извините, сударь, я на минутку. — И он вышел.

Через несколько минут он вернулся и, глядя на меня, остановился перед моим столиком. Но не было в его позе уже ничего военного, он весь как-то сник, расслабился.

— Поднять вас на этаж? — вежливо спросил он.

— Спасибо, не надо.

— Битте, — сказал он уже по-немецки и, бесшумно ступая, удалился.

Больше мы с ним не разговаривали по-венгерски, хотя виделись каждый день.

Игра вшестером

Голубой Дунай, «Летучая мышь» — такой представляется нам старая Вена. Но с тех пор прошло целое столетие, а Вена осталась Веной.

— Ну, кто с кем начнет? — спросила Лисси.

— Сейчас разыграем, — сказал Эрих, доставал бумажник. — Хорошо!

— Великолепно!

Все зажевали, засмеялись.

— Минутку! — Бруно поднял вверх руку, прося внимания.

— Ты всегда умничаешь. — Жена Бруно недовольно посмотрела на мужа.

— Но Лисси! — взмолился здоровяк Бруно.

— Слово Бруно! — прерывая спор супругов, сказал Эрих, постучав вилкой о бокал.

— Я только хочу предложить, — начал Бруно, — чтобы последний заход был супружеский: муж с женой.

— Идея неплохая, — кивнул ему Эрих. — Так даже легче разыграть. Нас шестеро, значит, разыгрывать нужно только первые пары, последняя обозначится сама собой. Правильно?! — Он оглядел сидевших холодными глазами.

— Да здравствует кибернетика! Браво! — закричал третий мужчина и захлопал в ладоши.

— Ах, Вилли, ты прямо-таки оглушил всех! — Гретен, жена Вилли, отодвинулась от него подальше.

— Я только хотел разбудить тебя, моя дорогая!

— Фу-у! — поморщилась женщина и, облокотившись на столик, уставилась на Эриха.

— Если монета упадет кверху решкой — мы разыгрываем дам, если орлом — они разыгрывают мужчин, — возвестил Эрих.

Он подбросил длинными пальцами монету вверх. Блеснув серебром, монета стукнулась о стол.

— Решка! Решка! — захлопала в ладоши Лисси, смеясь Эриху в лицо.

Бруно что-то недовольно забормотал.

— Ну что ты опять бубнишь? — напала на него жена.

— Лисси! — умоляюще произнес тот.

Музыканты, сидевшие в другом углу ресторана, заиграли что-то незнакомое. Жалобно запели скрипки. В зале стучали вилками и ножами, гремели тарелками. Из кухни пахло жареным мясом.

Криста, жена Эриха, не сказавшая до этого ни слова, произнесла с легкой улыбкой на губах:

— Я проголодалась.

Ее муж тотчас же разыскал глазами официанта и подал ему знак.

— А пока давайте выпьем, — предложил Вилли.

— Только ты много не пей! — сказала ему Гретхен. — А то тебя до конца не хватит. — И она лениво выпила рюмку коньяку.

— Ну вот видите, — виновато улыбнулся маленький подвижный мужчина, но все же снова наполнил свою рюмку.

Все засмеялись.

Официант принес ужин. За ужином говорили мало, только Вилли, как всегда, разглагольствовал:

— Все свободные деньги нужно вкладывать в военную промышленность! Я вам говорю, что это очень выгодный бизнес. — И он проглотил кусок жареного мяса. — Не пройдет и года, как начнется производство ракет. И тогда, — он шумно отпил глоток из бокала, — ваши денежки по крайней мере удвоятся...

Никто ему не возражал.

— Акции концерна Сименса, — продолжал Вилли, — уже поднялись в цене.

— А я тебе что говорила! — бросила Лисси своему супругу.

— Ты же знаешь, что я не люблю эти биржевые манипуляции, — начал оправдываться Бруно.

— Ну и привередливый же ты!

— Я не привередливый, просто я хочу жить на заработанные деньги. И только.

— Ах, оставь! — махнула в его сторону жена и посмотрела на Эриха.

Эрих не спускал с нее глаз, ощупывая взглядом обнаженные плечи, длинные белокурые волосы и полную грудь, прикрытую полупрозрачной бледной тканью. Лисси даже несколько подалась вперед.

— Чего мы ждем? — вдруг спросила Криста, опуская ложку в чашечку с кофе. На ее лице застыла холодная безразличная улыбка.

Эрих снова вынул из кармана монету.

— Гретхен, — обратился он к полной женщине, — начнем жеребьевку с тебя.

Женщина кивнула.

— Чей будет орел, мой или Бруно?

— Твой, конечно, — засмеялась женщина, — чей же еще!

Полуприкрыв глаза длинными густыми ресницами, она внимательно следила за пальцами мужчины.

Монета взлетела вверх и упала на стол. Орел.

Лисси сделала недовольный вид и отвернулась.

Гретхен довольно выпрямилась, откинув назад черные волосы.

— Что ж, — проговорил после небольшой паузы Эрих. — Мы готовы.

— Как так? — поинтересовалась Лисси.

— А так, моя дорогая, что теперь тебе достался Вилли.

— Да, да, — закивал Вилли, потирая руки.

— Итак, — продолжал Эрих, — Криста с Бруно.

Криста посмотрела на здоровяка, который, не поднимая глаз, вертел в руках зажигалку.

— Затем Гретхен от меня переходит к Бруно, а Криста от Бруно — к Вилли. А Лисси от Вилли — ко мне. Потом еще один круг: каждый супруг со своей супругой. Правильно?!

— О'кэй! — закивал Вилли.

Расплатившись, они вышли на улицу.

— Первая пара в машину! — распорядился Эрих и, взяв под руку Гретхен, повел ее к автомобилю.

Последними шли Криста и Бруно. Бруно долго возился с дверцей машины. Криста поежилась и запахнула меховой палантин, но ничего не сказала ему.

Когда поехали, Бруно включил электрическую печку и радио. Тихо играл джаз. Криста поглубже села на сиденье и слушала радио, чувствуя, как тепло от печки растекается по ногам, забирается под платье.

Перед зданием оперы они догнали две другие машины и свернули на залитую неоновыми огнями Картнер-штрассе.

Через несколько минут они подъехали к дому.

Первые две пары были уже в лифте. Поднявшись наверх, они подождали остальных, так как ключ от квартиры был у Кристи.

Когда все вошли в квартиру, Эрих быстро включил малый свет.

Все сели.

— Сначала надо что-нибудь выпить! — прогремел басом Вилли, запустив свою ручищу в водопад светлых волос Лисси.

Криста принесла джин и апельсиновый сок.

— Только не разбавлять! Чистый джин! — запротестовал маленький подвижный мужчина.

— Подожди кричать, еще рапо. — И Гретхен лениво положила голову на плечо Эриха.

Все выпили.

Бруно пил много, не разбавляя джина, остальные — понемногу, разбавляя его соком. Не пила только одна Криста, она лишь пригубила рюмку, не спуская взгляда с Эриха, который отвел глаза и поцеловал Гретхен в ухо. Толстوشка заворковала.

— Раздеваться! — воскликнул Эрих.

— Ура-а-а! — завопил Вилли, сбрасывая с себя смокинг.

Криста пошла в ванную комнату.

Все разделись и, сдерживая смех, перешли в соседнюю комнату.

— Но здесь только две кровати, — заметила Лисси.

— А детская кровать? — хрипло засмеялся Эрих.

Бруно стыдливо отошел к окну.

В этот момент в комнату вошла Криста; на ней было другое платье.

— А ты?! — сверкнул своими холодными голубыми глазами Эрих.

— Я только уложу ребенка, — улыбнулась ему жена. И она вынесла ребенка из комнаты.

Вилли начал подталкивать Лисси к постели.

— Подожди, все вместе начнем! — со злостью набросился на него Эрих.

Шли минуты, а Криста все не возвращалась.

— Ну что, старик, ты остался без пары? — посмеивалась над мужем Лисси.

Бруно ничего не сказал. Бледный, он стоял у окна. Все молчали.

Вдруг Эрих отпустил Гретхен и, подойдя к двери, позвал:

— Криста!

Тишина.

Он вышел из комнаты.

— Криста!.. Криста!.. — слышался его голос.

Четверо совершенно раздетых людей недоуменно смотрели друг на друга. Гретхен набросила на себя покрывало и прижалась к своему окаменевшему супругу. Лисси тоже направилась было к Бруно, но он жестом отстранил ее.

— Ушла... — сказал Эрих, входя в комнату. Он был босиком, на голые плечи внакидку наброшено пальто.

— А ребенок? — спросил Бруно.

— Забрала с собой.

Все ждали, что Криста вернется, но она не вернулась...

На следующее утро труп Кристи вместе с ребенком выловили из Дуная, в пяти минутах ходьбы от нашего отеля.

Ritournelle

...Диктор по радио объявил о посадке на наш самолет. К нам подошла голландская девушка в летной форме.

Вот и кончились мои венские воспоминания...

Когда мы вышли из зала ожидания, то заметили, как рано стало темнеть. Стоял серый мрак. На бетонной взлетно-посадочной полосе стоял, поблескивая огнями в окнах,

наш самолет. Традиционное пожелание доброго полета на четырех языках — и мы взмываем к рыхлым облакам.

Садимся в Копенгагене.

Уже как дома рассаживаемся в зале ожидания для транзитных пассажиров; перелистываем свежие иллюстрированные журналы и пьем апельсиновый сок, которым нас повсюду пичкают.

Проходит, возможно, с четверть часа. И вот «музыкальная шкатулка» снова заплмплякала, загорелось световое табло и девушка-датчанка нараспев объявляет посадку на самолет, направляющийся в Стокгольм.

СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ

(30 января —
12 февраля 1957 года)



Ничего особенного не случилось

Случилось это в 1957 году. В первое утро Нового года группа стокгольмских парней и девушек, возвращавшихся навеселе домой, подожгла несколько автомашин. Полиции удалось арестовать некоторых из них, после чего выяснилось, что это были отпрыски из богатых семей.

— Какой кошмар! Уму непостижимо!
Отец, хотя это ему было несвойственно, нервно заходил взад и вперед по комнате; паркет, на котором лежал толстый ковер, жалобно заскрипел под его тяжелыми шагами.

Сын сидел в кресле и курил.

— Объясни хоть, почему вы это сделали?

— Шутки ради. — Юноша пожал плечами.

— Ничего себе, хороша шутка — поджечь машину собственных родителей. Превосходная шутка!

— Купишь себе другую.

— Не в этом дело. — Отец резко остановился перед сыном.

— Как же не в этом! — Юноша затушил недокуренную сигарету. — Именно в этом все и дело. Если бы мы пошли на окраину города и там бы сделали то же самое, ты сейчас бы смеялся вместе с нами и говорил: «Хорошую поводниую шутку вы придумали!» Когда же это сделали с тобой, с такими, как ты, ты возмущаешься, — сын нервно встал, — и начинаешь разглагольствовать о родине,

о морали, о господе бже. А ну вас всех! — юнопа махнул рукой. — Вся беда именно в том, что тебе жаль «бьюик», жаль своих денег. Вот в чем все дело.

Сын потянулся за бутылкой, которая стояла возле кресла, и прямо из горлышка отпил несколько глотков коньяку.

У отца перехватило дыхание.

— Немедленно прекрати! — возмутился он и затряс головой. — Это просто ужасно! Невероятно!

— Правда всегда ужасает. Она ужасна и невероятна.

— Да ты настоящий анархист.

Юноша лениво шлепнулся в кресло.

— Я тебе уже не раз говорил, что никакой я не «ист» и ни в какие «измы» не верю. К сожалению!

Скрестив руки на груди, отец снова зашагал по комнате за спиной сына, бормоча что-то себе под нос.

— Да сядь ты наконец! — воскликнул сын. — Только зря вытираешь ковер, а ведь страховое общество тебе за это не заплатит.

— Ну вот видишь! — выкрикнул отец, уставившись на него серыми рыбьими глазами. — Ты еще и наглец впридачу. Нет, в мое время такого не было, ничего подобного не было. Я навьютяжку стоял перед отцом, пикнуть даже не смел.

— Ну и что в этом хорошего?!

Отец покачал головой, подошел к сыну и положил свою тяжелую руку ему на плечо.

— Скажи откровенно, разве я тебе в чем-нибудь отказываю, сынок?

Юноша покачал головой.

— Все, что тебе нужно, у тебя есть, не так ли?

— Все есть.

— Ну так в чем же тогда дело? Что случилось?

Юноша поднял прыщеватое лицо:

— Ничего особенного не случилось.

— Что? — с недоумением спросил отец. — Что такое?

Что ты сказал?

— Ничего особенного не случилось.

— Что значит «ничего особенного не случилось»?

— А то, что ничего особенного не случилось и не случится.

— А что тебе нужно? Что должно случиться? Война? Революция? Землетрясение?

— Все равно. — Ответил сын. — Хоть что-нибудь.

— Это уже слишком!

Отец так и застыл на месте, словно его током ударило.

— Хоть что-нибудь, — безнадежно повторил юноша. — Что угодно, лишь бы что-нибудь случилось.

В этот момент в комнату вошла мать, в халате, лицо у нее было сонное.

— Ложитесь-ка лучше спать! — сказала она. — Выспитесь как следует! Ветер снова принес туман.

— Как можно сейчас спать!

— Что с тобой, дорогой? — Женщина с удивлением посмотрела на мужа. — Куда делось твое знаменитое спокойствие? И именно сейчас!

Мужчина показал на сына:

— А ты у него, у него спроси!

— Но, дорогой мой, так же нельзя, — примирительным тоном сказала мать и подмигнула сыну, который не ответил на ее заговорщический взгляд и смотрел куда-то вверх.

— Да, да, — не унимался отец. — Знаешь, в чем причина всех наших бед? Только в том, что в мире ничего не случается.

— Как это понять, «ничего не случается»?

— А вот так, не случается. Ты что, не понимаешь?

— Нет, не понимаю... — неуверенно произнесла мать, переводя взгляд с мужа на сына и поправляя свои коротко подстриженные волосы.

— Я тебе сейчас это объясню, — засунув кулаки в карманы, начал муж. — Я тебе сейчас все объясню. Беда в том, что нам на голову не обвалилась крыша, что кругом тихо и спокойно, что... никто не поджег наш дом. А раз никто не поджег, надо хоть самому поджечь.

— Машину, папа, только машину, — заговорил сын, выдавливая себе прыщ на подбородке.

— Сегодня машину, завтра дом, а послезавтра всю страну. — Отец выдернул руку из кармана и с силой ударил по столу. — Вот как! — Задребезжал серебряный подсвечник, пламя свечи нервно заколыхалось. — Я понял бы, если бы это сделал какой-нибудь пьяный лесоруб-коммунист, но мой сын! Мой родной сын!

Несколько мгновений было тихо.

— Ты все преувеличиваешь, — первой нарушила тишину мать.

— Ничего я не преувеличиваю! Такова сегодняшняя молодежь! Она разрушает порядок, спокойствие, все, что мы берегли в течение двух войн. И это ради того, чтобы что-нибудь да случилось!

Мать подошла к сыну и, пригладив его лохматые бесцветные волосы, прижала его голову к своей груди.

— Я не верю, чтобы мой мальчик мог...

— Ах, — сын высвободился из объятий, — ты меня не понимаешь, мама. — Он встал. — Вы оба с отцом меня не понимаете.

— А можно вас понять? — развел руками отец. — Кто может такое понять?

Юноша подошел к столу и начал копаться в серебряной папироснице; он долго искал, наконец вытащил «Кэмел». Покрутил сигарету в узловатых пальцах, постучал концом о крышку папиросницы и, наклонившись к свече, прикурил.

— Мой прапрадед, — начал юноша, выпустив изо рта дым, — был викингом. Ты сама мне рассказывала. — Он посмотрел на мать. — Викинги плавали по морям, их ждали чужие земли, им принадлежал весь мир. Вот это была жизнь, настоящая жизнь! Жизнь с большой буквы. — Лицо юноши исказила гримаса. — А что из всего этого осталось на нашу долю? Ну скажите, что осталось нам?

— Те времена прошли, — заметил отец. — Теперь нужно жить иначе.

— И жить разумно, — подхватила мать.

— А если мир развалится?

— Может быть, где-то он и развалится, но у нас и тогда будет порядок и спокойствие.

— Да, правда, ничего другого, кроме порядка и спокойствия, у нас нет, — бросил сын. — Торчим в этом вашем порядке и спокойствии, как заливная рыба в желе. — Юноша обратился к отцу: — Боишься, что я разворошу его, это желе? — Он стряхнул пепел с сигареты.

— Сынок, — взмолилась мать, — нельзя же на ковер!

— Спасибо, мне твоего желе не надо. Ешь его сам.

— Тогда что тебе, собственно говоря, нужно? — Серые глаза отца застыли на сыне. — Уж не хочешь ли ты стать южноамериканским индейцем? Нет? С утра до ночи собирать сок каучуковых деревьев.

— Нет.

— Или хочешь стать алжирским арабом? Стоять у стенки с поднятыми вверх руками и чувствовать, как кто-то сует тебе между ребрами дуло автомата? Ты этого хочешь?

Юноша отрицательно покачал головой.

— Прекратите это! — нетерпеливо перебила их мать. — Зачем этот разговор? Ни к чему это. Мучаете только попусту друг друга. Разве без этого нет забот?

— Я обязан выбить из его головы дуры! — негодовал отец.

— Дорогой мой, в восемнадцать лет ты тоже хотел быть викингом. Со временем это пройдет.

— Мама! — воскликнул сын со слезами в голосе. — Но в этом дело!

Женщина махнула рукой.

— Разве ты знаешь, в чем дело? — Она дотронулась до лба. — Проклятая погода! И ты еще!.. У меня так болит голова, что, кажется, вот-вот расколется на части.

Муж подошел к ней, чтобы проводить из комнаты.

— Иди прими чего-нибудь успокоительного.

— Хорошо, хорошо, — закивала жена и шепнула: — Будь разумным! — В дверях она на миг остановилась, обернулась: — Ложитесь лучше спать и как следует выспитесь. — И, прижав ладонь к виску, вышла из комнаты.

Отец погасил свет и сел на пуфик у камина, поправил щипцами горящие поленья. Его лицо покраснелось от огня. Сын подошел к отцу и сел прямо на ковер, наблюдая за причудливыми танцами теней на стене, выросших до огромных размеров.

Первым заговорил отец, хлопнув тяжелой ладонью по плечу сына:

— Принеси-ка коньяк!

Тот принес бутылку и рюмки. Налил. Церемонно кивнув друг другу, они выпили.

— Еще!

Они выпили еще.

В комнату вошла горничная, раздвинула тяжелые гардины и подпала жалюзи. В окно потянуло густым туманом.

Взгляните, судары!

Взгляните-ка, сударь, вот на эту фотографию! Очаровательная женщина, не правда ли? Посмотрите на глаза, на ее большие голубые глаза. Ах да, цвета вы не увидите. А жаль, таких голубых глаз вы не встретите ни у какой другой женщины на всем белом свете. Голубое небо по сравнению с ними кажется просто серым. Не верите? И все же это так. Зато вы видите, какие они у нее большие. Но это всего лишь фотография!

А теперь обратите внимание на ее рот. Какой чувственный изгиб верхней губы! И она все время чуть-чуть дрожит. Этого даже не заметишь, только когда близко наклонился, тогда увидишь. Совсем-совсем близко. А ее поцелуй! Боже мой, как эти губы умели целовать! Об этом можно написать роман в двух томах. Если бы вам удалось написать об этой женщине, вы стали бы самым известным писателем на земле. Но лучше и не пытайтесь: вы еще слишком молоды и неопытны в таких делах.

Ели вы когда-нибудь печеное яблоко? Хорошо, хорошо, но только печенное не на плите, а в печи или духовке: мягкое, ароматное, туго обтянутое кожицей, которая вот-вот лопнет. Вам приходилось есть? Откусываешь от него — и по рту тает горячая ароматная мякоть. Откусываешь еще раз — и свежая масса сердцевинки хрустит на зубах. Вот таков и поцелуй этой женщины.

Подождите, я вам сейчас покажу другую фотографию. Вот, пожалуйста, взгляните на эту. Только не нужно корчить такую постную физиономию. Это ведь тоже женщина, не так ли? Боже мой, не всем же быть красавицами. Вас интересует, кто она такая? Никакой тайны тут нет — это моя вторая жена.

Я вижу, вам уже стало жаль меня, сударь? Рано еще, рано. В конце пожалеете. Угадайте лучше, кем мне приходится первая особа? Нет, нет, это не любовница и не юношеское увлечение. Ну? Все равно не отгадаете. Это моя первая жена. Не сочувствуйте, она не умерла. Она жива. Живет по сей день на родине. Мы развелись в мае пятидесятого. Весной уже будет семь лет. Нет, вы ошибаетесь, судары! Не она хотела развода. Могу смело сказать: она не хотела развода. Не подумайте, что я изменил ей или еще что-нибудь такое. Нет. Все было очень просто:

развелся, чтобы жениться на этой, второй. Хороша штука, не так ли? Не смотрите на меня как на глупца, сейчас все поймете.

До лета сорок девятого года не было у меня никаких бед. Больше того, я был важной персоной в местной коалиционной газете, представляя в ней интересы Партии (с большой буквы). Я писал статьи, читал различные лекции, короче говоря, делал все, что мне поручали. Работал с воодушевлением, был готов взяться за любое дело. В городе я пользовался неплохой репутацией. Летом сорок девятого года в области даже поговаривали о том, что при национализации более мелких предприятий меня назначат директором одного из них.

Осенью начались все мои беды. Отец жены в числе первых был занесен в списки кулаков. «Стал кулаком», как тогда добродушно говорили в налоговом управлении. Я даже не понял, почему он попал в этот список. В налоговом управлении это тоже не очень понимали, но указание сверху есть указание сверху. Что я мог поделать?! Скорчил рожу, а через несколько дней должен был разродиться статьей, направленной против кулаков. Жаль теста, но он прекрасно понимал, что иначе я поступить не мог. К тому же судьба дочери была ему дороже собственной.

Не прошло и месяца, как мою жену уволили с работы. Работала она в городском архиве. Уволили безо всякой мотивировки. Разумеется, мы-то понимали, почему, хотя и делали вид, что не знаем. Знакомым своим сказали, что жена сама не захотела работать. Все поверили, потому что тогда она как раз была в положении.

В конце декабря сорок девятого года проводилась окончательная национализация предприятий. Конечно, директором меня не назначили. Остался я ни с чем, хотя мысленно уже видел себя управляющим мельницы «Маутлипер».

Я не находил себе места. Поехал в область, пришел в обком. До этого я написал для газеты еще одну статью, боевую такую, принципиальную статью, разящую бывших капиталистов. Статья была опубликована, ее поместили в воскресном номере на видном месте. В обкоме партии меня удивило то, что при входе спросили удостоверение и выдали пропуск. К кому бы я ни подходил в этот день, никто не хотел со мной говорить. Бросят на ходу: «При-

вет!» или «Что нового?» — и уже бегут дальше, сославшись на срочное дело. Казалось, от меня шарахались, как от прокаженного. Ни к одному из секретарей я не попал, секретарши в приемной тоже сторонились меня.

В следующий раз произошло то же самое, если не хуже. Так я оказался не у дел. Нетрудно догадаться, почему. Я думал, что сойду с ума. Мы с женой были еще молодожены, ждали первого ребенка, и я даже представить себе не мог, чтобы расстаться с ней. А что это была за женщина! Такой красавицы не найти во всей области! Если бы вы знали, что за чудные волосы у нее были, цвета червонного золота, а как они благоухали! Дороже ее у меня ничего на свете не было.

Я стал подыскивать себе другое место. Другой специальности у меня не было, зато в автобиографии говорилось о происхождении жены. Так что куда хочешь, туда и обращайся. А идти на подсобную работу и получать за нее каких-нибудь шестьсот — семьсот форинтов не было никакого желания. Да это и понятно. А вы разве пошли бы? Вот видите. Не для того я долгие годы работал не разгибая спины, отстаивая интересы партии, чтобы в награду за это таскать кирпичи или мешки с мукой. Как я ни ломал себе голову, ничего не мог придумать. Видно, как ни больно, а надо разводиться. Иначе рано или поздно я совсем пропаду, а меня эта перспектива не устраивала.

Я начал пить, хотя желудок мой плохо переносит спиртное. Приходил домой пьяный, надеясь в душе, что жена не выдержит и сама оставит меня. Это было бы лучшим выходом. Но такую женщину, как она, трудно сыскать: как бы поздно я ни приплетался домой, она тотчас же вставала, подавала мне на стол горячий ужин, грела воду для умывания, приносила мыло и губку. И все это без слез и жалоб. Какому-нибудь забулдыге нравилась бы такая жизнь. Я же страдал от этого и потому не придирался к ней, не скандалил. Стоило мне лишь печально взглянуть на жену и увидеть в ее глазах страх, в горло у меня вставал комок. Я не в силах был сказать ей ни одного дурного слова.

Не знаю, как долго продолжалось бы это двусмысленное положение, если бы однажды мне не вернули мою статью, отказавшись напечатать ее. Это была не ахти какая хорошая статья, но и несколько не хуже других, ко-

которые публиковались до этого. «Ну, конец!» — резануло меня. Нужно что-то предпринимать, и немедленно.

Я поехал в область, прямо к начальнику отдела кадров. Мне повезло, я столкнулся с ним в коридоре, когда он вышел из кабинета первого секретаря. Я заранее обдумал все, что скажу: «Благодарю вас за товарищеское доверие. Я знаю, как обязан поступить. Я сделал выбор между партией и родственниками враждебного нам класса. Я развожусь».

И что же вы думаете? Мои слова ему очень понравились. Он похлопал меня по плечу и пожелал мне счастья, как будто я не разводиться собрался, а жениться. И снова я стал человеком: у меня не спрашивали удостоверения, все охотно разговаривали со мной, даже останавливались в коридоре. Казалось, все устроилось, но моя жена... Она одна ничего не знала. В то время она настолько была занята ожиданием ребенка, что ничего не слышала и не видела, а у меня не было сил сказать ей о моем решении.

Через неделю, а может и через месяц, я встретился в корчме со своим старым другом. У него был свой мотоцикл, и он частенько подвозил меня в область. (Ездил он обычно очень быстро и вскоре после этой пафосной встречи свернул себе шею.) Вот я и говорю, увидел я его в корчме. Он был выпивши и, едва я поздоровался с ним у стойки, сказал мне:

— Ну и ловкий же ты парень.

Так и сказал, безо всяких предисловий.

Я сделал вид, что не понимаю, о чем он говорит.

— Ладно, ладно, — закивал он, — я знаю, я все знаю.

— Что ты знаешь?

Вместо ответа он только рукой махнул. Мы выпили.

— Ты мог бы быть и половчее, — через несколько минут начал он снова.

— Как это половчее?!

— Половчее, и все.

— Ты что, тронулся, что ли?

— Женись на Рожи.

— Ты что, обалдел?

— Да брось притворяться, женись — и все.

— Рожи?

Он рассмеялся мне прямо в лицо. Хотелось тут же у стойки надавать ему оплеух, но нам принесли еще выпить.

— Ночью все кошки серы, — сказал приятель, выпив стопку, и еще громче расхохотался.

Пили мы палинку, настоящий сливовый самогон. Такой палинки здесь нет и в помине. Черт знает чего здесь только нет: джин, виски и всякие там другие спиртные напитки, а вот палинки... У той палинки и крепость, и вкус, и аромат какой. Я, разумеется, знал, кто такая эта Рожи. Она была очень некрасива. Рано осталась сиротой, воспитывалась у дядюшки, которого в то время как раз назначили начальником управления в министерстве. Я понимал, что с такой женой можно очень быстро, как на лифте, подняться по служебной лестнице. Два дня я колебался, потом наконец решился. Рожи была очень некрасива, вы видели ее фотографию.

Скоро весь город заговорил о том, что я развожусь с женой. И развожусь из-за Рожи. Весь город смеялся надо мной. Только моя жена все еще ничего не знала. Вы понимаете, что молчать дальше я уже не мог. В один вечер я как следует напился и, когда она мне открыла дверь, закричал:

— Ты мне надоела!

Она испугалась. Но потом, улыбнувшись, ввела меня в комнату и усадила на стул.

— Нечего скалить зубы! — заорал я на нее. — Я люблю другую!

— Кого? — спросила она.

— Рожи.

Я видел, что она не верит, и еще раз повторил:

— Рожи.

Услышав это имя, жена вдруг рассмеялась, да так добродушно, что я сам чуть было не засмеялся вместе с нею.

— Это не шутка, понятно?! — закричал я. — Завтра собери мои вещи, я ухожу из этого дома!

Только теперь она поняла, что я не шучу. Заплакала, стала гладить меня, хотела уложить в постель, чтобы я как следует проспался, но я грубо оттолкнул ее. Она встала передо мной на колени и стала умолять:

— Ты не сделаешь этого. Именно сейчас, когда я жду ребенка. — И она положила руку себе на живот.

— Мне не нужен твой кулацкий выродок! — выкрикнул я.

Она чуть не потеряла сознание. С трудом поднялась с пола.

— Ну и подлец же ты! — только и сказала.

После этого разговора она заболела. Ребенок умер, да и сама она чуть было не умерла. На третий день после развода я женился на Рожи. Первые три месяца мне было очень тяжело, а потом привык. Затем я написал разоблачительную статью об управляющем мельницы «Маутлингер», хотя это был скромный, тихий человек. Через несколько недель его сняли с работы, на его место назначили меня. Дальше события развивались с такой быстротой, что я едва успевал следить за ними. В том же году меня перевели в управление, потом в Будапешт, в министерство.

У меня была машина, жил я в Буде, где живут все шишки, знаете, на Холме Роз. Спросите, с некрасивой женой? Да, с ней. Но, имея хорошенькую секретаршу, можно вынести и это. А что вы хотите? Правда, продолжалось это недолго.

Летом прошлого года, когда у нас подул ветер реабилитации, я неожиданно в Пеште встретился со своей первой женой. Прошло шесть лет как мы развелись, и это была наша первая встреча. Она выглядела все так же очаровательно, она стала даже красивее, чем раньше. Я боялся встретиться с ней, но, пока я раздумывал, толпа — было это в Национальном театре на какой-то премьере — притиснула меня прямо к ней. Сначала я хотел сделать вид, что не заметил ее, но помимо воли у меня вырвалось:

— Как ты живешь?

— Теперь уже хорошо, — ответила она и повернулась, чтобы уйти. Она не хотела разговаривать со мной. Я спросил ее о том о сем, но она на все мои вопросы отвечала односложно: «да» или «нет». И ни слова больше.

С того момента я был одержим одним желанием — избавиться от постылой жены, освободиться от нее во что бы то ни стало. Первое время после свадьбы я жалел ее, такую некрасивую. Позже не обращал на нее никакого внимания, а теперь просто возненавидел. Из головы не выходила одна мысль: проживи я эти несколько лет с первой женой, перетерпи все, каким бы счастливым человеком я был сейчас! Была бы у меня красавица жена и очаровательный ребенок.

Рожи почувствовала приближение беды и стала совсем покорной, как побитая собака. Но это еще больше бесило меня: что бы она ни делала, все казалось мне плохим. Она

как тень ходила по квартире, однако стоило мне взглянуть на нее, как меня охватывало бешенство. В таком состоянии нас и застал октябрь¹.

Однажды утром, когда беспорядки усилились, я сказал Рожи:

— С меня довольно. Забирай свои тряпки и убирайся с глаз долой!

Она оцепенела, потом заплакала:

— И ты в такое время выгоняешь меня на улицу? Именно сейчас?

— Именно сейчас.

— Что плохого я тебе сделала?! Что?!

Она разрыдалась. Я разозлился еще больше. Схватил ее и начал толкать к двери. Рожи упиралась, кричала, билась головой о стену.

— Тогда уйду я! — И я ушел, громко хлопнув дверью.

На углу улицы меня встретил вооруженный мятежник. Он спросил, есть ли в нашем доме авоши².

— Не знаю, — ответил я, — смотрите сами. Но авоши везде есть.

— Это верно, — согласился он.

Всечером, когда я вернулся домой, жены уже не было. Привратница (правда, ей не очень можно было доверять) сказала, что Рожи увели мятежники.

Позже, когда пришли русские, я удрал за границу. А как же иначе? Не хватало только, чтобы откуда-нибудь появилась моя жена и донесла на меня.

Нет, нет, не перебивайте меня! Осталось рассказать совсем немного, потерпите. Я больше терпел, можете поверить.

Мне повезло. После нескольких недель пребывания в лагере для беженцев я сразу же попал сюда, в Швецию. С устройством на работу дело шло туго: как журналист я здесь не был нужен, а другой профессии не имел. За неимением лучшего я напаялся грузчиком на одну из мельниц. Можете смеяться надо мной, хотя будете не правы: вы даже не представляете, какие здесь мельницы! Соб-

¹ Имеется в виду октябрь 1956 года, когда силы внутренней и внешней контрреволюции развязали в Венгрии контрреволюционный мятеж. — *Прим. ред.*

² Так в дни контрреволюционного мятежа 1956 года мятежники называли сотрудников министерства государственной безопасности. — *Прим. ред.*

ствеппо говоря, мне почти не нужно было дотрагиваться до мешка с мукой. Но я и там недолго проработал, нашел себе более легкий заработок. Вы спросите какой? Вот теперь вы можете смеяться.

Знаете, здесь, на севере, мужчины рано стареют. Черт знает от чего, то ли от больших холодов, то ли от злоупотребления алкоголем, но это так. Поэтому многие женщины не имеют детей. Так вот здесь иногда нанимают здорового во всех отношениях мужчину, чтобы иметь от него ребенка. Этим я и занимаюсь! За хорошие деньги, сдельно. Такса обычно пятьсот крон, но мне, как «венгерскому борцу за свободу» или черт его знает за что, платят по семьсот. Хотя сами понимаете, за что. Словом, на этом рынке я в цене, вот так-то.

Ну что вы на меня так смотрите?! Чем-то и мне нужно жить.

Об этом знают только ели

В трамвай они сели на четвертой или пятой остановке. Женщина попыталась усадить ребенка рядом с собой, но он отстранился от матери, порывя поскорее вырваться из-под ее опеки. Мужчина поставил санки на площадку вагона, взял билеты и встал перед женщиной, устремив взгляд холодных голубых глаз в окно.

Трамвай, вздрогнув, покатился по склону холма. Мужчина покачнулся и паступил мальчику на ногу.

— Ой! — вскрикнул малыш.

— Ну, не будь таким пеженкой! — дернула к себе сына женщина.

Мужчина даже не взглянул на них. Он схватился рукой за поручень и продолжал стоять в том положении, в какое его толкнула сила инерции. Ребенок же, словно раненая птица, поджал под себя ушибленную ногу.

Вскоре дома справа от трамвайной линии кончились и показались запорошенные снегом скалы. Выше черпел хвойный лес. Земля была окутана легкой дымкой тумана.

— До какой остановки поедет? — спросила женщина.

Мужчина посмотрел в противоположное окно, за которым еще мелькали редкие виллы, и сказал:

— Проедем дальше.

Ребенок перевел взгляд на мать. Она заметила этот взгляд и, достав из сумочки плитку шоколада, протянула сыну:

— На, возьми.

Тот затряс головой.

— Возьми, тебе говорят! — На ее лоб набежали морщины.

Однако мальчик шоколада не взял.

— Хотя бы приличие понимал, — сердито пробормотала женщина. — Сказал бы спасибо.

Мальчик стал рассматривать свою ногу, на которую только что наступил мужчина.

В трамвае было мало пассажиров. Рядом с женщиной сидел какой-то пожилой человек и дремал. От него шел резкий запах спиртного. Временами он просыпался и начинал бормотать какую-то старую матросскую песенку, в которой были такие слова: «Олаф, держи парус... держи...»

Кондукторша с равнодушным видом сидела на своем месте возле двери и раскладывала монетки столбиками. Щелкнул динамик, прикрепленный на потолке вагона, и хриплый голос объявил следующую остановку. Заскрипели тормоза, и вагон остановился.

Мужчина посмотрел в обе стороны. Далеко слева виднелись отдельные домики, с правой же стороны высился массив густого хвойного леса. Женщина взяла ребенка за руку. Мимо промчался грузовик, разбрасывая из-под колес желтую кашицу снега.

— Не здесь, — сказал мужчина.

На этой остановке они не сошли.

Вдруг ребенок засмеялся.

— Ты чего? — дернула его за руку мать.

Мальчик ничего не ответил, а только показал на промчавшийся грузовик. В его кузове лежали длинные трубы, на конце которых, словно флаг на ветру, развевалась черная тряпка.

— Ну и что в этом смешного? — недоумевая, спросила мать.

Однако мальчик продолжал смеяться.

— Ты слышал, что я тебе сказала?! — строго прикрикнула на него женщина.

Мальчик вздрогнул и замолчал.

Напротив на скамейке сидела молодая пара и целовалась. Спокойно и безо всякого стеснения. Никто из пассажиров не обращал на них внимания.

Женщина посмотрела снизу вверх на своего спутника и взяла его руку в свою. От ребенка не ускользнул этот жест матери, а когда он заметил, что она гладит своими пальцами здоровую, поросшую рыжими волосами руку мужчины, застонал:

— Не надо!

— Что не надо? — испуганно спросила мать, глядя мальчику в лицо. Пальцы ее, которыми она ухватилась за руку мужчины, даже побелели от напряжения.

— Не надо! Не надо!

Мужчина бросил холодный взгляд по сторонам и, наклонившись к мальчику, спросил, чуть улыбнувшись:

— Чего ты боишься? Я уже говорил тебе, что мы едем кататься на санках.

И, вырвав свою руку из пальцев женщины, он показал в угол площадки, где стояли санки. Мальчик замолчал, но на санки не взглянул. Быстрым движением он схватил руку матери и поцеловал.

— Не делай глупостей! — строго проговорила женщина и хотела было отнять руку, но мальчик не выпустил ее.

— Оставь его! — сказал мужчина и, обращаясь к мальчику, добавил: — Я знаю в этих местах отличную горку, с которой хорошо кататься на санках. Туда мы и едем.

— С папой мы никогда сюда не ездили, — проговорил мальчик и посмотрел на мать, видимо, ожидая подтверждения своих слов.

— Дядя Карл лучше знает хорошие горки, — заметила она.

Ребенок безучастно стал смотреть в окно, за которым плыл окутанный легким туманом лес.

— ...Олаф... держи паруса! ...Олаф... — бормотал пьяный сосед. Заметив мальчика, он улыбнулся и стал подзывать его к себе: — Иди ко мне!.. Иди!.. Я возьму тебя в море! — он ткнул рукой в неизвестном направлении. — Везде вода, одна вода... Дует свежий ветер... — И он снова протянул руку. — Ну, иди же!

Мальчик с удивлением рассматривал пожилого человека и хотел было уже подойти к нему, но мать прошептала на ухо:

— Никуда не ходи!

Тот посмотрел на них водянистыми глазами и снова задремал.

Через несколько минут объявили следующую остановку. Трамвай остановился. Сошли только трое: мужчина, женщина и мальчик. Мужчина усадил ребенка на санки и повез в сторону леса. Женщина шла рядом. Ветер играл выбившейся из-под меховой шапочки прядью светлых волос.

Молодая пара в трамвае с завистью смотрела им вслед.

— Посмотри, какое милое семейство! — сказал парень.

— Ага-а! — кивнула девушка и, притянув его к себе, поцеловала.

Между тем мужчина и ребенок уже скрылись за густыми елями.

Вечером мужчина и женщина возвращались в город одни. Ребенка с ними не было. Не было и санок. Женщина села на скамейку трамвая, мужчина встал перед ней.

— Дорогой мой! — тихо прошептала она и, схватив его огромную рыжую ручищу, прижала к груди.

Мужчина ничего не ответил. Его холодные голубые глаза уставились в окно, где сгущавшийся туман окутывал мрачный хвойный лес.

Заключительная мозаика

Хорошо известно, что шведы — народ нейтральный. Такими их считают уже более ста лет. Когда сидишь у себя дома, нейтралитет шведов ассоциируется с понятием счастливого спокойствия, тишины и мира.

Однако, когда попадаешь в Швецию, все это выглядит иначе.

Когда гитлеровцы напали на норвежцев, братский шведам народ, и бросали норвежцев в концлагеря, шведы покорно молчали, так как они нейтральны, и продавали немцам сталь для самолетов, которые бомбили Лондон. И сейчас, когда кое-кто не прочь развязать третью мировую войну, шведы натягивают одеяло на голову, чтобы не видеть и не слышать этого, и опять-таки потому, что они нейтральны.

Хорошо, если бомбы падают не на твой дом, когда вокруг уже разрушено полмира; хорошо спокойно есть вкусно поджаренную баранью ножку, когда другие ссорятся из-за куска дохлой коницы; хорошо сидеть в тепле и играть в карты, когда другие ставят на карту собственную жизнь.

Но хорошо ли жить на свете с такой совестью?

Я был жесток и однажды спросил об этом своего коллегу — одного шведского писателя.

Он долго не отвечал, глядя прямо перед собой, а потом сказал:

— Уж лучше бы мои предки остались викингami!

Мы в научно-исследовательском институте. Повсюду такой порядок и такая чистота, о которых можно читать только в научно-фантастических романах. Повсюду современная мебель, различные склянки, сосуды, хромированные металлические подставки.

По лабораториям и кабинетам нас сопровождал молодой шведский ученый. В библиотеке мы поделились с ним своими впечатлениями, выразив восхищение увиденным. Ученый посмотрел по сторонам, покивал головой и сказал:

— Это может очень надоесть. — И его лицо исказила гримаса отвращения.

В Западной Европе привыкли ругать американцев. В Париже или Лондоне их ругают больше, чем, например, в Будапеште. И более зло и жестоко.

В Стокгольме тоже говорят об американцах. Когда речь дошла до меня, я высказался о них с пренебрежением, свойственным англичанам, и едким сарказмом, характерным для французов. И сразу заметил, что вокруг меня воцарилась какая-то ледяная тишина.

— Возможно, у вас на этот счет другое мнение? — спросил я.

Мне ответил пожилой степенный мужчина:

— Мы знаем, сударь, что американцы такие, но нас это несколько не касается. Важно, что они существуют, иначе мы не смогли бы быть нейтральными — между американцами и русскими.

И он посмотрел на меня своими холодными голубыми глазами, как бы спрашивая, понял ли я его.

Я кивнул, сделав вид, что понял. И посмотрел в окно, на площадь короля Эрика. Мне показалось, что я слышу его крик, идущий откуда-то из глубины.

Эпилог

Мерно гудят моторы, дробно вздрагивает алюминиевое тело самолета. Под нами уже не море, а горы, Карпаты. Их снежные вершины тянутся к небу. Еще несколько минут — и они уже остались где-то позади. Мы летим домой. На родину.

Тучи редеют, видимость улучшается. Под крылом самолета снова горы. Это Матра, это уже Венгрия. Самолет делает большой разворот. Под нами расстилается Альфельд — огромная венгерская равнина, словно гигантская раскрытая книга. Земля окутана легкой дымкой, и от этого она кажется еще красивее и реальнее.

А вот и Будапешт. Я вижу ленту Дуная и Будейские горы. Самолет идет на снижение. В ушах шумит. Я уже различаю длинные аэродромные ангары, широкую взлетно-посадочную полосу и аэровокзал.

Встречаешь ли ты меня? Ждешь ли?

Колеса коснулись бетонной дорожки. Мы с Дьюлой переглядываемся, улыбаемся друг другу. К двери подкатывает трап, и мы выходим из самолета.

На балконе аэровокзала что-то краснеет. Крохотное красное пятнышко. У маленькой Марики есть такое пальто. Забыв об официальных церемониях, я бегу по освещенному солнцем бетону к аэровокзалу.

Да, это маленькая Марика. А рядом с ней — ты. Милая, красивая. С вами Дюрка, мой настоящий друг.

Я дома. Дома.



НОВЕЛЛЫ

*

*

*

На сжатой пашне, среди маков

Вверху на железнодорожной насыпи работали солдаты. Их было семеро. Один из них зубилом и молотом немного сдвигал с места костыли, а остальные шестеро, в каждой группе по трое, шли за ним следом и большой железной лапой с длинной ручкой вытаскивали эти костыли из шпал.

Было ужасно жарко.

Солнце парило безжалостно, и воздух казался раскаленным. Солдаты снимали с себя френчи и бросили их у насыпи впризу, рукава рубашек закатали выше локтей. Работали молча, без особого воодушевления.

Солдат с зубилом в руке поднимает вверх руку, прося тишины. Шестеро бросают работу и застывают без движения на месте. Солдат с зубилом прикладывает ухо к рельсу и напряженно вслушивается, двигаются лишь его маленькие черные усики. Наконец он встает и кричит:

— Поторапливайтесь!

Все шестеро молча кивают и принимаются за работу. Слышен лишь скрип ржавых костылей, вытаскиваемых из шпал.

Недалеко от этого места возле тропинки стояло распятие. Поставлено оно было на небольшом насыпном холмике, поросшем травой и тамариском. Холмик этот являлся единственным возвышением на всей равнине. К старому, покосившемуся от времени деревянному кресту была приколочена вырезанная из жести, местами уже покрытая пятнами ржавчины фигура Христа, которая дрожала от малейшего дуновения ветра, издавая неприятный металлический скрежет.

В траве, у самого распятия, лежали солдаты. Один из них, встав на колени, оглядывал в бинокль местность вдоль железнодорожного полотна.

Откуда-то издалека доносились раскаты артиллерийской канонады, которые не затихали ни на минуту. Казалось, они тоже были частью пейзажа — этой раскаленной солнцем равнины с густо разбросанными вдоль дороги белесыми копнами соломы. Неподалеку от копен на тропинке сыротно стояла брошенная людьми молотилка. По краю скошенного жнивья то тут, то там виднелись беспомощно склонившиеся головки красных маков.

— Хорошо бы сейчас искупаться, — проговорил один из солдат, глядя на пропитанную потом спину товарища, стоявшего на коленях и осматривавшего в бинокль местность.

— Хотя бы попить чего-нибудь, и то хорошо, — заметил другой.

— Возьми флягу да попей.

— Вода там теплая.

— Принеси свежей.

— Откуда? Выжать воду из ничего, как это сделал святой Ласло?

— Да нет, зачем тратить силы на это? Здесь должен быть колодец, нужно только разыскать его.

— Я уж все глаза проглядел, да не нашел.

Далеко позади солдат посреди дрожащего от жары марева действительно находился одинокий колодец с журавлем, задранным высоко в небо.

Солдат, стоявший на коленях, опустил бинокль и, словно ни к кому не обращаясь, спросил:

— Интересно, когда они тронулись в путь? — И, не дожидаясь ответа, вынул из кармана часы и открыл крышку: стрелки показывали без двадцати пяти минут двенадцать.

— Под Сольноком такая заваруха... — сказал невысокий, плотно сбитый пожилой солдат без каких-либо знаков различия на воротнике, но по виду не рядовой. — Такая заваруха, — повторил он, как-то странно выговаривая слова — так обычно говорят жители из комитата Бекеш и Хайду.

Солдаты посмотрели на своего командира, который все еще держал в руках бинокль. Он спросил:

— А что говорил этот дядька, который ехал на по-

возке? В каком месте он встретился с румынскими солдатами?

— Между Орошхазой и Депарошфюрде, — ответил пожилой солдат.

— Это случилось на рассвете, часа в три, да?

— Да, что-то около этого.

— И много было румын?

— Я же говорил, что он мало что заметил, да и не разбирается он в этом. Простой забитый крестьянин... Что он может сказать?

— Он говорил, что вражеских солдат было много, — перебил пожилого другой солдат. — Все они вповалку спали вдоль дороги, и на лугу их тоже оказалось полным-полно.

Командир на миг задумался.

— Балог, — обратился он к солдату, которому хотелось искупаться, — примите дежурство. Если заметите противника, немедленно дайте мне знать: один длинный свисток. И чтобы никакой стрельбы и никакого шума! — Командир по очереди оглядел своих солдат. — Вы начнете двигаться только тогда, когда услышите три пулеметные очереди — две короткие и одну длинную...

Балог поднялся с земли и, вытянувшись по стойке «смирно», ответил:

— Понял, товарищ командир!

— Осторожней обращайся с биноклем. — Командир передал его наблюдателю. — Он у нас один-единственный!

Позади брошенной в поле молотилки, там, где тропинка делала поворот, находилось пулеметное гнездо. Ствол пулемета был нацелен на железподорожную насыпь. За пулеметом лежали двое солдат.

Один, тощий и подвижный, длинными нервными пальцами все время трогал замок пулемета.

— Черт бы его побрал, заедает! В такое время всегда заседает! — ворчал он.

Другой солдат лежал на спине в поросшем травой придорожном кювете, подставив солнцу обнаженную грудь, френч и рубаха у него были расстегнуты. Рядом с ним на траве виднелась его фуражка, а в ней мелкие, неказистые на вид груши.

— Хороши! — проговорил он, с жадностью впиваясь зубами в грушу. — Прямо-таки королевская еда!

— Заедает патрон.

— А какой аромат! — И солдат, евший грушу, аппетитно прищелкнул языком.

К ним подошел командир, подошел пригнувшись, маскируясь, и сразу же встал на колени за пулемет.

— Что-нибудь случилось? — спросил он худого солдата.

— Ничего, только вот...

— Что только? — И он нетерпеливо отстранил солдата от пулемета. — Подожди, я сам! — Быстрыми уверенными движениями он начал вставлять в коробку перекосившийся замок.

Все кругом, казалось, замерло от жары и духоты. Далекая артиллерийская канонада так надоела, что ее уже как будто и не замечали.

Семеро солдат, работавших на железнодорожном полотне, прекратили работу. Спустившись с насыпи, они забрали свое обмундирование и разлеглись невдалеке.

Из пулеметного гнезда были видны лишь скирды соломы да железнодорожное полотно.

Вдруг раздался длинный свисток.

И снова тишина, только еще более напряженная и тревожная.

Далеко, почти на самом горизонте, появилось облако пыли — это скакали конники. Они мчались через жнивье, вытянувшись длинной кавалькадой. Гул от множества копыт был такой, словно лошади скакали по поверхности огромной пустой пещеры.

Вот они галопом подскакали к молотилке и повернули на дорогу. Командир и оба солдата прильнули к пулемету, все трое усердно протирали глаза от поднятой копниками пыли. Солдат, который еще недавно ел груши, достал из коробки ленту с патронами и соединил ее со следующей лентой. Он и в этот момент все еще не переставал что-то жевать.

Несколько поотстав от остальных всадников, низко пригнувшись к лошади, проскакал последний конник. На ходу крикнул командиру:

— Идет!

Командир кивнул и, ухватившись за ручки пулемета, направил дуло в сторону железнодорожного полотна.

Жара не только не спадала, а стаповилась еще более невыносимой. Солнце стояло в самом зените, на голубом

небе ни облачка. Раскаленный воздух дрожал. С севера все так же монотонно доносились пушечные выстрелы.

По железной дороге, тяжело пытая, двигался бронепоезд. Это был самодельный бронепоезд, похожий на бегемота, с открытой платформой спереди, вслед за которой шел обыкновенный вагон, обшитый стальными листами. В нем были установлены пулеметы.

— Эта громадина похожа на итальянскую, — начал солдат, евший груши, — такие я видел под Монте-Гранпой.

— Французская, — бросил командир.

— Французская?

Бронепоезд поливал огнем все вокруг. Сначала загорелась одна соломенная скирда, за ней — вторая, а потом и все остальные. Запахло порохом и дымом. Тишина была нарушена, мирного пейзажа как не бывало. За каких-нибудь несколько минут все переменилось: вошел в действие жестокий закон разрушения.

Вот открытая платформа, катившаяся впереди бронепоезда, въехала на участок пути, с которого были вытасканы все костыли. Послышался страшный шум, лязг, а через несколько секунд бронепоезд оказался на шпалах.

— Вот так-то, — довольным тоном заметил командир. — Ловкий парень этот машинист, такие нам нужны.

— Можно начинать? — спросил высокий солдат, лежавший за пулеметом.

— Теперь можно.

— Пора уж, — заметил третий, вытаскивая из кармана новую грушу и деловито откусывая.

Командир дал три условленные очереди по бронепоезду — две короткие и одну длинную.

Машинист попытался дать задний ход, чтобы снова въехать на рельсы. Паровоз вздрогнул, шевельнулся, но с места не сдвинулся, а еще глубже осел на шпалы.

Командир на миг перестал стрелять, наслаждался моментом, и сказал:

— Я же говорю, что этот машинист отличный парень и как раз к нам в руки попал.

— Загорелся, — заметил солдат с грушей.

— Сейчас он узнает, что такое красные.

С бугорка поползли солдаты, потом поднялись в рост и побежали к насыпи. В центре бежал Балог, держа в руке связку гранат. Времени у него не было, он взмахивал то левой,

то правой рукой. Пулемет снова затараторил, прикрывая идущих в атаку бойцов своим огнем.

Пули свистели в воздухе, со звоном ударяясь о стальные листы обшивки вагона.

— Разобьем их, разгромим сволочей! — кричал Балог.

Неожиданно пулемет, стоявший возле молотилки, замолчал. Теперь стреляли только с бронепоезда.

Подбежав к паровозу, Балог метнул одну связку гранат, затем другую.

С противоположной стороны железнодорожного полотна на бронепоезд наступали красные конники. Впереди скакал кавалерист, который недавно ехал последним и предупредил командира о приближении бронепоезда. В руках он держал пистолет, из которого палил по бронированному вагону. С двух сторон солдаты карабкались на насыпь. Трещали винтовочные выстрелы, что-то кричали атакующие бронепоезд бойцы, а позади распятия ярким огнем горели скирды соломы.

— Посмотри-ка, командир! — кричал худой солдат, лежавший за пулеметом. — Посмотри на нашего Балоба!

— Куда он прет на погибель!

— Лезет, как муха по стенке!

Балог действительно, словно намагниченный, карабкался на бронепоезд. Вот он метнул гранату в окошко машиниста.

Варыва гранаты Балог уже не слышал, он лишь заметил яркую вспышку. Боли он тоже не почувствовал. Перед глазами его развернулось большое-большое озеро, по берегам которого росли огромные платаны, высокие каштаны и развесистые плакучие ивы. Шелестела на сильном ветру осока, гнулся тростник.

А в озере том полным-полно купающихся солдат, которые кричат, хохочут, брызгаются водой. Вместе с солдатами купается и командир, он то плывет, делая энергичные взмахи руками, то ложится на спину и отдыхает.

— Балоба положите отдельно, — приказал командир, когда бой кончился.

— Где будем хоронить? — спросил солдат.

— Где? — Командир осмотрелся и, вытерев с лица пот и пыль, показал рукой: — Вот там. У распятия. —

И оглядел солдат, опытных радостью только что одержанной победы. — Нужно заметить это место, чтобы потом знать, где похоронены герои.

Одиночество

Не знаю сам, зачем я пишу это письмо, ведь все равно не смогу отправить его тебе, мама. Семь лет назад, в сентябре сорок шестого года, я послал тебе свое последнее письмо из Марселя, перед самой посадкой на пароход. Я хорошо помню, как отнес его в порт, на почту. Помню, как симпатичная девушка с каштановыми волосами (вот только позабыл цвет ее глаз) открыла окошечко и протянула руку с длинными топкими пальцами за письмом. Из окна на противоположной стороне на каштановые волосы девушки, стянутые в пучок, падали предзакатные лучи солнца. Девушка была очень красива, лицо ее чем-то напоминало Монну Лизу... Я уверен, что тебе она тоже понравилась бы.

Думаю, что девушка эта была самым чистым созданием, которое я видел за последние семь лет. Отдавая письмо, я ей сказал только одно-единственное слово: «Хунгария». В ответ девушка незаметно улыбнулась (так, насколько я помню, умеешь улыбаться только ты), сказала: «Два франка» — и с шумом поставила почтовый штемпель на конверт.

Семь лет — время немалое, мама. Ты, поверное, думаешь, что я давным-давно погиб. Но нет, я жив. Жив. И живу я на загадочной чужой земле, где меня ежедневно и ежечасно подстерегает смерть.

Вот сейчас я сижу и пишу тебе письмо. Так человек в предчувствии близкого конца не может примириться с собственной совестью и должен хоть что-нибудь сделать...

Какое это странное слово «совесть», с тех пор как я попал в Ипдокитай, я ни разу не произнесил его ни по-венгерски, ни по-французски. О нем я вспомнил только сейчас, когда присел в бараке на край ящика из-под сахара и, освещая карманным фонариком лист бумаги, пишу тебе это письмо.

Я очень одинок здесь, во всем форте я один-единственный венгр. Этот лист бумаги — мой единственный друг, так как ему я доверяю свои мысли.

Вот уже пять недель, как мы мучаемся в этом проклятом форте, расположенном на берегу реки. Вот уже пять недель, как мы предоставлены самим себе, и с каждым днем вьетнамские партизаны все туже и туже затягивают кольцо вокруг нас.

Сейчас в нашем распоряжении столь небольшой клочок земли, что крики из одного угла — в противоположном слышно будет. С утра до наступления темноты вокруг нас рвутся мины, а из-за деревьев свистят пули. Мы же сколько ни стреляем из пистолетов, винтовок, автоматов, даже из пушек и огнеметов — все наши старания напрасны: джунгли остаются джунглями...

Я уже не могу выносить свое одиночество, мама, и потому пишу тебе это письмо, чтобы не так сильно его чувствовать.

Я знаю, ты мне скажешь, что мне пужно было тогда послушаться тебя и остаться дома. Как ты плакала, как умоляла меня об этом! Я как сейчас помню вечер двенадцатого сентября сорок четвертого года, который мы провели вместе с тобой. Я как сейчас вижу перед собой паш старенький календарь с цифрой «двенадцать». Ты сидела в углу на диване и все время повторяла одни и те же слова: «Беги, сынок, беги! Я спрячу тебя где-нибудь на винограднике, спрячу так, что там тебя никто не пайдет!» И смотрела на меня умоляющими, заплаканными глазами.

Я посмеялся тогда над тобой, назвал твои слова бредом, чепухой, хотя на самом деле мне так хотелось броситься к тебе в объятия. Но я боялся. Я тогда всего боялся: боялся вернуться на фронт, боялся дезертировать из хортистской армии, хотя уже давно не верил в пропагандистские рассказы о том, что «Венгрия является бастионом Европы», и тому подобным заявлениям, однако у меня не хватало сил, чтобы воспротивиться этой преступной лжи. Я, словно трусливый ребенок, шел за хортистскими горлопанами, к которым меня настойчиво толкал отец; и вольно или невольно я стал убийцей, хотя и не горлопаном, но все же стал.

Ты скажешь, что меня обманули. Да, обманули, опустошили мою душу. Я разучился смеяться и могу только... ржать.

Здесь я прервал свое письмо, так как Франци — немецкий парень — закричал во сне, забился. С ним такие припадки происходят довольно часто. Он смелый парень. Но стоит ему уснуть, как он забывается, бьется на нарах и кричит: «Отпустите моего сына, убийцы!» До этого мы и не знали, что у него есть сын и вообще кто-нибудь из родственников.

Две недели назад в зарослях кустарника на берегу реки он поймал вьетнамскую женщину с маленьким ребенком, который был привязан у матери за спиной. Он привел вьетнамку в форт. Станные и страшные эти вьетнамки, маленькие, худые. Однако несмотря на это, их невозможно сломить. Сколько Франци ей ни задавал вопросов, она упорно молчала. Сначала Франци пытался говорить с ней ласково, но она не поддавалась. Тогда немец рассвирепел и винтовочным шомполом ударил ее по спине, где у нее был ребенок. Малыш закричал, а мать вцепилась Франци в горло.

Что было потом; я не знаю, я ушел в барак, чтобы не видеть этой страшной картины. Спустя некоторое время я услышал дикий хохот Франци... но этот хохот скорее был похож на вой волка. Когда же полчаса спустя я пошел на кухню за обедом, то увидел труп ребенка под пальмой, облепленный зелеными мухами.

С тех пор Франци стал по ночам во сне вспоминать своего сына. Днем же это был прежний веселый и бравый парень.

Тебе страшно, мама, оттого, что твой сын попал в такую ужасную компанию? Ты откажешься от такого сына, родившегося в семье порядочного чиновника? Поверь мне, мама, я несколько не хуже своих предков-офицеров: как и они, я за небольшое вознаграждение служу тем, у кого больше денег, чем у меня, а если во время исполнения своих служебных обязанностей мне придется видеть что-нибудь неприличное, я стараюсь не замечать этого. Я действительно несколько не виноват в том, что мир со времен моего деда и отца изменился, изменилась и служба в армии. Только вознаграждение за службу осталось столь же ничтожным.

Я получаю так мало, мама, что этих денег еле-еле хватает на то, чтобы прокормиться в какой-то паршивой столовке. А какие здесь отвратительные жепщицы, если бы ты только могла видеть! И все же, несмотря ни на

что, они тоже нужны. В день получения заработка мы готовы переругаться и передрались друг с другом за более красивую (какая уж там красота!) из них, так как это одно-единственное развлечение в этих местах. Словом, я в таком положении, что тебе впору посылать мне деньги, как ты это делала, когда я учился в интернате в Ньиредьхазе.

Я помню, как ты посылала мне деньги. Особенно приятно было, получив их от тебя, пойти посидеть в кондитерскую. Охотнее всего я ходил к Бачику, садился в полутемном уголке голубого салона и мысленно переносился домой, потом появлялась официантка в белой наколке и ставила передо мной на стол взбитый крем. Стулья и кресла салона, обитые голубым плюшем, напоминали мне твоё бархатное платье василькового цвета, в котором ты мне особенно правилась...

Куда делись те великолепные дни?!

Как хорошо я тогда себя чувствовал! В голове у меня было полно планов о преобразовании мира, юношеской горячности. Я хотел стать архитектором. Помнишь? Целыми часами напролет бродил я по центральной улице нашего города, думая о том, как его можно перестроить. В левом углу площади, несколько отступив в глубину, чтобы площадь стала побольше, я мыслил построить громадное здание театра, украшенное греческими колоннами, справа — шестиэтажный жилой дом с большими широкими окнами. Прохаживаясь между маленькими приземистыми домишками, я думал о том, как на их месте построить красивые современные здания.

Самое красивое здание я мысленно планировал построить в конце улицы Шошто, перед лесом. Специально для тебя, мама. Я хотел, чтобы вокруг тебя было только все красивое, так как ты сама научила меня чувствовать и понимать красоту. О смерти я тогда не думал, мама. Я хотел стать архитектором, который скажет своё веское слово в утверждении новой европейской культуры. А видишь, где я оказался, до чего докатился: мне уже тридцать лет, а я вовсе и не жил так, как мне хотелось.

И во всем этом виноват мой отец. Ты всегда понимала меня, мама, знала о моих планах, мечтах, а он и думать об этом не хотел. А ведь сколько я спорил с ним! И все напрасно. Ты хорошо знаешь, что он хотел, чтобы я, сын судьи, сделал карьеру, стал офицером, дослужился

бы до полковника, а может, даже попал в Пешт в генеральный штаб. «Архитектором хочешь стать?! Какие глупости! — кричал он на меня. — У человека, разумеется, должен быть приличный дом, и достаточно. Тебе нужны не рыцарские замки, театры и разные архитектурные диковинки, а почетная, уважаемая должность, которая обеспечит тебе хороший кусок хлеба на старости лет».

Теперь я признаюсь, мама, что иногда, когда тебя не было дома, мы с отцом буквально сходили с ума, споря о моем будущем.

Как сейчас вижу: отец бежит вокруг большого обеденного стола и, размахивая руками, кричит на меня: «Я из тебя выбью эти глупости! Эти дурацкие иллюзии!»

Не сердись на меня, мама, что я так пишу о мертвом, но я и сейчас не могу простить ему этого. Не могу простить, что все мои мечты были напрасными, не могу простить, что он обломал мне крылья, настоял на своем. И вот видишь, я теперь имею почетную должность. Я лейтенант иностранного легиона во французском Индокитае, я могу подниматься по служебной лестнице хоть до генерала (если до этого не повстречаюсь со смертью), а от прекрасных моих мечтаний не осталось и следа. Я сделал «замочательную» карьеру, а чудесные здания вместо меня будет строить в родном городе кто-то другой.

Другой...

Где же я оступился?

Слезы подступили у меня к горлу, и я долго не мог писать дальше. Повалился на вары и остекленевшим взглядом смотрел на открытую дверь барака, слушая храп и бормотание спящих. Потом заплакал. Последний раз я плакал очень давно, наверное, лет двенадцать-тринадцать назад, еще дома, ребенком. Но тогда, выплакавшись, я чувствовал блаженное успокоение, а теперь его нет как нет. Напротив, слезы как бы развели мою душу. Мне очень жаль, что жизнь моя прожита впустую.

Сейчас я сел поближе к двери, чтобы не так слышать храп спящих, доносившийся из темноты. Теперь я слышу шум воды в реке. Это хорошо, что красиво, и это единственная красота, которая мне еще осталась. Послушаю, как шумит вода, звенит в камнях, несет свои воды к морю...

Вот где-то в небе послышался шум моторов: это наши ночные бомбардировщики Б-26, я узнаю их по шуму. Они летят за реку, на север. Еще несколько часов, и наступит рассвет, и тогда мы будем продолжать то, что делали вчера. Тогда, мама, я снова прерву мое письмо к тебе, и кто знает, может, так никогда и не закончу его...

Вот я слышу, как за рекой начали рваться первые бомбы. Стол ходит ходуном. А бомбы все сыплются и сыплются на землю. Буквы с острия моего карандаша срываются неровные, разбегаются по бумаге вкривь и вкось. Это они, видно, со страху. И мне страшно.

За рекой послышалась стрельба, языки пламени лижут горизонт, а упругие воздушные волны от взрывов бьют мне в лицо.

Нет. Я не хочу умирать!

Поверь мне, мама, я не причастен к убийствам, как мне нет никакого дела до дико хохочущего Франци и остальных легионеров.

Милая мама...

На этом обрывается письмо неизвестного молодого венгра. Дальше ни слова. Ни подписи, ни адреса, ничего, только вкривь написанные слова: «Милая мама...»

Это письмо передал мне на международной конференции сторонников мира один вьетнамский патриот, сказав, что оно было найдено в ходе разведки у убитого легионера, который лежал лицом в грязь на берегу желтой вьетнамской реки.

На мосту

Проснулся он от внезапно наступившей тишины. После жаркого боя, длившегося всю ночь, после бесконечного уханья пушек, взрывов и стрельбы внезапно наступившая тишина словно полоснула его чем-то острым. Он сел. Под ним тихо зашелестела солома. Оглохшим от рева звуков ушам этот приятный шелест показался непривычным и странным. Он пошевелил ногами, чтобы еще раз услышать это приятное шуршание. Из головы еще не выветрились обрывки только что виденного сна.

На противоположной стене, как раз напротив того места, где он лежал, зияла большая зигзагообразная тре-

щина, проходившая от самого потолка до пола. Через трещину видно было какое-то кровавое зарево.

Несколько секунд он смотрел на эту трещину, не понимая, что с ним и где он. Пыль от соломы попала в горло, и он стал кашлять. Осторожно огляделся: сквозь трещину и маленькое окошечко, вырубленное на противоположной стене, были видны красные сполохи, в свете которых угадывались контуры зданий. Он вспомнил, что лежит в складском помещении винокуренного завода на окраине города.

Теперь он вспомнил все подробно.

Повестку, которая обязывала его явиться на призывной пункт, он получил позавчера. В повестке говорилось, что он в тот же день должен явиться с вещичками во двор местной гимназии. Уже на протяжении нескольких месяцев он тешил себя надеждой, что военные власти в суматохе забыли призвать в армию его и его сверстников.

Ведь с самого начала лета, когда они после сдачи экзаменов на аттестат зрелости прошли допризывную подготовку, их никто больше не тревожил. После опубликования прокламации о прекращении огня он уже считал, что теперь наверняка и окончательно избавился от участия в этой преступной войне. Все лето он только и думал о том, как бы не попасть под занавес на фронт.

Повестка повергла его в полную растерянность, события развивались с такой быстротой, что чувство покорности заставило собирать вещички. Правда, в голову приходила мысль — не остаться ли дома, не спрятаться ли где-нибудь и подождать там до того момента, как из города уйдут все войска, но он тут же гнал от себя эту мысль, так как она казалась ему опасной.

Мать и сестра ходили в слезах. Они тоже не осмеливались задерживать его — нилашисты¹ наверняка не дали бы им покоя. В то же время было страшно даже подумать о том, что вслед за отцом война отнимет у них и одного-единственного сына и брата и они останутся одни в этом страшном мире с неизвестным будущим.

Они плакали и причитали, дрожа от страха.

Взяв с собой продуктов на трое суток и две смены белья, он явился во двор гимназии, где собрались его одноклассники.

¹ Венгерские фашисты. — *Прим. ред.*

Первым делом новобранцев построили, после чего командир, маленький крикливый унтер-офицер, за неимением подходящей трибуны взобрался на сложенные в кучу парты и произнес почти получасовую речь, из которой до новобранцев дошло всего несколько слов: «Направление движения — к Тисе, на строительство оборонительных сооружений». Ничего другого они не запомнили, зато эти слова долго не могли забыть.

Шоссе своей многолюдностью папоминало развороченную муравьиную кучу. Отступающие под натиском Красной Армии немецкие и венгерские дивизии двигались к Тисе, сметая всех с шоссе прямо в грязь. Проезжавшие танки, военные грузовики и артиллерийские тягачи обливали людей потоками грязи, так что новобранцы то и дело вытирали лица, плевались и матюкались. А тут еще беженцы. И кого здесь только не было: и румыны, и немцы, и венгры; все кричали, причитали, жаловались. Одни шли пешком, другие ехали на повозках, третьих сами везли тачки. Двигались в западном направлении, без веры и без надежды. Слепой страх и инстинкт самосохранения гнал всех дальше и дальше от родных мест, повернуть обратно они уже не могли, так что им ничего не оставалось, как двигаться дальше в общем потоке.

«Вот и конец!» — ужаснулся оп. Стоило им дойти до ближайшей деревни, как он понял, что в этом страшном хаосе их ждет только гибель. Ему стало страшно, очень страшно, как бывает страшно одинокому путнику, заблудившемуся в густом лесу. Он уже ругал свою трусость, которая взяла над ним верх и заставила пойти на призывной пункт.

Поздно вечером им навстречу попало несколько немецких грузовиков. Последняя машина остановилась, и из-под брезента на землю высыпали женщины. Очутившись на шоссе, они, жестикулируя, со слезами на глазах о чем-то умоляли немцев, видимо, просили подвезти их еще, но за гулом машин нельзя было разобрать, о чем именно они просили. Последней из машины вылезла девушка. Когда она перекинула одну ногу через борт, водитель неожиданно дал газ. Потеряв равновесие, девушка спиной упала на землю. Во время падения ее широкая юбка задралась, обнажив белые ноги в красивых чулках.

Фашистский солдат, по виду совсем еще мальчик, перепрыгнув через борт, загоготал, глядя на голые ноги упавшей девушки, и бросил на землю сетку с каким-то барахлом. На самом дне сетки лежал чайник, который со звоном стукнулся о мостовую, пакет с мукой разорвался, и на дорогу посыпалась белая мука. Пешие беженцы и те, что ехали на повозках, объезжали это место. Обошли его и новобранцы. Это белое пятно было видно издали, пока колонна немецких танков не залила его грязью.

«Что будет с матерью, с сестрой?» — думал новобранец.

На последнем привале, когда до конечной цели было рукой подать, разнеслась весть: русские отрезали путь и захватили мост через Тису. Кто принес эту весть и откуда, никто толком не знал. Но факт остается фактом, и распротрапилась она очень быстро.

Началась паника и перазбериха.

Командир вскочил на километровый камень и заорал как сумасшедший:

— Строиться! Строиться!

Новобранцы смешались с потоком беженцев и шли кто как. Одни плакали в отчаянии, другие вполголоса ворчали: «Наконец-то кончилось это сумасшествие!»

Он не плакал, он молча обошел стороной истошно кричавшего унтера, который, выхватив пистолет, грозился убить каждого, кто осмелится послушаться его приказа. Перепрыгнув через капаву, направился в сторону видневшейся на горизонте башни. И хотя очень устал, но не шел, а бежал; потом, чтобы отдохнуть, шел несколько десятков метров и снова бежал, пока крики и шум за его спиной совсем не стихли.

Так он попал сюда, в самый отдаленный уголок заброшенного винокуренного завода. Он попал сюда, когда началась осада города. Он смертельно устал, идти домой не было сил, да он и не смел, боясь, что его сразу же схватят фашистские жандармы или венгерские пиллашты, которые могут сразу же на месте застрелить его как дезертира. Следовательно, ему ничего не оставалось, как спрятаться и ждать, пока город не будет взят русскими.

Сейчас в городе царил тишина, значит, бой копчился, а гитлеровцы отступили. Он встал и осторожно подошел к щели в стене. Сначала увидел только языки пламени да черный дым пожарищ. В воздухе пахло горелым.

«Склады горят! — подумал он. — И их подожгли!» Только сейчас он почувствовал, как устал, измучился. Лучше бы всего снова улечься на соломе, но он приложил ухо к щели и прислушался. То тут, то там временами слышались отдельные винтовочные выстрелы.

«Можно и идти, — подумал он про себя. — Что-то стало с матерью и сестрой?»

В голову лезли самые неприятные мысли. Бросив вещмешок, он вылез из подвала во двор.

Было прохладно и сыро. Он поднял воротник и снова прислушался. Затем пошел по дороге, которая вела в город. Миновал сады и смог лучше осмотреться. Повсюду догорали пожарища.

«Там была мельница... А там маслозавод... Да... да... А вон там склады, а сбоку от них...» — объяснял он самому себе, словно вел по городу незнакомого человека.

Все это он произносил вполголоса и, удивившись, что разговаривает сам с собой, замолчал. Ему хотелось посмеяться над собой, но он не мог. Вдруг его охватило такое чувство, что если бы с ним сейчас повстречался какой-нибудь гитлеровец, то он бы задушил его голыми руками. В голову невольно пришла мысль о том гоготавшем по поводу упавшей девушки немце, которого он задушил бы с особенной охотой.

Он решил идти домой по дороге мимо железнодорожной станции. Пути на станции были взорваны. Всю прошлую ночь он слышал взрывы, а теперь, увидев исковерканные рельсы, понял, что, отступая, гитлеровцы, как и повсюду, взорвали за собой все, что еще можно было взорвать. Паралич безделья, который сковывал его волю до этого, рассеялся, и всего его охватила жажда деятельности. В голове мелькнула мысль, что, быть может, идти домой еще рано и опасно, но желание увидеть родных оказалось сильнее.

На железнодорожном вокзале стояла мертвая тишина. Стрельба вообще прекратилась. Разбитый бомбами железный остов станционного здания простирал к небу стальные балки, которые были похожи на ребра какого-то безобразного доисторического животного. Эту и без

того страшную картину усугубляла жуткая тишина. Он остановился и огляделся. Ему захотелось стать очень смелым и решительным.

Из-за здания почты слышались чьи-то шаги.

«Тут кто-то есть! — мелькнула мысль. Он остолебел. — Уж не гитлеровец ли?» Мысль о том, что сейчас, в последний момент, его могут схватить, парализовала его. Но он никого не видел, а лишь слышал чьи-то шаги по гальке. Через несколько секунд из-за дома показалась фигура старого сгорбленного мужчины. Старик шел, опустив голову. И лишь дойдя до солдата, поднял глаза. У него было худое, заросшее густой щетиной лицо.

— Правильно, туда надо идти, туда! — пробормотал старик; ткнув пальцем назад, он многозначительно присвистнул, как бы говоря, что там ничего не осталось, кроме развалин и пожарищ.

Наклонившись к солдату, старик почти прошептал, словно боялся, что их может кто-нибудь подслушать.

— Черный перец, паприка, коллега. Понимаете? — И, поправив порванный на спине пиджачишко, добавил: — Это будет самое ценное, дороже золота. Вот помните мои слова! — Он пошел дальше, оглядываясь время от времени и бормоча: — Я-то уж знаю... знаю... так уже было... в прошлую войну...

Дрожа, новобранец вошел в коридор.

«До чего же мы дошли?!» — подумал он. Под ногами громко трещала свалившаяся со стен и потолка штукатурка. Еще больше испугавшись, он пошел осторожно, на цыпочках. До выхода осталось всего несколько шагов — и вот уже видно обезображенное осколками и бомбами здание вокзала.

...И вдруг воздух потряс страшный по силе взрыв. Стены заходили, а тутая волна воздуха, ворвавшаяся в открытые двери, сорвала с головы фуражку.

«Вот она, смерть!»

«Это же мина с часовым механизмом!»

«Подрывают здания!»

Он выскочил на улицу. Ноги словно налиты свинцом. Над головой летят обломки дерева.

Добежав до остановки трамвая, новобранец остановился. Рядом чернела воронка от бомбы.

«Вот бы где отлежаться!» — подумал он и уже направился было к воронке, но какая-то неведомая сила остановила его на полпути. И в тот же миг над головой что-то просвистело, и обломок рельса со страшной силой рухнул в ту самую воронку, в которую солдат только что хотел лечь.

Он смотрел на черный кусок железа, ничего не соображая. Страх уже не было, но не было и облегчения. Ему казалось, что он в кино. В голову вдруг ни с того ни с сего полезли какие-то стишки, которые он учил еще в школе.

Неожиданно наступила тишина, и он снова ничего не слышал, кроме собственного дыхания. Он будто очнулся и бросился бежать через площадь мимо сожженных танков и автомашин, мимо околевающих лошадей. Без остановки бежал до самой реки.

Побежал по деревянному настилу моста.

Из улочки на противоположном берегу показался мотоцикл с коляской.

Первой мыслью было мгновенно где-нибудь спрятаться, но не успел он осуществить это желание, как в голове появилась другая мысль: «И не стыдно тебе? Нет! Хватит!» Он почувствовал, что трусость сейчас для него равносильна смерти, и схватил с земли какой-то металлический обломок с твердой целью убить гитлеровца, если тот его остановит.

Когда же мотоцикл подъехал ближе, он, к своему удивлению, увидел, что на мотоцикле не гитлеровец, а солдат в какой-то незнакомой военной форме. Это был не немец, не румын, не венгр. На голове у солдата красовалась круглая меховая шапка, какую обычно носили русские казаки. На шее висел автомат с коротким дулом, который на рывках стучал по бензиновому баку.

Мотоцикл проехал мимо. Новобранец остановился и стал смотреть, как мотоциклист въезжает на мост. Солдат, ехавший на мотоцикле, что-то громко насвистывал.

«Ого, да ведь это русский солдат!» — дошло вдруг до него.

Постепенно дрожь в ногах и руках прошла. Широким взмахом он отбросил в сторону кусок железа, который держал в руке.

Обломок железа с шумом полетел в реку, возмущив ее спокойствие.

«Раньше нужно было быть смелым, а не теперь, когда русские уже освободили город», — с горькой усмешкой подумал он и пошел по направлению к дому.

Для него война уже кончилась.

До первых петухов

Пленный русский красноармеец стоял между окном и дверью, прислонившись широким плечом к стене. У него было скуластое татарское лицо и приветливые голубые глаза.

Два венгра вели между собой разговор.

— Дурак я был, — сказал один из них, — что послушался тебя и пошел с тобой.

Он лежал в углу на полу, облокотившись на руку.

Второй венгр ничего ему не ответил. Он зашивал шинель, протягивая шпагат иглой, скрученной из проволоки. Его выпцветшая борода делала его похожим на Христа. На худых висках виднелись ниточки вен. Длинные узловатые пальцы то комкали, то разглаживали старенькое серое шинельное сукно. Самодельная игла из проволоки сновала взад и вперед.

— Уж лучше бы я остался в лагере для пленных, прожил бы там еще года два, чем это, — продолжал лежавший на полу. Он повернулся на другой бок, подперев громадным кулаком круглое приплюснутое лицо, испещренное глубокими морщинами. — Так мы никогда не попадем домой — то красные, то белые. — И он ткнул большим пальцем в сторону окна.

— Красные отпустили бы нас домой.

— И эти отпустили бы.

Бородач посмотрел на своего товарища.

— ...бы! — Строгие серые глаза как-то странно сверкнули.

— Ну что ты на меня уставился? — Лежавший быстро отвел глаза и проворчал: — Будто пророк какой.

Второй венгр запустил пальцы в вылинявшую бороду и почесал подбородок. Потом повернулся к пленному красноармейцу.

— Да сядь ты наконец! — сказал он по-русски, показывая красноармейцу место возле себя.

Русский не сел и ничего не сказал.

— Ты что, не слышишь? Оглох, что ли?! — закричал на него по-венгерски пленный с приплюснутым лицом.

Похожий на татарина русский все так же стоял, приклонившись к стене, и с равнодушным видом смотрел прямо перед собой.

Во дворе перед самым окном горел костер. Большой костер. На противоположной стене танцевали блики от костра, заливая комнату желтым светом. Вокруг костра сидели солдаты, молодые кадеты и казачьи офицеры. Они пели:

— Волга, Волга, мать родная...

Некоторые играли в «угадайку». Под старой березой с ободранной корой на корточках сидела молодая цыганка в широченной зеленой шелковой юбке. Отгадывающий нагибался, пряча лицо в колени цыганки, а в это время по его заду, обтянутому суконными штанами, с шумом хлопали ладони. Вокруг раздавался громкий хохот.

Бородатый венгр, похожий на Христа, встал, поднял шинель и при свете, падавшем через окно, начал разглядывать неровный шов. Своей работой он остался явно недоволен, но без настоящей иглы лучше ничего нельзя было сделать.

— Дома у нас землю делят, — проговорил он, надевая шинель.

— Все это сказки, дружище.

— Сказки?

— Конечно. Все это один обман.

— А я верю.

— Верь. Что тебе еще остается делать?

— Верю, так красные говорили.

— Один черт! — махнул рукой плосколицый. Только теперь стало видно, что его большая круглая голова держится на тоненькой шее. — И красные, и белые — все они русские.

Бородатый не ответил. Он тянул и разглаживал серое сукно шинели. Русский откинул голову к стене и закрыл глаза, его широкая спина как-то сгорбилась. Можно было подумать, что он спит, если бы не левая нога в огромном валенке, которой он слегка притопывал.

Вошел молодой офицер. Высокая казачья папаха лихо заломлена на затылке, из-под нее выбиваются пряди ру-

сых волос. С лица еще не сошло веселое выражение. В комнату вместе с ним ворвались кровавые отблески костра, волна теплого воздуха, шум, смех и громкое пение.

Венгр, лежавший в углу, проворно вскочил.

— Добрый вечер, господин капитан! — путая русские и венгерские слова, сказал он.

Офицер слегка кивнул и по-русски спросил:

— Ну, что нового, мадьяры?

Венгр с приплюснутым лицом не понял офицера.

— Так точно, господин капитан! — щелкнул он каблуками.

Офицер скорчил гримасу и повернулся к другому венгру. Тонкая светлая бровь его задернулась кверху.

— Ну?

— Не встречались мы с красными, — ответил по-русски бородач. — В глаза их не видели.

— Точно?

— Точно, господин капитан.

— А вы все же еще подумайте.

Венгр с приплюснутым лицом спросил:

— Что он сказал?

— Чтобы ты заткнул рот!

— Я не хочу здесь погибать! Не хочу!

Офицер покачал головой и погрозил венграм пальцем, чтобы не шумели. Потом обратился к русскому:

— Пойдешь со мной!

Русский взглянул на него своими кроткими голубыми глазами и, не говоря ни слова, направился к двери, заметно прихрамывая на левую ногу. Молодой офицер шел за ним. В двери он остановился и бросил венграм:

— Не забудьте — до первых петухов! — И провел ребром тонкой ладони у горла.

Плосколицый вытянулся по стойке «смирно».

— Так точно, господин капитан! — И прищелкнул ботинками.

Офицер засмеялся и сдвинул папаху на лоб.

— Эх, мадьяр! — проговорил он и вышел, оставив после себя запах табака и бриолина.

В комнате снова стало темно. Лишь костер озарял окно. Тень от оконной рамы то дрожала на стене, то подпрыгивала вверх. Желтые отблески огня падали на лица венгров. Они стояли, в упор глядя друг на друга.

— ...Волга, Волга, мать родная...

Оба молчали, слушая пьяный рев офицеров, от которого порой дрожали стекла.

Со двора послышался чей-то крик:

— Уй-йй!

Это кричал русский со скуластым татарским лицом и добрыми голубыми глазами. Офицеры и кадеты привязали его к стволу старой березы и заставили цыганку жечь пленного раскаленными кузнечными щипцами. Зеленая шелковая юбка цыганки так и порхала, а сама цыганка смеялась, повизгивая, словно ее щекотали.

Молодой казачий офицер, скрестив руки на груди и сдвинув высокую папаху набок, пристально смотрел на плечного красноармейца.

.... Уй-йй! — снова крикнул пленный.

— Видишь?! — прошептал венгр с приплюснутым лицом.

— Вижу.

— Так и нас будут рвать на части.

— Может быть.

— Ты этого хочешь?

— Предателем я все равно никогда не стану.

Плосколицый начал умолять:

— Ты всегда был мне верным другом, хорошим товарищем. Ты спас мне жизнь на фронте. — И встал на колени перед бородачом. — Так не желай мне смерти сейчас.

— Встань!

— У меня семья дома, двое детишек. Земля есть, свой дом.

— Предателем я не стану, — повторил бородач.

— Небольшой участок, но все-таки земля.

— Зря стараешься, не проси. — Он рывком поднял товарища с пола.

Со двора снова донесся крик русского:

— Уй-йй!

Плосколицый венгр разрыдался.

— Я не хочу здесь околевать! Не хочу! — По его испещренному глубокими морщинами лицу текли слезы. Повернувшись к стене между окном и дверью, он продолжая причитать. Рыдания заглушали его голос. — Мне нет никакого дела до русских, я хочу вернуться домой.

Венгр, похожий на Христа, молча слушал, теребя

длинными узловатыми пальцами выплетшую бороду, и задумчиво смотрел во двор на пламя костра.

— Раз ты так любишь их, этих сумасшедших красных, почему ты не остался с ними? Отпустил бы меня одного в дорогу.

— Я тоже хочу попасть на родину.

Плосколиций перестал рыдать, повернулся и, не глядя на товарища, спросил:

— Тогда чего ты тут геройствуешь?

— Я хочу вернуться домой, — полоснул бородач взглядом. — И поделить там господскую землю.

— Дурак!

— Меня тоже ждут дома.

— Уй-йй! — раздался со двора крик пленного. Понесся визгливый смех цыганки.

— Кто, кто тебя ждет? — закричал плосколицый. — Вшивые братишки? Сестренка? Кто? Или твоя бесплодная шлюха-жена?

— Замолчи!

— Мне замолчать, мне?! — Он подскочил к бородачу и ударил его своим огромным кулаком в висок. — Прочь с дороги! Прочь! — И, ударив еще раз, побежал к двери.

Бородач преградил ему путь.

— Ты останешься здесь!

— Господин капитан!..

— Замолчи, задущу! — Бородач схватил плосколицего за тонкую шею.

— Господин капита-аа...

— Замолчи!

— Капи-та-ааа...

Он оттащил его в угол и, сняв с себя серую шинель, накрыл его труп. Место со швом прикрывало как раз круглое приплюснутое лицо. Бородач немного постоял над ним, сжав длинные узловатые пальцы.

Во дворе грянул выстрел...

Откуда-то сзади, из темноты, появились белокурый молодой офицер и несколько кадетов. Словно играючи, офицер легко подкинул вверх еще дымившийся револьвер и, поймав его узкой холеной ладонью, сунул в кобуру. Окружавшие его кадеты восторженно прищелкнули языками и закричали «браво».

Под березой, прислонясь спиной к ободранной коре, стояла теперь только цыганка и, разглядывая свою широкую шелковую юбку, пела:

— Волга, Волга, мать родная...

У нее был тоненький, будто хрустальный, голосок.

Стоявшие вокруг костра вполголоса подпевали ей...

На рассвете, когда пропели первые петухи, бородатого венгра вывели во двор и тоже привязали к березе. Его пытали, как и русского: цыганка, взвизгивая, жгла его тело раскаленными щипцами, а молодой казачий офицер в сдвинутой на затылок папахе молча стоял рядом, скрестив руки на груди.

Бородатого пытали до самого полудня. Он так ничего и не сказал. Ему выстрелили в голову, но он к тому времени уже был мертв.

Когда взошла луна

Над лесом взошла луна, огромная и бледно-желтая, пробив дрожащую дорожку среди кроны деревьев и осветив небольшую лужайку, на которой пятеро мужчин копали какую-то яму, похожую на могилу. Временами лопаты попадали на камень и издавали неприятный звук.

Стояла такая темнота, что было невозможно разглядеть отдельные деревья. И лишь где-то в стороне слабо мерцал огонек «летучей мыши». Зато звуки были особенно отчетливо слышны.

— Бетли, — произнес один низким голосом.

— Эх ты! Испортил мне всю игру! — недовольным тоном проговорил другой.

— Отбейся.

— Нечем.

Хлопнула карта, за ней с шумом легли на доску еще две.

Снова заговорил мужчина с низким голосом:

— Я его впервые увидел еще до войны на улице Вацци. Ехал он в экипаже вместе с Фани. Вылезли из экипажа, и он нес ее шубку.

— Кто нес? Фридрих? — спросил третий, у которого оказался довольно приятный голос.

— Да, он.

И снова карты с шумом легли на доску.

— Теперь мы его схватили.

— Ошибаешься, дорогой лейтенант. — И мужчина с приятным голосом приглушенно засмеялся.

— Небось о Фани сейчас думает.

— За такой женщиной не грех и шубу носить! Ты бы тоже с удовольствием понес.

Все засмеялись, и эхо разнесло этот смех по лесу, освещенному луной...

А пятеро солдат все еще копали яму длиной в человеческий рост и шириной в один шаг. Яма была уже довольно глубокой и доходила солдатам до пояса. Луна светила им в лицо, диск ее повис над кромкой леса.

Вдруг лопата выпала из рук одного из солдат.

— Не могу больше, — произнес он. Это был хрупкий худенький солдатик с лицом, усеянным веснушками.

— Держи себя в руках, — заметил ему тот, что стоял справа.

— Мозоли натер.

— Я тоже натер, — ответил солдат, продолжая копать одной рукой. У него был широкий белый лоб, па который спадали иссипя-черные пряди густых волос,

Из темноты доносилось чье-то пение:

Фани Шнайдер говорила,
Ей не нужно красной юбки.

— Ты выиграл, мой дорогой барон, — произнес лейтенант, — а теперь сдавай.

— Пожалуйста, мой лейтенант, — ответил барон, тасуя карты.

Лейтенант перестал напевать и сказал, продолжая ранее начатый разговор:

— Вот Хорти придет, он наведет у нас порядок.

— Он наведет. У него железная рука. — Помолчав, барон сказал: — Мой ход. — И с силой хлопнул картой по доске.

Луна тем временем поднялась выше, ее свет слепил глаза. Тени отступили от лужайки. Теперь игравшие в карты офицеры отчетливо видели копавших яму солдат. А недалеко от ямы стояло еще несколько солдат с винтовками у ноги.

Солдаты копали яму, не отрываясь от работы и не отдыхая. Горки выброшенной земли с двух сторон росли с каждой минутой,

— Латинка! — раздался вдруг из темноты низкий голос лейтенанта.

Солдат, который копал яму одной рукой и стоял крайним справа, поднял голову. При лунном свете было хорошо видно его лицо с широким лбом.

— Как болит рука, — проговорил худенький солдат с веснушчатым лицом.

— Держись! — успокаивал его другой.

Из строя вышло двое солдат.

Один из пяти, что копали яму, крикнул:

— Шандор! — Это был коренастый парень невысокого роста, он едва виднелся из ямы. — Зовут.

— А ты не ходи! — заволновался веснушчатый солдатик.

Над ямой остановились двое вооруженных солдат.

— Пошли с нами! — сказал один из них, повесив винтовку на руку.

— Шандор!

— Куда вы его ведете? — спросил вооруженных солдат человек, через всю щеку которого проходил еще не заживший шрам.

Те не проронили ни слова.

— Шандор! — снова раздался крик.

Солдаты повели Шандора к лесу.

Теперь яму копали уже четверо. Перед ямой все так же стояли вооруженные солдаты, за спинами которых чернел лес да блестел огонек «летучей мыши», при свете которой офицеры играли в карты.

— Ну, что ты скажешь про игру, мой лейтенант? — спросил барон.

— В тебе, видно, черт сидит.

— Черт? Нет, просто мне везет.

— «Везет» не то слово, играть нужно уметь.

В этот момент двое солдат подвели Латинку к офицерам. Латинку поставили так, что свет от фонаря падал на его лицо, и он, ослепленный, ничего не видел, лишь чувствовал тяжелый запах одеколона, которым был надушен кто-то из офицеров. Пахло чем-то еще, похожим на псину.

— Ну как, все обдумал? — спросил Латинку барон.

— Нет.

— Тебе положили бы хорошее жалованье,

— Знаю.

- Дали бы земельный участок.
- Вы уже говорили мне об этом, господин барон.
- И ты все равно не согласен?
- Не согласен.

Лейтенант, что-то напевая себе под нос, встал и пошел к солдатам.

— Упрямый ты человек, — проговорил барон.

— Верно.

— А зачем?

— Не зачем.

— Дурачишься?! — вынырнул из темноты лейтенант. — У тебя красивый умный лоб. — Он дулом револьвера, который держал в руке, убрал прядь волос, упавшую Латинке на лоб, а затем, ткнув его револьвером, спросил: — Так, значит, веришь?

— Верю.

— А во что ты веришь, сумасшедший?

— В революцию верю.

— Разгромили вашу революцию.

Латинка удивился:

— Революцию?!

Из темноты прозвучала команда:

— Вылезайте все из ямы, хватит! Строиться! —

И после небольшой паузы лейтенант выкрикнул всего лишь одно слово: — Огонь!

Раздался залп, эхо которого разнеслось по залитому лунным светом лесу.

— Жаль мне тебя, Шандор Латинка, жаль, — сказал барон.

— Меня не нужно жалеть, господин барон, — ответил Латинка, потирая руку с длинными подвижными пальцами.

— Давай мне его, дорогой барон, — нервничал лейтенант.

— Пожалуйста, лейтенант. — Помолчав, барон добавил: — За проигрыш. — И он засмеялся тоненьким неприятным смехом.

Латинка молча повернулся и пошел к яме в сопровождении двух солдат.

Спустя несколько минут раздался один-единственный выстрел из пистолета...

Луна высоко поднялась над лесом, заливая его своим призрачным светом. В яме лежали пятеро расстрелянных. Солдаты прикладами винтовок забрасывали трупы земель.

Листовки

Полицейский агент в серой шляпе тщательно простукивал стену. Стук отдавался глухо, так как стена была толстой и цельной.

— Говори, куда спрятали? — обратился агент к хозяйке дома.

— Что спрятали? — спросила женщина.

— Листовки.

— Какие листовки?

Агент перестал простукивать стену. Повернулся к женщине лицом и, смерив ее взглядом, подозвал к себе двух жандармов, бросив им коротко:

— Кроваты!

Жандармы подошли к кровати и, стащив с нее полосатую перину и подушки, понесли во двор. Туда же вынесли и соломенный матрац. Бросив их на землю, они начали тыкать все это штыками. В воздух полетели солома и перья.

Хозяйка вышла во двор. Сначала она кинулась было ловить летевшие по двору перья, но тут же опустила руки, теребя завязки синего фартука.

— Жалко перину, перо-то теперь дорогое, — сказала женщина.

— Молчите, пока вас не спрашивают, — оборвал хозяйку пожилой жандарм с рыжими усами.

Во двор вышел и агент в серой шляпе. Расстегнув черный плащ, он вынул из кармана портсигар и закурил. Выпустив изо рта несколько колец дыма, он посмотрел на хозяйку, которая стояла неподвижно перед желтой стеной дома. Прядь седых волос выбилась у нее из-под платка, и теперь ветерок трепал их.

— Может быть, скажете, где сейчас находится ваш муж? — спросил агент, сделав несколько затяжек.

— Вы же его и увели.

— Но вы ведь хорошо знаете, что он убежал.

Женщина не проронила ни слова и убрала выбившуюся прядь под платок,

Агент оглядел двор. Взгляд его остановился на курятнике. Он направился к нему, шелестя на ходу плащом.

Дверь курятника была открыта. Агент заглянул внутрь, но, кроме кур, сидевших на насесте, ничего не увидел.

— Унтер! — крикнул он молодому жандарму. — Идите сюда, просмотрите здесь все!

Молодой жандарм подбежал к курятнику и, сняв с плеча карабин, начал прикладом простукивать стены; они были тонкими, слепленными из самана, и сразу же дали большие трещины.

Агент в шляпе вытащил нож и несколько раз ткнул им в саман, проверяя, не спрятано ли в стене что-нибудь.

В этот момент к воротам дома подошла девушка.

— Вы отсюда? — остановил ее пожилой жандарм.

— Да, я живу в этом доме, — испуганно ответила девушка. У нее было продолговатое лицо с большими глазами лани, она будто сошла на землю с картин Дюрера.

— Ваши документы?

Девушка переложила сумочку из правой руки в левую и, пайдя паспорт, протянула его жандарму.

— Оставьте ее в покое! — подошла к жандарму хозяйка. — Это моя жилищка.

— Я уже сказал, чтобы вы молчали до тех пор, пока вас не спросят, — оборвал ее пожилой жандарм. Возвращая девушке паспорт, он спросил: — Вы такая молодая и уже учительница?

— Этим летом закончила курсы.

— Ага, — пробормотал жандарм, шевеля рыжими усами.

Агент перестал ковырять ножом саман и, подняв руку, посмотрел на часы.

— Так рано вернулись домой, милая барышня? — И он пошел навстречу девушке. — Разве сегодня в школе нет занятий? — Сделав большую затяжку, он выпустил дым через широкий плоский нос.

— Занятия-то вообще есть, — ответила девушка, переступая с ноги на ногу, они у нее вдруг задрожали. — Но нашу школу немцы заняли под казарму.

— Так, — проговорил агент и, немного помолчав, вдруг спросил: — Вы идете из полиции?

— Нет! — Девушка затрясла головой, красивое лицо ее побледнело.

— А разве это не вы заявили в полицию о том, что хозяин вернулся домой? Разве не вы?!

— Меня спрашивайте! — перебила хозяйка. — А ее оставьте в покое!

— Молчать! — заорал на женщину агент.

— Я и в глаза не видела хозяина дома с тех пор, как его увели, — проговорила девушка.

Агент в серой шляпе отбросил окурок в сторону.

— Хорошо. — Он запахнул черный плащ и пошел к воротам.

Пожилой жандарм вернул девушке паспорт. Молодой повесил карабин на плечо, и оба молча последовали за агентом.

Хозяйка дома заперла за ними калитку и, повернувшись к девушке, сказала:

— Будет лучше, барышня, если вы переберетесь на другую квартиру, а то тут еще в беду какую попадете.

Девушка боязливо улыбнулась. Не проронив ни слова, она присела на корточки и стала собирать в перину высыпавшееся из нее перо.

Мешок угля

Мужчина в клетчатом пальто следил за рабочими. Его не раз видели возле бетонного забора, где обычно ходили рабочие с кожевенного завода и со склада.

За забором насыпан каменный уголь, почти вровень с ним. Обычно кто-нибудь из рабочих забирался на самый верх угольной горы и, перевесившись через забор, помогал остальным перебраться на территорию. Часто это делал длиннорукий Караи Макк. Перемахнув незаметно через забор, рабочие собирались где-нибудь в котельной, укрывшись за кучей железного лома, и обсуждали свои дела. Здесь уже за ними никто не мог следить.

Первым заметил человека в клетчатом пальто Цинеге. Однажды он, поливая только что полученный уголь известкой, увидел его по ту сторону забора. Шпик делал вид, что прогуливается, но, дойдя до угла, остановился и оглянулся.

В тот же день рабочие кожевенного завода уже знали об этом случае. А на следующий день один из кочегаров,

который был в отгуле, забежал на склад и передал, что вечером никакого собрания не будет, решили прекратить встречи дня на два.

Рабочие стали следить за шпиком, который на закате все так же прогуливался вдоль забора. Идет-идет, остановится, закурит не спеша, осмотрится по сторонам.

— Все вынюхивает... — сказал Цинеге Макку.

— Да... — согласился Макк, потирая широкий подбородок, заросший рыжей щетиной.

На третий день после обеда была объявлена воздушная тревога. Правда, до бомбежки дело не дошло, так как самолеты пролетели дальше по направлению к Мишкольцу.

После отбоя несколько рабочих собрались к корчме «Три куста». Подойдя к стойке, заказали по бокалу вина с содовой. И лишь один Караи Макк взял себе стопку сливовой палинки, хотя обычно он пил вино, а летом — пиво.

— На заводе все демонтируют, а оборудование грузят в вагоны, — начал разговор один из рабочих, худощавый сутулый человек в широких брюках.

— Не пройдет и недели, как они вывезут весь завод.

Остальные молча потягивали вино.

Сидевшие за крайним столиком двое мужчин громко спорили о новом германском чудо-оружии. Оба были изрядно пьяны и орали на всю корчму.

— Это будет такое оружие, как самолет, — басил черноволосый. — Только намного сильнее...

— Черта лысого, а не самолет! — перебил его другой. — Это будут такие лучи. Понял? Смертельные лучи!

Оба они не обращали никакого внимания на то, что их разговор слушают другие.

— В подвале под заводским зданием роют ямы, — сказал один из рабочих.

— Минировать будут, — кивнул Макк.

В корчме появился Цинеге. Ничего не сказав, он только подмигнул своими маленькими живыми глазами и снова вышел во двор. Рабочие незаметно стали расходиться. У стойки остался один Макк. Он заказал себе еще рюмку палинки.

Вскоре в корчму вошел шпик в клетчатом пальто. Корчмарь хотел было усадить его за стол, но шпик подошел к стойке и встал рядом с Макком. Медленно от-

пивая из кружки пиво, он краем глаза наблюдал за тем, что делается в корчме.

Макк облокотился на стойку и, охватив ладонью широкий подбородок, теребил пальцами щетину, глядя прямо в глаза мужчине в клетчатом пальто. У шпики была непропорционально маленькая голова и водянистые глаза.

— Это будет такая машина, — басил черноволосый, сидевший за крайним столом, — вот увидишь, что она до самого Нью-Йорка долетит без единой посадки.

— Я тебе говорю, лучи! — не соглашался его собеседник. — У меня свояк работает на том заводе, где... — И, наклонившись к черноволосому, он так тихо зашептал ему на ухо, что понять его было невозможно.

— Ваше здоровье, — сказал Макк, поднимая рюмку и подмигивая шпику в клетчатом пальто. Он опрокинул рюмку в рот.

Шпик вздрогнул, бросил на рабочего беглый взгляд, но тут же отвел глаза в сторону.

С улицы вошел Цинеге и, подойдя к стойке, спокойно допил из своего бокала.

— Пошли, Цинеге! — сказал ему Макк. — Нас ждут. — Все это он сказал нарочито громко, чтобы шпик слышал его.

Цинеге, не поняв замысла Макка, растерялся, даже побледнел, но не пошевелился, словно обращались не к нему. Тогда Макк сделал ему знак рукой, и они вышли на улицу.

— Ты что, тронулся? — шепотом спросил Цинеге товарища.

— Не беспокойся! — только и ответил кочегар, таща друга за собой. — У тебя есть мешок? — спросил он спустя несколько секунд.

— Зачем тебе?

— Я тебя спрашиваю, есть или нет?

— Есть, дома, — ответил Цинеге.

— Тогда сбегай и принеси, а я тебя на углу подожду.

Цинеге жил по соседству с заводом и через несколько минут вернулся с почти новым мешком из-под муки.

— Жаль, что новый мешок, — заметил Макк и сунул его под мышку.

— Зачем тебе понадобился мешок?

— Под уголь,

— Под уголь? — удивился Цинеге.

— Да, под уголь, — ответил Макк и удалился.

В ту же ночь Макк поездом уехал в Будапешт. Домой он вернулся через два дня. Когда он впервые появился на заводе, ему сказали, что шпик в клетчатом пальто убит. Труп его нашли под забором. Кто-то сбросил на него мешок с углем.

Бегство на велосипеде

Трое студентов ехали на велосипеде навстречу отступающим на запад войскам. Впереди ехал музыкант, вплотную за ним круглолицый парень с жесткими рыжими волосами. Завершал эту процессию, держась на расстоянии десяти шагов от рыжего, длинный. Правая сторона дороги была свободной, лишь иногда их обгоняла немецкая амфибия или какой-нибудь венгерский посыльный на мотоцикле.

Зато по левой стороне дороги беспрерывно двигались войска и колонны оборванных, изможденных пленных, которые с трудом переставляли ноги, шаркая по изъеденному трещинами асфальту. Пленных сопровождали верхом на лошадях немецкие конвоиры в зеленой форме. У каждого из них на груди висел автомат, который они в любую минуту могли пустить в ход, стоило только пленному хоть на один шаг сойти с дороги.

Начался октябрь. Солнце светило ярко, но грело уже не так жарко, как летом. Зато было оно таким ослепительным, что, казалось, подобно рентгеновским лучам, просвечивало человека насквозь. С одной стороны дороги была обсажена тополями, за которыми расстилась пашня, с другой по склону горы рассыпались виноградники.

Музыкант держал руль одной рукой, сидел прямо, без усилий нажимая на педали. Ехать было легко, так как дорога шла чуть под уклон.

— А я уж думал, что вас схватили гитлеровцы или нилашисты, — сказал он, повернув голову в сторону ехавших за ним студентов.

— Нас схватишь...

Рыжеволосый крепыш презрительно улыбнулся. Он все время заезжал на середину дороги. На нем были темно-синие брюки, которые ладно обхватывали его но-

ги; видимо, брюки были когда-то запачканы, а потом почищены бензином, и на них сохранились пятна.

— Да не крутись ты передо мной! — прикрикнул на рыжеволосого длинный.

— Слушаюсь и повинуюсь, господин. — И, помолчав, ехидно добавил: — Лорд Баден-Повель изволит сердиться? — И снова замолчал, ожидая, что его замечание вызовет смех у музыканта.

— И прекрати свои идиотские шутки! — не отступался от него длинный, старательно нажимая на педали. На поясе в футляре у него болтался нож с различными приспособлениями и алюминиевая фляжка.

В природе царили три основные краски: голубая, зеленая и желтая. Зеленая лоза гнулась под тяжестью больших золотистых гроздей винограда: в ту осень урожай некому было убирать. Виноградник словно вымер, на склоне горы не видно ни души. Пейзаж казался каким-то ненастоящим, выдуманным, каким он запомняется по виденным раньше картинам и затем уже надолго остается в памяти.

Студенты остановились отдохнуть. Съехали с дороги и разлеглись в винограднике под лозами, срывая одну за другой тяжелые грозди, которые висели у них над головой, так и просясь в рот. Студенты с удовольствием ели виноград, сок тек по их щекам. Назойливые пчелы кружились над ними.

Шоссе проходило совсем рядом, однако его не было видно из-за густого виноградника, доносились только звуки проезжавших машин да слышался топот ног. Неожиданно послышалась немецкая речь:

— ...немедленно!

Мимо промчались два конвоира верхом, которые громко кричали что-то.

Музыкант перевернулся на живот, подпер голову руками.

— Ешь! Чего задумался? — бросил ему длинный.

Напротив рос канадский тополь, листья на нем уже почти не было, и он тянул свои голые ветви к шоссе. Еще не облетевшие одинокие желтые листья жалобно шелестели на ветру. На толстом суку висела веревочная петля. Около дерева гитлеровцы остановили колонну пленных. Послышалась русская речь и лающие слова немецких команд.

— Вешай его!

— Тяни... еще выше тяни!..

Веревка натянулась, как струна. Показалась казачья кубанка, а затем и худое, заросшее щетиной лицо повешенного. Рот жертвы был широко раскрыт, а голубые, как небо, глаза полны невыразимого удивления.

— Что вы делаете! — закричал музыкант гитлеровцам, которых он не видел.

Длинный удержал его за плечо и, не дав ему встать, с силой пригнул к земле. Студенты примолкли, испуганно глядя друг на друга.

Один из конных охранников приколол на грудь повешенному какую-то бумажку с надписью.

Испуганные столь страшным зрелищем, студенты уже не отважились снова выехать на шоссе, а прямо по пашне двинулись к реке.

Небольшая тропинка, по которой они ехали, то и дело петляла. По обе стороны от тропинки мелькала свежая зелень с пятнышками багряных и желтых листьев. Реки пока еще не было видно за густой стеной тростника, который шелестел при малейшем порыве ветра.

Вдруг навстречу студентам показалась девушка, с ней рядом шел черноволосый молодой человек. Девушка шла по тропинке, а молодой человек по влажной траве. На ней было шерстяное платье золотистого цвета и сандалии на толстой подошве. Выглядела она довольно элегантно, и только кривоватые ноги портили общее впечатление от ее фигуры.

Молодой человек по сравнению с девушкой казался неинтересным, хотя одет был тоже неплохо: коричневая куртка из чертовой кожи и серые брюки, которые обычно надевают для верховой езды. В руке он держал зеленую охотничью шляпу. Обувь у него, видимо, была на деревянной подошве.

Музыкант снова ехал первым, он сделал крюк, чтобы объехать девушку и парня, звонить им не стал. Пришлось прижаться к самым ивам, а чтобы ветки не хлестали по лицу, понизже нагнуться к рулю.

Студенты слышали, как парень с девушкой разговаривали по-французски.

— ...хорошо прогуляться.

— Конечно, мадемуазель...

Дальше они уже не разобрали, так как отъехали от этой парочки.

Рыжеволосый, ехавший посредине, засмеялся:

— Этот хлыщ, наверное, и слов-то других больше не знает, одно только: «Конечно, мадемуазель!» — И он передразнил молодого человека, который шел с девушкой.

Музыкант молчал. Он снова выехал на тропинку и начал читать по-французски из Виктора Гюго.

Рыжеволосый тоже прочитал несколько строк из этого же стихотворения, а потом неожиданно замолчал и, обратившись к ехавшему сзади, сказал:

— Теперь ты, длинный, продолжай!

— Оставь меня в покое со своими глупостями!

— Что, не помнишь?

Музыкант начал читать дальше и вдруг запнулся. Крепче обхватив руль, он неожиданно затормозил. Ехавшие за ним студенты не заметили этого и чуть было не наехали друг на друга.

На берегу реки показался домик — то ли сторожка лесника, то ли рыбацкая хижина.

Домик оказался пустым, в нем не было ни души. Студенты вошли в домик, все стены которого и снаружи и внутри были исписаны именами, датами, испещрены рисунками, которые изображали девушек, женщин и какие-то магические фигурки.

Входная дверь, сорванная с петель, лежала у самого порога. Длинный и рыжеволосый приспособили ее под импровизированный стол. Затем на ней разостлали карту и стали ее тщательно изучать.

Музыкант сидел у самой стены. Лицо его все еще было бледным, а уголки губ мелко дрожали. Очки он держал в руках и беспомощно-беспокойным взглядом, какой обычно бывает у близоруких, смотрел на реку. В этом месте на берегу уже не было зарослей тростника, а только кустарник да плакучие ивы.

— По мосту всем переходить нельзя, — сказал длинный. — Один еще перейдет, второго сразу же возьмут под подозрение, а когда дело дойдет до третьего, то его просто схватят, и все.

— Значит, опять будем идти по одному?

— До самого города я буду с тобой. Ты переедешь по мосту, а я немного пониже — на пароме. Вот он, видишь, паром? — И он показал пальцем на карте,

— А музыкант? Что будет с ним?

Оба студента повернулись к товарищу, который сидел, закрыв глаза и прислонившись спиной к стене. Он только что нарисовал на стене обломком кирпича торс женщины. Рисунок получился хороший, линии были четкие, но головы он не нарисовал, а вместо нее написал: «1944, 2 октября».

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросил его рыжеволосый, потрескивая своими короткими, чуть толстоватыми пальцами.

— Прекрасно, — ответил тот, не открывая глаз. — Как герой одного известного романа Достоевского на семьсот тридцать второй странице.

— Тогда быстрее листай дальше, а то нам некогда!

— Некогда, некогда! Спасаете собственные шкуры!

— А что, лучше это слюняйство и копание в собственной душе?

— Мне противно! — Посмотрев на товарищей снизу вверх, он еще раз повторил: — Противно!

— Давайте окончательно решим: или мы двигаемся дальше, или будем здесь ломать комедию, но в этом случае незачем было приезжать сюда: ломать комедию можно было и дома.

— Для тебя это комедия? — Музыкант надел очки и посмотрел на товарища.

— Для меня? Это ты ее разыгрываешь, а не я.

— У меня внутренности выворачивает наизнанку от виденного, понимаешь? — И он ударил себя по животу.

В полуиспуганном, полузадиристом голосе, в каждом жесте его было что-то детское и смешное. Рыжеволосый невольно улыбнулся. Длинный рассердился и закричал:

— Дурак я был, когда связался с вами! Трусы вы, трусы!

— Ты путаешь понятие совести и трусости! — сказал музыкант, вставая с пола.

— Глупости! Какое отношение ты имеешь к пленным? Абсолютно никакого!

— А как я лет через десять посмотрю себе в глаза? Ну как, скажи!

— Мы же договорились, что не будем дожидаться, пока фронт придет к нам, а сами пойдем ему навстречу, так или нет?

— У меня на глазах вешали человека, а я спокойно смотрел на это преступление и ел виноград...

— А что ты мог сделать?

— А что ты мог сделать? — переспросил рыжеволосый длинного. — Ну что?! Мы же и так идем навстречу фронту.

— Идем, но только для того, чтобы не попасть под мобилизацию и таким образом спасти свою шкуру, не так ли?

— Ну разве того русского вешал ты? Нет, не ты. Тогда какого же черта ты расхляпался? Зачем бередишь свою совесть?

— Мы идем к русским, так? Или нет? Они ждут, что мы... — И он запустил обе руки во взъерошенные волосы.

— Ты просто сумасшедший!

— Лучше давайте обсудим, — предложил рыжеволосый, — как нам переправиться через Тису.

— Вы идите первыми, — посоветовал музыкант. — На той стороне встретимся.

— Ты поедешь по мосту?

— Нет. Переправлюсь на лодке, я знаю, как это лучше сделать.

Рыжеволосый поехал за длинным, держась от него на большом удалении и временами перезваниваясь с ним звонком, словно азбукой Морзе.

Когда они скрылись из виду, музыкант посмотрел на часы, которые показывали девять часов тридцать четыре минуты. Он знал, что никогда не сможет забыть этого разговора.

В нескольких шагах от домика находился старый обыкновенный колодец. Музыкант направился к нему. Деревянный валик ворота был весь испещрен трещинами, ржавая цепь привязана к нему веревкой. Когда-то колодец закрывался, но теперь крышку сорвали. До воды было далеко, она блестела в круглом отверстии сруба, как отшлифованный до блеска металлический лист. Между мокрыми, поросшими мхом стенами висело старое ржавое ведро. В зеркале воды отражалось и ведро, и голова музыканта, и далекое синее небо.

Придерживая ворот рукой, студент стал спускать ведро вниз, оно падало все быстрее и быстрее, пока с шумом не ударилось о воду.

Напившись холодной и чистой как слеза воды, он решил, что во что бы то ни стало совершит что-то для людей, и тогда его совесть станет такой же чистой.

Только больно очень

Он нажал на кнопку звонка, который, как и раньше, прозвенел с небольшими перерывами, словно задыхаясь. Дверь открыла жена, из-за ее юбки высовывались две любопытные детские рожицы.

— Папа пришел! Папочка! — радостно закричали дети, прыгая вокруг него.

Жена смотрела на него широко раскрытыми от удивления глазами, не в силах произнести ни слова. Мужчина тоже молчал. Он провел рукой по волосам женщины и, сняв плащ, повесил его на вешалку. Все вошли в комнату. Сын и дочка сразу же бросились к отцу, наперебой рассказывая ему что-то. Вся квартира заполнилась их голосами.

— Ну хватит, теперь идите поиграйте лучше во дворе! — сказала мать, снимая их с коленей отца.

— И мячик можно взять с собой? — весело спросил мальчик.

— Можно, — ответила мать.

Громко разговаривая, дети вышли на лестницу. Еще несколько минут доносился их смех. Потом шум стих. Мужчина и женщина остались одни. Некоторое время она ходила по комнате, что-то убирала, переставляла с места на место, стараясь избежать взгляда мужчины, который не спускал с нее глаз. Наконец она присела на самый краешек дивана, словно намеревалась вот-вот встать.

Первым заговорил мужчина.

— Сердишься? — Он посмотрел на нее долгим взглядом.

— Нет, не сержусь, — быстро ответила женщина и покачала головой. — Я ведь все еще люблю тебя, — произнесла она с трудом.

Через неплотно закрытые жалюзи в комнату проникали лучи заходящего солнца, бросая полосатые тени на стол, на краю которого лежала его рука. От волнения он все время трогал пепельницу.

— Почему ты вернулся? — спросила женщина после долгой паузы.

— Не мог больше.

— Совесть замучила?

Мужчина вздрогнул и глухим, прерывающимся голосом сказал:

— При чем тут совесть! — Хотя в душе он чувствовал, что прежде всего именно поэтому...

Женщина не верила ему, но страстно хотела бы поверить.

— Я не хочу мешать вам с ней, — проговорила она. — Не хочу причинять неприятностей. — На глаза ее набежали слезы, но она не вытирала их. — Я уже старая.

«Никакая ты не старая!» — хотелось крикнуть ему, но разве он смел сказать это вслух? В такой момент слова не очень-то много значат.

— Видишь ли, — начал он с трудом, — пятнадцать лет, прожитые вместе, большой срок.

«Очень большой, — подумала женщина. — Настолько большой, что за это время любая жена может надоесть».

— Время что вода или ветер, — продолжал мужчина. — Каждый год, каждый день, каждый час оставляют свой след в жизни человека, как вода, попавшая в трещину скалы, или ветер.

Он сказал это так, что ей показалось, будто она видит ручеек, бегущий между скалами, и слышит завывание ветра в горах.

— Сейчас я уже не та, что была пятнадцать лет назад. Я стала такой, какой ты меня сделал, а не другой.

Он перестал вертеть пепельницу, которая глухо стукнула о стол. Встал и, сев ближе к женщине, обнял ее хрупкие плечи, чувствуя, как она вздрагивает от сдерживаемых рыданий.

— Ты вся во мне. — Он притянул ее к себе. — Твои глаза всегда стоят у меня перед глазами. Я чувствую прикосновение твоих рук, всего твоего тела. И если все это отнять у меня, что же мне тогда останется. Ну скажи, что?!

«А мне что?!» — мысленно спросила женщина, не сказав вслух ни слова.

В этот момент в квартиру вернулись дети,

— Я хочу есть, — заявила девочка,

— Папа, — сияя, сообщил мальчик, — я переиграл лысого Бимбулу в мячик.

Мужчина пытался вспомнить, как выглядит этот лысый Бимбула, и не мог. Правда, он и виду не подал, что забыл, и, закачав головой, сказал:

— Лысого Бимбулу? Молодец!

Женщина быстро вытерла глаза и повела детей в кухню. Дав им хлеба с маслом, она снова отпустила их поиграть во двор.

Когда она вошла в комнату, мужчина стоял у окна и сквозь щели в полуопущенных жалюзи смотрел во двор. Она тихо подошла к нему и прижалась к его спине. Он слышал осторожные шаги женщины, чувствовал ее легкое дыхание, чувствовал на своей шее прикосновение завитка ее каштановых волос, тепло ее груди.

— Мне не оттого больно, — тихо начала она, — что ты целовал ее, обнимал. Жаль что... ты отдал ей часть своей души.

Он поймал руку женщины.

— Мне больно оттого, что вот сейчас, когда ты держишь мою руку, ты как бы держишь и ее руку.

— Нет... нет...

— Когда ты говоришь со мной, ты все-таки обращаешься и к ней.

Мужчина наклонил голову.

— Она всегда будет занимать какое-то место в твоей душе, где до этого была только я одна. — Женщина глубоко вздохнула и продолжала: — Когда я думаю об этом, мне хочется умереть.

Слова ее жгли его словно железом.

— Не... не сердись на меня! — простонал он.

Женщина покачала головой.

— Я не сержусь... Только больно очень...

И она снова улыбнулась, но это была уже совершенно другая, радостная улыбка.

У постели больной

Девочка заболела. Лицо ее пылает жаром, а маленькая рука, лежащая поверх одеяла, похожа на увядший цветок, выпавший из вазы. Скоро полночь. Отец вот уже полтора часа сидит за столом, не спуская глаз с дочки, лежащей на диване. Он смотрит на временами вдрагива-

ющие ресницы и брови девочки, на ее нервно дрожащие пальцы, на крохотные капельки пота, выступившие на лбу, на светлые, как лен, волосы, в беспорядке разбросанные на подушке.

Через открытое окно в комнату проникает дыхание легкого августовского ветерка, который приносит с табачной фабрики щиплющий горло запах, доносится далекий шум с беспокойной городской площади. Иногда этот шум так слаб, что кажется, будто где-то под окном тихо гудит шмель, временами он усиливается.

Отец взялся за чтение, думая, что это хоть немного отвлечет его от тревожных мыслей. Но сколько он ни смотрел в книгу, ровные ряды черных букв, которые раньше так радовали глаз, оставались мертвыми, не задевали сознания, не рождали абсолютно никаких образов. Заметив это, он начинал перечитывать заново те же самые строчки, читал их раз по пять, но все равно так и не понимал смысла прочитанного. Иногда он смотрел на какую-нибудь букву как на нечто совершенно незнакомое. И сколько ни старался думать о другом, в голове его жили только слова врача:

— Температура сорок градусов... Возможно, какая-нибудь инфекция попала в организм, однако вполне возможно, что это только результат простуды. Установить точно сейчас нельзя... Давайте больной гермицид, по целой таблетке кальмонирипа и через каждые полчаса меняйте согревающий компресс на груди. И пусть она больше пьет... Завтра утром я снова загляну к вам...

Отец сидел и мучился над тем, чем же могла заболеть его четырехлетняя крошка. В голову невольно лезли мысли о самых опасных болезнях. А он был бессильен что-нибудь сделать. Приходилось сложа руки ждать выздоровления, и только. От сознания собственной беспомощности в голову лезли страшные мысли — о детском параличе, который мог разбить это хрупкое тельце, о воспалении мозговой оболочки и бог знает о чем еще.

Разозлившись на самого себя, он гнал прочь эти мысли. «Просто она вчера простудилась, съела мороженое и простудилась. Или же что-нибудь попало в желудок...» Он вспоминал, что девочка ела вчера за обедом, за ужином, что бы могло повредить ей, но в этот момент слух поймал тяжелое дыхание больной, и страшные мысли снова полезли в голову.

Разве мог он подумать вчера, когда шел домой, что застанет ее больной? В тот день ему вернули сто фантиков, которые он давал в долг. Он сразу же купил бутылку хорошего вина, ветчины, банку сардин и еще кое-что по мелочи. Вот уже почти неделю они с женой мечтали о том, как бы им отпраздновать пятую годовщину со дня свадьбы. Но несколько дней назад завод послал жену в провинцию для обмена опытом, а когда она вернулась, все что-то мешало отметить эту дату. Постепенно они, не признаваясь друг другу, в душе уже отказались от своего намерения, ограничившись тем, что одновременно купили по букетику цветов. А тут вдруг совершенно неожиданно появилась у него эта сотня. Жена о деньгах ничего не знала, и поэтому для нее это был бы настоящий сюрприз. По дороге домой, сидя в трамвае, он заранее представлял, как обрадуется жена, какое у нее будет лицо...

Войдя в прихожую, он осторожно положил портфель с гостинцами, словно там были яички, а не бутылка вина с консервами.

Однако увидев заплаканное лицо жены, ее растрепанную прическу и беспорядок во всей квартире, он растерялся, не зная, что и думать. Девочку, лежавшую калачиком на диване, он сразу и не заметил, а только почувствовал, что дома что-то произошло, потому что его встречают совсем не так, как должны были. Ему хотелось вспылить от обиды, разбить бутылку с вином о стену, надуться, как это делают маленькие дети, когда чувствуют, что их обманули.

Жена, запинаясь на каждом слове, начала ему объяснять, а он никак не мог понять, о чем она говорит.

— У нее сорок температура! — наконец сразила она его и разрыдалась.

Ему стало стыдно и страшно. Его мучили угрызения совести, и весь он превратился как будто в глухонемого, который что-то бормочет, а его никто не понимает.

Весь вечер он словнялся из угла в угол, что-то делал, ему что-то говорили, но он ничего не мог понять.

Ровно в полночь дочке нужно было менять компресс, осталось всего несколько минут, и ему вдруг захотелось, чтобы время остановилось. Он чувствовал себя совершенно беспомощным, ему было жаль будить дочь. Он вспомнил свои детские годы, и в памяти всплыло, как боялся

он этих компрессов. Сколько раз плакал и кричал: «Нет, нет! Лучше я приму хинин!» А когда компресс все же был ему положен, он даже спустя несколько дней никак не мог простить матери и отцу такой «жестокости».

Опасение за здоровье ребенка, желание помочь и воспоминания собственного детства перемешались у него в голове, пока он смачивал в теплой воде салфетку.

Он осторожно двигался по комнате, чтобы не разбудить уснувшую жену, которая должна была сменить его в два часа ночи. После долгих споров они наконец договорились о дежурстве у постели больной дочери. Жена настолько расстроилась, что была не в состоянии ни сидеть, ни лежать. Она должна была двигаться, что-то делать — это хоть в какой-то степени отвлекало ее от тяжелых дум. Ему же обязательно хотелось хоть как-то заглушить угрызения совести, и он во что бы то ни стало хотел первым сидеть у постели дочери. Сначала они поделовому поделили ночное дежурство, потом муж решительно заявил:

— Ложись и спи!

— Да пойми же ты наконец, что я ни за что на свете не усну! — говорила жена, разыскивая лекарство в ящике комода.

— Ты очень устала за день. Встала раньше меня на целый час, стирала, убирала, готовила. Сейчас же ложись! — упорствовал он.

— Нет, нет!

Жена заплакала, сев у изголовья девочки. Потом успокоилась, а еще через какое-то время задремала.

Он осторожно сменил компресс, стараясь не разбудить жену. Но она проснулась.

— Доченька... дай я тебе сменю компресс, — заговорила жена, разматывая с тела девочки почти сухое полотенце. — Не бойся, я тебе тепленькое положу. Папа его хорошо прогрел.

Отец еще раз намочил полотенце и отдал его жене, наблюдая за ее ловкими движениями. Ему самому захотелось оказаться маленьким ребенком. Он наклонился, чтобы помочь обмотать тело девочки полотенцем, и в этот момент ему на лицо упала прядь волос жены. Он вдохнул в себя знакомый аромат. Вспомнил, как они жили в Сегеде, когда жена была беременна. Они часто гуляли по берегу Тисы. Пахло водой, ивами...

Девочка расплакалась. С большим трудом удалось ее успокоить.

— Папа, расскажи мне сказку! — попросила она.

— Какую, доченька?!

— Какую-нибудь хорошую.

— Но я не помню... — печально вздохнул отец.

Однако девочка, глядя на него блестящими глазами, продолжала просить:

— Расскажи хоть какую-нибудь!

Отец пытался представить книжку с цветными картинками — сборник сказок, но сколько ни старался вспомнить хоть одну сказку, на ум ничего не приходило. Он стал вспоминать названия сказок, но и это не помогло.

И тогда он начал рассказывать сказку, которую сам тут же на ходу придумывал.

— В тридевятом царстве, некотором государстве жил-был один король. В те времена он был самым богатым королем на всем белом свете. Его подвалы ломились от золота и драгоценностей, а по полям королевства тучами бродили стада породистых коров и тонкорунных овец. Однако больше всех сокровищ любил король младшую дочь, у которой было золотое сердце. А уж какая красавица! Ее красоту можно сравнить только с солнцем и луной, даже звезды и те с завистью заглядывали порой в окна ее комнаты...

«А что же дальше говорить?» — подумал отец.

Дочь, которая, казалось, уже засыпала, как только он остановился, сразу же потребовала:

— Дальше, папа, дальше!

Отец согласно кивнул головой и тут же стал продолжать:

— И жил в этой стране один бедный-бедный пастух. Был он беден, как церковная крыса. Когда пастух ложился спать, то клал себе под голову руки, а накрывался старой заплатанной сермягой. И вот пастух полюбил младшую дочь короля, и полюбил так крепко, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Долгое время он не смел никому сказать о своей любви. Об этом знали лишь его собака да дудочка. В минуты печали пастух так жалобно играл на дудочке, что деревьям, которые слышали его игру, даже плакать хотелось. А собака становилась на задние лапы и, уставившись своими печальными глазами на хозяина, слушала его, не решаясь залаять...

Жена между тем заснула, но даже во сне она не знала покоя и время от времени испуганно вздрагивала. А отец все рассказывал и рассказывал:

— И вот в один прекрасный день любовь в сердце бедного пастуха стала такой огромной, что он перестал чего-либо бояться. И сделался очень-очень храбрым. Пошел к королю и сказал ему:

«Ваше величество, отдайте мне в жены свою младшую дочь!»

Король, разумеется, только рассмеялся в ответ. В душе он выпашивал совершенно другие планы и собирался выдать младшую дочь замуж за косоглазого сына соседнего короля, о котором ходила слава, что сердце у него высечено из камня. Семь дней, семь ночей советовался король со своими придворными, чтобы они придумали задание для бедного пастуха. В конце седьмого дня король приказал позвать к себе юношу.

«Я отдам тебе в жены свою младшую дочь, — сказал он, — если ты сосчитаешь все звезды на небе». И король захохотал...

Девочка хлопала ресницами. Ее уже клонил сон, но сказка была такая интересная...

— Однако пастух не испугался такого задания. Он стал ждать, пока стемнеет. Попросил принести ему перо, чернила и чистый лист бумаги... Когда рассвело, весь лист был испещрен крошечными, величиной с маковое зернышко звездами. Утром пастух пошел во дворец к королю, положил ему на стол свой листок и сказал:

«Вот, ваше величество, все звезды, сколько их есть на небе. Если не верите, пересчитайте сами»...

Конец у сказки оказался счастливым, но девочка не дождалась его и уснула. Отец посмотрел на спящую дочку, прислушался к ее дыханию, которое стало более ровным и глубоким. Пощупал пульс: он был еще учащенным, но уже не таким, как раньше. Отец осторожно присел на край дивана.

«Как свежо уже стало по ночам», — подумал он, глядя в открытое окно, сквозь которое долетали звуки ночного города. Вот прогремел запоздавший трамвай, промчался последний автобус.

«А может, все это не так уж и опасно?» — шевельну-

лась в душе слабая надежда, которая постепенно начала расти и крепнуть, словно сказочный джин, выпущенный из бутылки на волю.

От полудня до рассвета

(Отрывок из киносценария)

Миклош Юданич сидит в громоздком кожаном кресле перед камином, сложив руки на коленях и проводя взглядом командира, который ходит взад-вперед по длинному узкому залу.

Командира и Юданича разделяет огромный бильярдный стол, на котором лежат два крест-накрест положенных кия, будто только сейчас кто-то еще играл в бильярд, несмотря на царящий хаос.

— Есть что-нибудь новенькое? — спросил Юданич.

— Абсолютно ничего.

— Провал неизбежен, — начал Юданич. — Закономерен и неизбежен. Мы уже не имеем возможности разговаривать с представителями Малой Антанты как равные с равными.

— А кто собирается с ними разговаривать? — нервно спросил командир.

— А мирный договор? Ты об этом не подумал? Или для тебя, — Юданич сделал небольшую паузу, — он вовсе неважен?

— Сейчас решается судьба революции. О заключении мирного договора речь пойдет позже.

Командир замолк.

— Я полагаю, что ты не полностью разобрался в сложившейся ситуации.

По лицу командира было видно, что ему хотелось оборвать Юданича, но он сдержался и только сказал:

— Пожалуйста, просвети меня.

Юданичу пришлось не по вкусу ироническое замечание командира, и он заговорил строго официальным тоном:

— В наших южных городах Сегеде, Мако, Темешваре и Ходмезёвашархейе дислоцируются французские и ру-

¹ Действие происходит в дни Венгерской советской республики в 1919 году.

мынские оккупационные части. В Араде граф Дьюла Каройи сформировал контрправительство, к которому присоединились белые офицеры из Сегеда, возглавляемые адмиралом Миклошем Хорти. В Вене создан так называемый антибольшевистский комитет, во главе которого граф Иштван Бетлен и целая группа магнатов, имеющих широкие и прочные международные связи. — Юданич сделал жест в сторону командира и продолжал: — Судя по телеграмме, которую ты получил, румынские войска форсировали Тису под Сольноком, и если они будут и впредь продвигаться такими же темпами, то буквально через несколько дней овладеют Будапештом. — Юданич устало откинулся на спинку кресла. — И наконец, самое важное: Первая Конная армия потерпела поражение на Украине. Никаких надежд на то, что в ближайшее время она выйдет в Карпаты, нет. А из других мест, — офицер развел руками и снова сложил их на коленях, — нам никакой помощи ждать не приходится. Таково положение на фронтах.

Пока говорил Юданич, командир не перебивал его. Он стоял молча, прислонившись к краю бильярдного стола, и теребил пальцами зеленое сукно, которым был обит стол.

— И что же нам теперь делать, по-твоему? — не глядя на Юданича, спросил командир.

— Могу я откровенно изложить свою точку зрения? — Юданич выпрямился, не вставая с кресла.

— Буду рад, если ты это сделаешь.

— Знаешь, старина, — медленно начал Юданич, — я прибыл к тебе из генерального штаба...

— Знаю, — перебил командир и посмотрел ему в лицо.

— Но сейчас, — несколько смущенно продолжал Юданич, — сейчас я хотел бы поговорить с тобой как друг.

— Пожалуйста, я тебя слушаю.

Юданич начал заранее подготовленными фразами:

— Твоя часть в хорошем состоянии, настроение у бойцов вполне удовлетворительное, даже если принять во внимание сложившуюся ситуацию. Как-никак, у тебя под командованием три тысячи солдат. Это серьезная сила. — И, бросив беглый взгляд на командира, продолжал: — Надеюсь, ты с этим согласишься?

— Да, — кивнул командир и отошел от бильярдного стола.

— Надеюсь, ты согласишься и с тем, что твои люди в состоянии выполнить серьезное боевое задание.

— Против кого?

— Против румынских интервентов.

— На стороне белых?

— Решить эту задачу сейчас очень важно.

— Очень важно?

Насмешливый тон командира раздражал Юданича, и он, словно защищаясь, протянул вперед свои широкие мясистые ладони.

— Я думал, что ты меня...

— Заблуждаешься, я тебя правильно понял. Очень даже правильно.

— Я только высказал собственное мнение. Как офицер генштаба, я могу и должен давать советы.

— Но ведь только что сказанное ты изложил не как официальное лицо, а по-дружески?

— Мое дело сказать. Ты — командир и поступай так, как считаешь нужным.

— Словом, вся ответственность ложится на меня. Ты это хочешь сказать?

— Можно и так.

— Тогда так и скажем. — Командир снова был спокоен и решителен. — Я могу тебя заверить: что бы ни случилось... — Не закончив фразу, он улыбнулся.

Юданич наконец встал и коротко бросил:

— Нам пора начать переговоры.

— Переговоры?

— Да, переговоры. И чем скорее мы их начнем, тем лучше. Лучше даже сегодня.

— А может, завтра?

— Брось свои шуточки!

— Ты имеешь в виду сегедцев? — Командир поднял руку и положил ее на край стола.

— Да.

— Понятно, — проговорил командир и подошел вплотную к Юданичу. — Я не понимаю только того, как ты, офицер Красной Армии, можешь давать мне подобные советы. Мне, твоему другу.

— Ты забыл, что Красной Армии уже не существует.

— Насколько мне известно, здесь она еще есть. Ты забыл об этом.

— Я не об этом говорю. Вероятно, ты меня не так понимаешь...

— Возможно.

И командир снова заходил по комнате.

Наступило молчание.

— Давай не будем играть словами, — снова начал Юданич. — Положение наше настолько тяжелое и опасное, что не следует попусту тратить время на разговоры.

— Это верно.

— Нужно считаться с фактами.

— Нужно.

— И в первую очередь надо помнить об ответственности за жизнь подчиненных нам солдат.

— Перед кем? — перебил командир. — Об ответственности перед кем?

Юданич сделал какой-то неопределенный жест, затем обиженно сказал:

— Если тебя не интересует мое мнение, я замолчу.

— Извини, очень даже интересует. — И более спокойно добавил: — Я тебя слушаю.

— Разве я говорил недостаточно ясно? На что ты рассчитываешь? Откуда и от кого ждешь помощи?

Командир ответил не сразу, сделал несколько шагов по комнате и лишь потом остановился перед офицером генштаба.

— Предателем я не стану.

— Есть факты и есть эмоции.

— Да. Но сейчас факты полностью совпадают с эмоциями.

— Сейчас? — Юданич встал.

— Есть телеграф, который соединяет нас с правительством, с революцией, независимо от того, со скольких сторон мы окружены противником: с трех или четырех. И это обязывает нас оставаться на местах. Ты и я — солдаты, и приказ для нас всегда приказ.

Юданич ничего не ответил и опустил голову.

— Может, я ошибаюсь? — спросил вдруг командир.

— Я твой друг и остаюсь с тобой.

Командир кивнул.

— Скоро вернется комиссар, тогда и продолжим этот разговор.

Командир направился к двери. Взявшись за ручку, он вдруг остановился, но, так ничего и не сказав, вышел из комнаты.

Настонные бра, горевшие с обеих сторон камина, освещали продолговатый зал неярким светом.

Теперь в большом кожаном кресле сидел командир, а Юданич прохаживался взад-вперед по залу.

— Сколько лет мы знакомы? — спросил Юданич, глядя на комапдира. — Пять лет? Шесть? Военный год пужно считать за два, так что смело можно сказать: мы знаем друг друга добрый десяток лет. Вместе прошли все испытания, вместе были у Монте-Гранна, на Пьяве, на Исонзе. Вместе вступили в Красную Армию, вступили по убеждению. И сейчас вот находимся вместе, двое старых товарищей. Так разве мы можем, — Юданич остановился и развел руками, — стать врагами?

— Ты мне не враг, — покачал головой командир, — но я с тобой не согласен...

— Тогда, значит, я неудачно высказал свое мпение, оно и не удивительно. — Юданич снова заходил по залу. — Мы в кольце, окружены. Если с нами не справятся пять дивизий, противник бросит против нас десять, если же и этого будет недостаточно, так двадцать дивизий. Решение нашей судьбы, мягко говоря, вопрос времени, вопрос нескольких секунд. Рухнет вся Советская республика. И безумие дожидаться полного разгрома.

— Безумие.

— Ну наконец-то и ты это понял, — с облегчением вздохнул Юданич. — Именно поэтому я и предлагаю немедленно начать переговоры, пока мы еще имеем хоть какую-то силу. Сегодня Сегед еще будет с тобой разговаривать.

— Ты так думаешь?

— Я в этом уверен. — И тут же Юданич продолжал: — Это можно рассчитать с математической точностью. Их военный потенциал в настоящее время незначителен, так что Антанта сейчас не станет вести с ними переговоры.

— И мы перейдем на их сторону, чтобы они стали достойным партнером для переговоров с Антантой?

— Речь не об этом.

В этот момент входная дверь с шумом распахнулась и в зал вошел Ловас. Бросил фуражку на бильярдный стол.

— Идут. — Он вытер рукой потное лицо.

— Румыны? — спросил Юданич.

— К вечеру, самое позднее к рассвету они будут здесь. Возле Сентеша наши разведчики завязали с ними бой.

— В каком часу это было? — спросил командир.

— Примерно часа в два.

— Тогда где же они торчали все это время? Их же заметили.

— Дело не обошлось без боя. К счастью, румыны были так ошеломлены, что большой беды не случилось. — Ловас подошел к окну и сел на подоконник. — Одного из пехих легко ранило.

— Какие же силы у противника?

— Точно определить не удалось, но полка два-три было.

— А может, больше, — заметил Юданич.

— Почему ты так думаешь? — спросил командир.

— Не знаю, — отмахнулся Юданич, — откуда мне знать.

Ловас внимательно посмотрел на обоих и сказал:

— Нечего ждать, пока нам на шее петлю затянут.

— Как тебя понимать? — спросил командир.

— А так, что нам нечего дожидаться, пока румыны придут сюда, а нужно самим первым напасть на них. Нужно вбить клин между ними и сольнокской контрреволюцией.

— Ну и чего же мы этим достигнем?

— Чего достигнем? — Комиссар пожал плечами. — Атакуем их, лишим инициативы, а это тоже что-нибудь значит.

— И потеряем половину личного состава полка?

— А если противник на нас нападет, то мы разве ничего не потеряем?

— Потеряем, — кивнул командир.

— Ну так чего же мы тогда ждем? — Комиссар встал с подоконника и подошел к столу. — У нас еще есть достаточно времени, чтобы подготовить людей к бою. — Он взял со стола свою фуражку.

— Постой! — окликнул его командир.

— Я согласен с комиссаром Ловасом, — заявил Юданич.

Командир удивленно посмотрел на офицера, не зная, что сказать.

— Разумеется, позднее нужно уточнить место и время вступления в бой.

— Чего ты хочешь? — спросил командир Юданича.

— Решение начать наступление — верное решение, единственно верное...

— Ты хочешь, — крикнул командир, — начать переговоры за нашей спиной, пока мы будем вести бой?!

— Какие такие переговоры? — Ловас выпустил из рук фуражку.

— С белыми! — пояснил командир.

— Послушай меня! — Юданич поднял вверх руку. — Прощу тебя, выслушай! — И он перевел взгляд с командира на комиссара. Рука его дрожала.

— Хорошо, слушаем.

— Возможно, это похоже на то, что я собираюсь вас продать.

— Да... — заметил Ловас.

— На самом деле это не так! — воскликнул Юданич. — Я хочу спасти нашу страну, поймите же вы это наконец! Вокруг нас белочехи, контрреволюционные силы сербов, монархистов-румын, а за их спиной стоят французы, а если нужно будет, то встанут англичане и прочие. Нужно спасти родину, объединить свои усилия со всеми, кто этого хочет. Это единственное честное дело, и мы должны его сделать. Кто наши противники? Все мы знакомы с историей Рима: как бы древние римляне ни враждовали между собой, но, когда у ворот города появлялся враг, они немедленно забывали про все внутренние распри и плечом к плечу со своими вчерашними противниками боролись против общего врага.

— И все-таки Рим пал, — тихо заметил Ловас.

— Мы не падём, — подхватил Юданич, начиная понимать, куда клонит комиссар. — Венгры — нация воинственная, ради интересов родины каждый возьмет в руки оружие. Если же мы будем грызться между собой, то страну нашу на куски разорвут враги. И кто будет в этом виноват? Те, кто не понял исторической важности настоящего момента, не понял, что от них зависит судьба всей Венгрии.

— И эти люди — мы, — заметил командир.

— Да, мы. В наших руках все возможности. Мы можем диктовать условия. — И, загибая пальцы на руке, Юданич начал перечислять: — Во-первых, мы вправе требовать представительства в правительстве; во-вторых, проведения демократических выборов; в-третьих, полной амнистии.

— Для самих себя, — из-за его спины сказал командир.

— Да, — Юданич кивнул. — Это главное.

Повернувшись, командир отошел от камина и сказал:

— У меня есть один вопрос.

— Пожалуйста. — Юданич вежливо улыбнулся, но не взглянул ни на командира, ни на комиссара.

— А где гарантии, что все твои условия не останутся только условиями?

— А наше соединение! — выпалил Юданич, словно этот ответ был у него готов заранее. — Если ты согласишься, — он посмотрел на Ловаса, — вернее говоря, если вы оба согласитесь с моим предложением, нам не нужно будет сдаваться в плен, так как, само собой разумеется, из противников сегедцев мы как бы автоматически превращаемся в их союзников, у которых есть и право голоса и вооруженная сила.

— А до каких пор? — спросил командир и снова заходил по залу. Не дожидаясь ответа, он продолжал: — Допустим, что они сядут с нами за один стол и начнут вести переговоры; я в это не верю, но допустим. В конце концов, подпишут соглашение. — Он сделал небольшую паузу. — А что будет потом?

— Потом? — в замешательстве переспросил Юданич.

— Да, потом. Или ты думаешь, что потом они выйдут на балкон и объяснят своим солдатам, что с сегодняшнего дня мы уже не красные, а белые?

— Интересы родины требуют того, чтобы...

— Ты лучше говори об интересах революции!

— Бела Кун не сегодня-завтра уйдет в отставку, и будет создано новое правительство! — вдруг выпалил Юданич.

— Правительство может быть новым, но у меня лично останутся старые убеждения, старые.

— Я уважаю и ценю твои убеждения, но сейчас это граничит с бессмысленным фанатизмом.

Командир перестал ходить и остановился как раз напротив Юданича.

— У тебя есть еще какие-нибудь советы или предложения?

— Это так вот не решается!

— Есть или нет?

— Прошу тебя...

— Есть? Я спрашиваю! — уже крикнул командир.

Юданич опустил голову.

— Каково твое мнение, товарищ Ловас? — обратился командир к комиссару.

— Мое мнение таково, что предателей нужно расстреливать. Прошу дать мне указание, и я это сделаю.

Командир махнул рукой.

— Я тебя не об этом спрашиваю, я хочу знать — ты за наступление?

— Конечно. Нужно наступать, и как можно скорее.

Командир молча заходил по залу.

— Вы действительно хотите одного, — тихо вымолвил он.

— Мы оба?! — взорвался Ловас.

— Юданич бросает часть на моральное уничтожение, ты — на физическое.

— Я согласен с наступательной концепцией товарища Ловаса, — перебил командира Юданич. — Я это подчеркиваю!

— А я с вами не согласен, понятно?! — вдруг закричал комиссар.

— Не кричи! — одернул его командир. — Ты не меня толкаешь на бессмысленную смерть, а солдат.

— Так уж не начать ли нам и на самом деле переговоры с белыми?

— Нет. Нужно найти такое решение, чтобы было хорошо не только нам, но и им...

— Кому это им! — поинтересовался Юданич.

— Нашим солдатам. — Командир сделал неопределенный жест и пожал плечами. — Народу...

— Народу... — повторил Юданич. — Народ всегда хочет добра, но он не всегда знает, в чем заключается это добро. Один французский философ сказал... — Юданич повернулся к комиссару, желая объяснить, что же именно сказал по этому поводу философ.

— Меня это нисколько не интересует, — отрезал Ловас. — Каково же твое мнение? — обратился он к командиру.

— Я уже сказал... Я не согласен посылать людей на смерть.

— Что же тогда?

— Я надеюсь, что мы найдем правильное решение, прежде чем станет поздно. — И он положил руку на кобуру Юданича. — Капитан Юданич, отдайте свое оружие. Вы арестованы.

Юданич сделал шаг назад и перевел взгляд с командира на комиссара, в руках которого уже был его пистолет.

Командир подошел к двери и, открыв ее, крикнул во двор:

— Часовой!

Побледневший Юданич отстегнул ремень с кобурой и бросил его на стол.

— Отведите капитана в угловую комнату и смотрите, чтобы он ни с кем не разговаривал. У дверей поставьте охрану.

Первым из зала вышел Ловас, за ним — Юданич, который даже не взглянул на командира. Капитана увели два вооруженных солдата.

Командир закрыл дверь, прислушиваясь, как стучат шаги солдат и арестованного.

Вскоре Ловас вернулся и, положив пистолет Юданича на стол, сказал:

— У меня был такой момент, когда я хотел тебя застрелить. — Комиссар бросил серьезный взгляд на командира.

— Вот как?

— Да. — И, помолчав, добавил: — Я покривил бы душой, если бы не сказал этого.

В коридоре кто-то крикнул:

— Товарищ командир!

И тотчас же послышались громкие шаги по лестнице.

Командир подошел к двери и, распахнув ее, спросил:

— Я здесь. Что там у тебя?

— Телеграф заработал, — быстро произнес запыхавшийся от бега связист.

Стрекочет телеграфный аппарат, отбивая на узенькой ленте многочисленные точки и тире.

Командир, склонившись над столом, стоит у аппарата. Пропуская телеграфную ленту, беззвучно шевелит губами, читает телеграмму.

За спиной командира стоит комиссар Ловас, а несколько позади в полумраке жена командира. В открытых дверях толпятся солдаты с испуганно-любопытными лицами.

Комната освещена мигающим пламенем керосиновой лампы.

Еще момент — и телеграф замолкает. Становится так тихо, что слышно дыхание солдат. Командир и телеграфист не отрывают глаз от ленты.

Жена командира смотрит то на мужа, то на телеграфиста, затем снова переводит взгляд на мужа.

Вдруг телеграф опять заработал.

— Дублирует, — поясняет телеграфист.

Командир понимающе кивает и, оторвав длинную полосу ленты, отходит от аппарата. Не глядя ни на комиссара, ни на жену, он направляется к двери. Солдаты дают ему пройти.

— Что случилось? — Жена бежит вслед за ним.

Командир молча поднимается по лестнице, неся в руке змейку телеграфной ленты.

— Что, конец? — спрашивает она, хватая мужа за руку.

Командир оглядывается и, ничего не говоря ей, спускается обратно, подходит к комиссару.

— На, прочти! — Он сует ему в руку ленту и идет прочь.

Ловас пытается разобраться в ленте, но, не дочитав до конца, сует ее в карман и бежит вслед за командиром.

Командир быстро шел по аллее парка.

Ловас с трудом догнал его.

— Прочел? — спросил командир, глядя прямо перед собой в темноту.

— Я не очень-то понимаю эти знаки.

— «Правительство республики ушло в отставку. Точка. Командиру действовать по собственному усмотре-

нию. Точка», — пересказал он текст только что полученной телеграммы.

— Этого не может быть. Это неправда! — Ловас даже остановился.

— Через час об этом будет знать весь мир.

Ловас пошел за командиром. Спустя несколько секунд спросил:

— Что же теперь?

— Что теперь? Весь вопрос в этом. Но факт остается фактом: мы находимся здесь.

— Чтобы всех их громом сразило! — начал было ругаться комиссар.

— Перестань, — остановил его командир. — Этим сейчас не поможешь.

— Давай прорываться, — вдруг предложил Ловас.

— Куда, к кому прорываться?

— В Советскую Россию.

— Ты посмотри лучше на карту!

— Не интересует меня карта, ты послушай, что я тебе скажу!

— Слушаю.

— На нас смотрят солдаты. Они знают, что решение целиком зависит от тебя.

Командир оглянулся и увидел, что стоявшие неподалеку солдаты внимательно следят за ними.

— Вижу.

— Прежде чем ты примешь решение, я хочу еще раз поговорить с тобой, чтобы повлиять на твое решение.

Командир понимающе кивнул.

— Пока только мы с тобой знаем содержание телеграммы, и не нужно, чтобы кто-нибудь еще узнал об этом.

— Содержание известно телеграфисту.

— Он будет молчать, если мы так решим.

— А почему мы должны скрывать от солдат эту телеграмму?

— Потому, что они только и ждут случая, чтобы разбежаться.

— Я должен, обязан сказать им правду.

— Сейчас правда не важна. У нас есть две возможности: спасти собственную жизнь или революцию.

— Выходит, по-твоему, спасти собственную жизнь равносильно тому, что идти на предательство?

— У нас нет времени для философии. Если ты сообщишь солдатам содержание телеграммы, через полчаса здесь никого не останется. Сейчас же, когда они ничего не знают, они пойдут за тобой и выполнят свой долг, к которому нас призывает революция.

— Это какой же такой долг?

— Идти в бой и сражаться до последнего. Пробьемся в Советскую Россию, где революция победила, и там будем продолжать борьбу.

— Это невозможно. Туда невозможно прорваться!

— Тогда погибнем в бою.

— Ты говоришь глупости.

— Неужели революция, по-твоему, этого не стоит? С тех пор как мы вместе, я тебе много чего говорил, не так ли? Но у меня все не было времени, чтобы научить тебя ненавидеть. Как ты думаешь, что объединяет эти три тысячи солдат? Что объединяет всю страну, все силы революции? Ненависть, ненависть к богачам, к сытым, ко всем тем, кто эксплуатирует нас. Нам нечего терять, у нас нет состояния, и наши дети могут унаследовать от нас только одно — ненависть. Если мы останемся в живых, то всю жизнь будем бояться смерти. Если же нет, тогда вдовы и сироты будут ненавидеть тех, кто убьет нас, а вера в силу революции останется жить в сердцах тех, кто любил нас. Поэтому наша смерть — это не безумие, а единственное стоящее дело, которое мы должны совершить ради революции... Вот об этом я и хотел тебе сказать.

Послышался приближающийся топот многих солдатских ног.

— Солдаты смотрят на нас, — снова заговорил Ловас хриплым голосом. — Решение зависит от тебя.

Командир повернулся и посмотрел сначала в сторону солдат, затем на освещенное окно в комнате жены.

— Собери всех командиров на совещание! — приказал он.

— Убедил я тебя? — радостно спросил Ловас и схватил командира за руку. Тот с большим трудом, но все же вымолвил:

— Нет, не убедил. — И решительными шагами пошел прочь.

Нахмутив брови, Ловас смотрел ему вслед.

Долина реки залита ярким лунным светом, так что видно искореженное дерево на противоположном берегу, протянувшее ветви к воде. Голый ствол дерева кажется белым.

Командир вместе с женой стоит на песчаном берегу.

— Хочу кое о чем попросить тебя, — сказал он.

— Проси, — улыбнулась женщина.

— Ты должна переправиться первой на тот берег, ты хорошо знаешь его, а за тобой переправятся остальные. Поможешь, покажешь, где укрыть солдат. Этих мест лучше тебя никто не знает. До восхода солнца все должны быть в безопасном месте. Сделаешь?

Женщина кивнула, однако в ее глазах был немой вопрос: «А как же ты?» Но она ничего не спросила.

— Я тоже переправлюсь... Потом. Ты же хорошо знаешь, что командир уходит последним.

— Тогда я пойду предпоследней.

— Сейчас ты для меня не жена, а боец.

— Боец? — усмехнулась она и обняла его за шею. — Боец? — И начала горячо целовать его.

Он легонько отстранил ее от себя.

— Сейчас от тебя зависит судьба всей части... В твоих руках судьба трех тысяч человек, их вера, их надежды. Если они погибнут, погибнет все. Ты этого хочешь? Их нужно спасти, спасти для будущих боев. И сделать это можешь только ты, и никто другой.

Женщина долго молчала, не говоря ни да ни нет.

— Ну, сделаешь?

— Ты хочешь слишком много от меня. — Она покачала головой, но тотчас же спросила: — Но ты тоже пойдешь?

— Пойду.

— Правда пойдешь?

— Правда пойду. — И он улыбнулся такой улыбкой, что женщина не удержалась от слез.

Командир ничего не стал говорить ей, только жестом показал, что плакать нельзя, и медленно пошел по берегу. Вскоре он исчез в зарослях ивняка.

Высоко в горах

В селе было объявлено чрезвычайное положение. Офицеры и вольноопределяющиеся ходили по домам, разыскивая скрывающихся красноармейцев¹. Каждого, у кого находили оружие, сразу же ставили к стенке и расстреливали.

Как мне тогда было ни трудно разобраться во всем происходящем, но даже своим детским умишком я понимал, что случилось какое-то большое несчастье. Весной я часто видел красноармейцев. Они шли по долине, что была ниже крепости. Позже, в начале лета, видел я и то, как они на равнине рыли окопы, зигзагообразные такие окопы вдоль всей дороги. И вдруг в одно утро их нигде не стало. Следов боя не было видно, да и не было никакого боя, ведь тогда бы я слышал стрельбу. Значит, они ушли без единого выстрела.

Я долго думал, взвешивал и наконец решил: пусть пистолет отца остается на горе. В пещере есть хорошие тайники — сухие норы. В одну из них я и спрячу пистолет. Так и сделал. Завернув его хорошенько в какие-то тряпки, я пошел в самый конец пещеры и запихнул пистолет в одну из трещин. А чтобы не забыть это место, коптилкой сделал на скале отметку.

Устав и проголодавшись, решил чего-нибудь поесть.

Когда я жарил кусок баранины на углях, снаружи кто-то постучал.

— Кто там? — спросил я.

— Пропадающая душа, — раздался чей-то голос. Мне было слышно, как зубы незнакомца выстукивают дробь: замерз.

— Чего тебе нужно здесь в такое время?

— Пусти меня, а то погибну.

— Если и пушу, то не ради денег, конечно, — ответил я, подойдя к двери, и отодвинул засов.

— Прости меня, братишка. Вижу, ты мужчина, настоящий человек. Спрячь меня, за мной гонятся жандармы, хотят меня убить.

¹ Здесь речь идет о бойцах Венгерской Красной Армии, которых преследовали контрреволюционные власти после ликвидации Советской республики в 1919 году. — *Прим. ред.*

Я подозвал незнакомца к огню. Это был высокий худощавый мужчина. Раньше я никогда его не видел. На голове порванная, промасленная бескозырка. Бекеша в пескольных местах разорвана, из дыр белеет курчавая овчина. Обмотки волочатся по земле.

— Спасибо, братишка,— протянул он мне руку.

Мы ударили по рукам. Незнакомец присел на каменную плиту, поближе к огню. Долго он ничего не говорил, только вздыхал да свертывал свои обмотки. Ноги у бедняги, точно спички, и если б он не был в таком плачевном положении, я наверняка бы рассмеялся.

— Братишка, ты приютишь меня? — спросил он после молчания. — Меня только и ободрило, когда почуял дым твоего очага. А то бы лег в снег и замерз, чем опять к ним в лапы попадать.

— Вон там жареное мясо,— показал я. — Отрежь и ешь.

— Добрая у тебя душа, настоящий ты человек. — Вытащив из кармана штанов ножик с деревянной ручкой, он отрезал кусок зарумяненной на углях баранины и стал жадно есть.

Я отрезал краюху хлеба и подал незнакомцу:

— Ешь, ты мой гость.

— Ты угощаешь не так, как внизу.

— В селе?

— Да, там, в селе.

Я еще раз внимательно осмотрел этого дикого на вид незнакомца, но сколько ни ломал голову, не мог вспомнить, чтобы я его когда-нибудь видел.

Я подсел к огню.

— Ты даже не спрашиваешь меня, кто я такой и почему меня разыскивают? — спросил незнакомец, продолжая есть.

Я пожал плечами и налил козьего молока.

— Свежее, еще пенится,— сказал я. — Только подоил. Попей и ты.

— Не хочешь знать?

— Потом скажешь, если захочешь.

— Ты прав, братишка, прав. Может быть, и мне было бы лучше, если бы я не хотел так много знать. Но уж такая у человека натура, что он все хочет знать, стремится к этому. За этим мы и на свет родились. Вот если бы я глаза да рот не открывал, тогда и сейчас мог бы

преспокойно жить себе дома да работать в кузнице. А тут меня преследуют, гонят, как дикого зверя. А все почему? Да потому, что я ищу правду. Вся моя вина в том и заключается, что я хочу правды для себя и для других.

— Здесь можешь не бояться! — сказал я и, заметив, что незнакомец все еще дрожит, подбросил в огонь большую охапку валежника. Сначала сырые сучья не горели, от них шел лишь ядовитый дым, от которого мы прослепились и закашлялись. Но вот снова вспыхнул огонь.

Незнакомец опять заговорил:

— Был у нас комиссар. Ростом небольшой, а знал много, очень много: что где происходит и что нам нужно делать. Шли мы за ним, как ученики за Иисусом Христом. Думали, надеялись, что и другие тоже поймут, что все будут за нас. И что же ты думаешь, браток? Попрытались люди кто куда — по углам да за печку — и слушают, где стреляют. Трусливая собачья порода. И вот мы здесь; гонят нас, деньги за наши головы обещают. — Незнакомец вскочил на ноги. — За мою дадут три тысячи крон. — И он похлопал себя по небритым впалым щекам. — Это вот за эту-то рожу! Три тысячи крон! Неплохие деньги, а?!

— Есть еще молоко, — сказал я. — Пей!

Незнакомец стих и сел у огня. Он пил молоко и приговаривал:

— Я это заслужил. Заслужил себе собачью смерть. Нужно было решительно действовать.

Он долго бормотал себе что-то под нос. Я уже не понимал ни слова.

Я уже думал, что мой странный незнакомец, сидевший скорчившись у огня, задремал, разморенный теплом, как вдруг он снова закричал:

— Я того заслужил, чтобы меня предали!

— Предали? — испуганно посмотрел я на него.

— Да.

— В селе?

— Тут, в селе. — И он беззлобно покачал головой. — А женщина красивая была. Я ей так поверил, как католики не верят святой Марии.

Я побледнел:

— Выдала?

— А почему бы ей и не выдать меня?

— А честь, а совесть?

— Ребенок ты еще, братишка! Настоящий ребенок. Где в наше время честь да совесть? Знаешь, какие деньги — три тысячи крон? — И он повторил по слогам: — Три-и ты-ся-чи крон!

Он что-то хотел еще сказать, но я шикнул на него. Откуда-то издалека в бревенчатую хижину донеслись чьи-то приглушенные голоса.

Мы переглянулись. С каждой минутой все отчетливее слышался скрип снега под ногами людей. Они приближались к нам.

Незнакомец вскочил:

— Офицеры. Я думал, что до утра они оставят меня в покое, а не нет. Догнали. — Взгляд его лихорадочно перескакивал с одного предмета на другой. — Куда мне спрятаться, братишка, куда? Мне нужно как-то выбраться отсюда, а то они меня здесь схватят. Не хочу еще раз попадать к ним в лапы. Пусть уж лучше мной волки полакомятся.

Я сделал знак пезнакомцу, чтоб он не волновался, и повел его в пещеру. По узкому извилистому ходу я привел его в подземный коридор, о котором говорили, что он ведет в крепость, и втолкнул незнакомца в темный закуток.

— Когда они уйдут, — шепнул я ему, — тогда выйдешь.

Я быстро вернулся в хижину и, сняв со стены шубу, бросил поближе к огню. Лег на нее.

Вскоре в дверь застучали.

— Не заперто, входите! — крикнул я, не вставая.

Вошли трое, похоже офицеры. Замерзшие. От холода стучат зубами. На меховых воротниках и бровях толстый слой сверкающего инея.

— Добрый вечер, господа офицеры! — поздоровался я, почтительно кланяясь.

— И тебе того же, дружок, — ответил тот, что вошел первым. Это был здоровенный мужчина, похожий на медведя, а голос его напоминал раскаты грома.

— Пожалуйста, господа офицеры, присаживайтесь, грейтесь, — вертелся я вьюном около них. — Я мигом подложу в огонь валежника. Жар есть, быстро разгорится.

— Умная речь, — кивнул офицер и, сняв перчатки, протянул оочечевшие руки к огню.

Я принес большую охалку хвороста и бросил около костра. Выбрав сухую сосновую ветку, я разломал ее о

колепо и, бросив в костер, раздул пламя. Я старался, чтобы костер не дымил, а то еще офицеры разозлятся на меня. Пусть лучше они уйдут спокойно...

— А я вижу, ты сегодня уже топил, — сказал тот, кто первым вошел в хижину. У этого офицера, похожего на медведя, была красивая густая борода, как у Лайоша Кошута на картинках. Иней на бороде растаял, и офицер вытирал ее рукой. — Похоже, что ты ради нас и топил. Уж не ждал ли ты нас, дружок?

— Я не ждал вас, господа офицеры.

— Другого кого-нибудь ждал? — И он подмигнул мне: — Солдатку какую или молодницу?

— Никого я не ждал.

— Грелся сам и все, не так ли?

— Да, грелся.

Неожиданно лицо офицера стало строгим:

— Словом, этот негодяй был здесь!

— Какой негодяй?! — будто ничего не понимая, спросил я, а сам сильно перелугался. — Овец отогревал, господин офицер, чтоб не померзли.

Офицер недовольно кивнул и, поджав по-турецки ноги, сел на шубу — точь-в-точь так же, как до него сидел незнакомец. Двое других тоже подошли к огню. Я продолжал стоять, разглядывая оружие пришельцев. У первого офицера был только револьвер, зато двое других вооружены винтовками, вернее, короткоствольными карабинами. Офицеры сняли их с плеча и поставили, прислонив к стене пещеры.

— Хорошие ружья у господ офицеров, — сказал я и даже прищелкнул языком.

— Карабины это, — поправил меня самый молодой офицер.

Он был ненамного старше меня. Если бы я встретился с этим хилым юнцом где-нибудь один на один — справился бы с ним голыми руками.

— Мне всегда хотелось поближе посмотреть на настоящую винтовку или вот на такой карабин.

— Ну, ты, не трогай, мотай отсюда! Это не для твоих лап! — грубо набросился на меня молодой офицер.

Офицер, похожий на медведя, спросил:

— Ну, дружок, как ты думаешь, зачем мы сюда пришли? Не угадал еще?

— Наверно, господа офицеры ищут кого-нибудь.

— Я же говорю, что ты умный парень,— потирая свои громадные ручки, сказал бородатый.— Может, ты даже знаешь, кого мы ищем?

— Этого я не могу знать. Если только господа офицеры скажут.

— Правильно. Вот я и скажу, чтобы ты знал. Мы ищем опасного человека, убийцу, большевика, который мучил народ. Он бежал сюда из села, от мельницы.— И громовым голосом вдруг закричал на меня: — Ну, говори, где этот человек?

— Я этого человека не видел, господин офицер.

— Не видел?!

— Нет.

Офицер поднял свою огромную красную ручищу и погрозил мне пальцем:

— Не устраивай комедии, дружок, а то придется расплачиваться. Этот человек здесь. От самого родника сюда ведут его следы.

Я очень перепутался, но у меня в запасе оставалась еще одна ложь.

— Эти следы мои,— ответил я, глядя прямо в глаза офицеру.

— Твои?

— Мои. Под вечер я спускался к ключу, свежей водицы принес.— И я поднял стоявший в углу кувшин с водой.— Боялся, что ночью ключ замерзнет и завтра я останусь без воды.

Офицер рассмеялся, но как-то сдержанно.

— Ну, хорошо, я тебя просто попутал. Я тебе все это рассказал, чтобы ты знал, что это за человек, если мороз загонит его сюда.— И, отстегнув от ремня фляжку, которая висела возле кобуры с револьвером, протянул ее мне: — Держи, дружок, глотни! Ты здесь хозяин — тебе первому и пить.

— Большое спасибо, господин офицер, я не пью.

— Не пьешь?!

— Живот от нее выворачивает.

— Жаль, очень жаль.

— Я привык молоко пить, свежее, парное.

— Верно,— кивнул офицер. И, расправив рукой усы, сделал большой глоток из фляжки. Крякнул и передал ее своим спутникам.— Выпейте, в такую собачью стужу без палинки не обойдешься.

Военные выпили, офицер повесил фляжку на ремень. Стало тихо. Только из глубины пещеры слышалось мерное сопение спящих овец да временами какой-нибудь ягненок шевелился во сне. Мы все четверо молча смотрели на угасающие языки пламени.

Вдруг бородатый офицер спросил меня:

— А как тебя зовут, дружок?

— Янош, Янош Мата.

— Как, как? — уколол он меня взглядом. — Скажи-ка еще раз.

— Я Янош Мата, господин офицер.

Офицер резко поднялся:

— Уж не сын ли того Гергея Мата, что живет у мельницы?

— От мельницы третий дом — наш.

— Твой отец был на итальянском фронте, не так ли?

— На Изонцо и на Пьяве, пока не попал в плен.

— Он служил у меня, дружок. Большую серебряную медаль я лично на грудь ему прикалывал.

— Да, у него есть награда, даже две. Отец рассказывал, что обе ему дали за то, что в рукопашной он всегда был впереди и первым колол итальянцев.

Офицер громко хлопнул ладонями:

— О, сынок, сынок! Тогда ты еще ничего не знаешь.

Я ужасно перепугался.

— Чего, чего я не знаю? — спросил я, запинаясь. — Господин офицер, пожалуйста, расскажите.

Сильный хлопок в ладоши и громкий разговор разбудили дремавших офицеров. Они с удивлением уставились на нас покрасневшими заспанными глазами.

— Эх, бедняга же ты, тихоня! — захохотал офицер. — Этот проклятый негодяй ночью как раз у вас и бесчинствовал. Твоя бедная добрая мать приняла его, приютила. И знаешь, чем он за все это отплатил? Знаешь, что сделал этот мерзавец с черной душой. Он обесчестил жену твоего брата и сразу же в теплой постели задушил ее. А перед тем как сбежать, поджег ваш дом.

Я затряс головой, не веря сказанному.

— Все погибли, сгорели в огне. Смотреть страшно, — с сожалением закончил офицер и дал знак своим спутникам собираться.

Бряцая оружием, они вышли из хижины. Сквозь щели между бревнами еще долго слышался их разговор и скрип

снега под тяжелыми шагами. Я стоял у очага. Меня всего бросило в пот. Ни вымолвить слова, ни пошевелиться я не мог.

— Не верь ни одному слову, братишка! — сказал незнакомец, выходя из темноты. — Наврал все это пес, складно врал, словно по писаному.

Я молча посмотрел на него такими глазами, что лицо его стало серым от испуга.

— Верь мне, браток, — начал объяснять незнакомец, — когда я был на фронте, там убивал, много убил. Но после — ни одного. И дом я ни у кого не поджигал. А жепщина та сама зазвала меня в постель. Сказала, что вдова, муж давно умер и вот уж сколько лет она без мужчины.

— Замолчи! — заорал я, как сумасшедший.

— Не хочу тебя злить, братишка, но эта женщина так меня ласкала-миловала, как никто никогда на свете.

Я готов был броситься на него и убить. Мне было пелегко сдержать себя, но я все же сдержался.

— Или это правда, или... — начал я, задыхаясь.

— Не понимаю тебя, братишка.

— Или ты и есть тот самый поджигатель и убийца, или же жена моего брата продажная шлюха?..

— Если ты так думаешь, братишка, беги за жандармами. Ты их еще догонишь, и три тысячи крон — твои! Хорошая сумма, большие деньги. Можешь дом себе купить, хороший дом. И мне от этого лучше будет: хоть смерть моя кому-то пойдет на пользу.

— Предателем я не стану, — сказал я и пошел в глубину пещеры. Принес пистолет, завернутый в тряпки.

— Видишь, я могу застрелить тебя сейчас, но делать этого не буду, — сказал я, показывая на пистолет. — Утром вытащим жребий. Кому повезет — тот будет стрелять первым.

— Но, сынок...

— Ты что, трус?

— Ты что, божьего суда хочешь?

— Называй как хочешь. Я хочу знать правду.

— Будь по-твоему. Мне не привыкать быть под пулями за правду.

На рассвете над плоскогорьем проплыла вереница густых облаков. Они грузно осели на скалы. Однако постепенно голые скалы освободились от них и заблестели на

солнце. Из села донесся колокольный трезвон: зоупили к заутрене.

Мы вышли из хижины на заснеженную полянку, утоптанную овцами. Отмерили двадцать пять шагов и бросили жребий. Ему выпал орел, мне — решка. Счастье мне улыбнулось — досталось право первого выстрела.

Мы стали на обозначенных местах. Я начал целиться. На фоне голубоватого снега четко вырисовывалась высокая худая черная фигура. Сначала я целился незнакомцу в грудь, затем приподнял дуло и прицелился в голову.

Он стоял спокойно, безразлично следя глазами за дулом пистолета.

Я нажал курок.

Руку мою сильно толкнуло. Раздался оглушительный грохот. Я закрыл глаза, не желая видеть случившегося. Выстрел вспугнул птиц, гнездившихся в расщелинах скал. Они со страшным криком взлетели в воздух и закружились надо мной.

Я открыл глаза. Живой и невредимый, незнакомец стоял на своем месте и так же безразлично смотрел на пистолет, из дула которого вился тонкий дымок.

Вытерев со лба холодный пот, я подошел к нему и подал пистолет.

— Пожалуйста, твоя очередь!

Незнакомец кивнул. Взял пистолет, осмотрел его и начал подбрасывать на ладони, будто определял, сколько он весит. Я вернулся на свое место и встал лицом к незнакомцу. Страх у меня не было. Я вообще ничего не чувствовал. Незнакомец продолжал играть пистолетом, потом вдруг неожиданно щелкнул чем-то (я хорошо слышал негромкий щелчок). В руку ему выскочил магазин с патронами.

Я с удивлением смотрел, как он переложил пистолет в левую руку, а пальцами правой начал вытаскивать патроны из магазина. И вдруг бросил их в пропасть.

— Что ты делаешь? — закричал я.

Он не ответил.

— Почему ты не выстрелил?

— Теперь твоя совесть чиста, братишка.

— Убей меня!

Незнакомец вдруг начал смеяться, все громче и громче. Раскачиваясь из стороны в сторону словно пьяный,

он хохотал, задыхаясь и колотя себя кулаками по худым ляжкам и угловатым коленям.

Звук от моего выстрела разнесся далеко вокруг. Он отозвался эхом от окружающих плоскогорье приземистых скал и испугнул не только птиц, но и трех жандармских офицеров. Не знаю, где они провели ночь, но, видимо, где-то поблизости, так как очень скоро оказались возле нас.

Их начальник, огромного роста бородатый офицер, хлопал меня по плечу и стал хвалить. Офицеры, вооруженные карабинами, схватили незнакомца.

— Не горюй, братишка!.. Подрастешь — поймешь! — сказал он мне, перед тем как его повели по тропинке вниз, к мельнице.

Три тысячи крон власти выплатили нам год спустя: половину получила моя мать, другую половину — жена брата, Анча. По этому случаю в селе был настоящий праздник. Сам староста выступил с речью. Даже из города кто-то приезжал и тоже выступал. Но в то время эти деньги уже почти ничего не стоили. Мать на свою половину хотела было купить поросенка, но ее засмеяли на базаре, когда она сказала, что у нее есть полторы тысячи крон...

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ПРИГОВОР

Часть первая. За общим столом	7
Часть вторая. В двух автомобилях	61

ВОТ ОНА, ЕВРОПА!

Prelude	113
Золотой город	115
Моцарт и Гус	—
На берегах Вислы	119
Развалины, дома, шоферы	—
Лейтенант в очках	121
Танец Кристины	126
Ritournelle	130
Страна с пестрыми крышами	134
Первые впечатления	—
ОТК	136
Ritournelle	139
В тени Вестминстера	142
Сто двадцать километров в час	—
Останься!	146
Между дверью и стойкой бара	151
Ritournelle	156
Город городов	157
Девушка и плетъ	—
Странный диалог	161
А что мы можем сделать?!	169
Черноволосая женщина	173
Ritournelle	179
Венское интервью	181
Палач	—
Игра вшестером	189
Ritournelle	193
Северная Венеция	195
Ничего особенного не случилось	—
Взгляните, сударь!	200
Об этом знают только ели	207
Заключительная мозаика	210
Эпилог	212

НОВЕЛЛЫ

На сжатой пашне, среди маков	215
Одиночество	221
На мосту	226
До первых петухов	233
Когда вошла луна	238
Листовки	242
Мешок угля	244
Бегство на велосипеде	247
Только больно очень	253
У постели больной	255
От полудня до рассвета	261
Высоко в горах	275

Золтан Фабиан
ПРИГОВОР

Редактор *Г. Г. Афанасьев*. Литературный редактор *А. С. Поволоцкая*. Художественный редактор *Г. В. Гречихо*. Художник *О. П. Шамро*. Технический редактор *Р. Ф. Медведева*. Корректор *А. Н. Алексеева*. Сдано в набор 9.12.70 г. Подписано к печати 29.1.71 г. Формат 84×108¹/₁₆ мм. — 9 печ. л. — 16,12 усл. печ. л. — 16,26 уч. изд. л. Типографская бумага № 2. Тираж 65 000 экз. Зам. 327. Изд. № 10/4103. Цена 99 коп. Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР. Москва, К-160.
1-я типография Воениздата

Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Фабриан З.

Ф 12 Приговор. Избранные произведения. Авторизованный перевод с венгерского Ю. Сазонова. М., Воениздат, 1971.

288 с.

Имя известного венгерского писателя, лауреата премии имени Йожефа Атииллы, Золтана Фабриана хорошо знакомо советскому читателю: его произведения не раз публиковались в Советском Союзе. В настоящую книгу, составленную самим автором для советского читателя, вошел антифашистский роман «Приговор», оригинальные по жанру путевые заметки «Вот она, Европа!» и новеллы.

В романе «Приговор» З. Фабриан показывает гитлеровскую и хорватскую армии накануне краха.

«Вот она, Европа!» — произведение, в котором автор показывает современную капиталистическую Европу не с замаскированного под всеобщее благоденствие фасада, а с черного хода, где отчетливо видны все язвы буржуазного общества.

Включенные в книгу новеллы дают читателю представление о З. Фабриане как мастере короткого военного рассказа.

Книга рассчитана на массового читателя.

7-3-4

207-71

И(вент.)